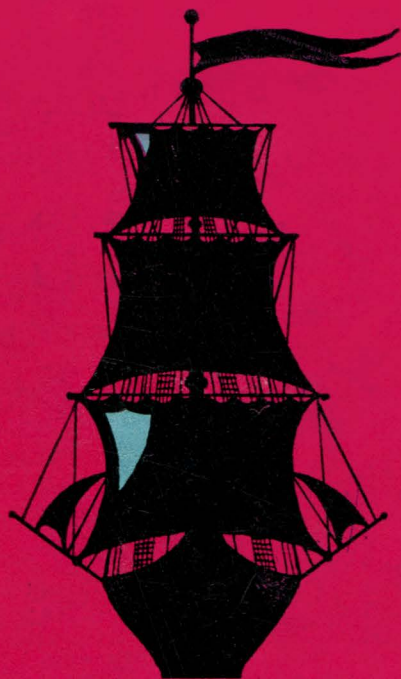


ЮРИЙ • ВЕТЕР УДАЧИ • АБДАШЕВ



ЮРИЙ
АБДАШЕВ

ВЕТЕР
УДАЧИ

ЮРИЙ
АБДАШЕВ

**ВЕТЕР
УДАЧИ**

ПОВЕСТИ

МОСКВА. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1980

84P7
A13

A $\frac{70302-121}{078(02)-80}$ 136—80. 4702010200

© Издательство «Молодая гвардия», 1980 г.

ГЕРОИ, КОТОРЫМ ВЕРИШЬ

Я давно и с симпатией слежу за творчеством краснодарского писателя Юрия Абдашева.

По восприятию мира и по манере письма он романтик. Сам реалист, как говорится, до мозга костей, я не разделяю точку зрения тех ревнителей реализма, для которых слово «романтик» едва ли не ругательное. А почему, собственно? Почему романтическое направление не имеет права на существование в нашей неохватной литературе? Ведь она-то и красна разностью школ, манер, стилей. И, если отвлечься от крайностей, следует признать: романтическая проза, как и любая другая, нужна читателям. Особенно молодым. Только была б она без облегченности, выпренности, красоты.

В новый сборник Юрия Абдашева вошли четыре повести: «Далеко от войны», «Тройной заслон», «Пять тысяч миль до надежды», «Ветер удачи» (все они прежде были напечатаны в журнале «Юность»). Две повести — о Великой Отечественной, которую автор прошел честно, по-солдатски, две — о мирных, послевоенных годах. Временное построение сборника естественно.

Повесть «Далеко от войны» открывает книгу. В ней правдиво, достоверно, со множеством точно найденных деталей воссозданы будни военного училища, где по сокращенной программе готовят лейтенантов для действующей армии. Искренне, взволнованно, без мягкого юмора звучит повествование о жизни в тылу, в Средней Азии, драматично перебиваемое отступлениями о будущей фронтовой жизни героев, и мы воочию видим, что кому уготовано. К месту вкрапленные выдержки из сообщений Совинформбюро расширяют рамки повести, придают историзм небольшому, локальному событию.

Повесть читать интересно и оттого, что автору удалось живые человеческие характеры, и оттого, что свеж, «незатаскан» жизненный материал, положенный в основу ее. Юрий Абдашев показал нам еще одну грань войны, и лишний раз убеждаешься: тема Великой Отечественной войны поистине неисчерпаема.

Если повесть «Далеко от войны» — о ратной учебе накануне боев, то «Тройной заслон» — это уже фронт, сражение за Кавказ.

И здесь, не изменяя романтической приподнятости, автор продолжает рассказывать о мужестве, стойкости, самоотверженности защитников Родины.

После первых двух повестей последующие читаешь с невольным, но острым ощущением: нерасторжима связь поколений — тех, кто завоевывал Победу, и тех, кто родился после войны. Тонко, лирично, без нажима проводит Юрий Абдашев мысль о том, что духовные наследники достойны своих отцов.

Вся книга Юрия Абдашева полна света и жизнелюбия, она учит доброте, порядочности, скромности, душевному такту...

Краснодар — мой родной город, и, бывая там, я не раз общался с автором этой книги. Теперь могу уверенно сказать: знаю его не только как писателя, но и как человека — честного, скромного, тактичного, очень напоминающего своих героев. Потому-то и веришь еще больше в то, что они исповедуют.

Олег Смирнов



**ДАЛЕКО
ОТ ВОЙНЫ**



1. КАРАНТИН

Город, зажатый снежными хребтами Тянь-Шаня, был рассечен надвое течением быстрой горной реки. Говорили, будто река эта способна ворочать многопудовые гранитные глыбы, но сейчас, в конце лета, она мирно журчала среди галечных отмелей, ничем не выдавая своего строптивого нрава.

Вот уже четверть часа мы топаем в строю по аллее, обсаженной пирамидальными тополями. Впереди пылает вполне кровавый азиатский закат. Пахнет пылью, разгоряченными телами и сушеным урюком. Скорее всего урюк припрятан в том самом вещмешке, что мерно, в такт шагам покачивается перед самым моим носом.

Идти неудобно — правую голень все время покалывает одна из булавок, которыми скреплены мои брюки. Бывает же: сиганул из теплушки, зацепился за какой-то дурацкий крюк — и штанина пополам. Добро хоть незнакомая тетка выручила на станции — пожертвовала пару тонюсеньких булавок, какими обычно на примерках пользуются портнихи. А то бы всю дорогу подметал мостовую...

И вот наконец: «Левое плечо вперед, марш!»

Пехотное училище занимало целый громадный квартал. Управление и казармы располагались по периферии прямоугольника, а незастроенное пространство между ними замыкала невысокая глинобитная стена — типичный среднеазиатский дувал. Окна, выходящие наружу, были либо замурованы, либо наглухо забиты изнутри толстой фанерой.

И вот сюда-то августа пятнадцатого дня одна тысяча девятьсот сорок второго года от рождества Христова, как писали в старых хрониках, через ворота главной проходной на улице Великого акына прошла разнокалиберная и разномастная колонна вчерашних призывников, из которых за восемь месяцев предстояло сделать настоящих боевых командиров. Пройдет совсем

немного времени, и наш взводный, лейтенант Абубакиров, скажет: «Чтобы создать человека, природе требуется девять месяцев. Нам, вашим командирам, ввиду военного времени, отпущено на тридцать дней меньше».

Рядом со мной в одной шеренге шагают Витька Заклепенко, эвакуированный из Днепропетровска, сибиряк Сашка Блинков и Андрей Огиенко — здоровенный лоб с плодородного и изобильного Иссук-Куля, где его отец работал мельником.

С первыми двумя я успел подружиться за несколько дней ожидания и пути. С Огиенко общего языка я так и не нашел.

Не успели мы отъехать от того места, где находился призывной пункт, как Сашка Блинков уже раздобыл неполную бутылку спирта. Мы развели его и разлили на четверых, не дожидаясь, пока он окончательно остынет после таинственной химической реакции, которая произошла в нем от смешения с водопроводной водой.

Опасаться нам было некого — сопровождающий нас начальник назначил Блинкова старшим, лихо всучил ему все документы и, поручив следовать самостоятельно в телячьем вагоне, сам дернул пассажирским. Почему выбор пал именно на Сашку, никто из нас так и не узнал. Скорее всего на сопровождающего произвели впечатление новенький лыжный костюм и командирская планшетка, которую Сашка то и дело небрежно поправлял на ходу рукой. В этом смысле мы, конечно, проигрывали.

Сашка в меру худощав, белобрыс, и лицо его выглядело вполне заурядным, хотя и было наделено от рождения довольно тонкими чертами. Но разве это его заслуга? Когда он смеялся, то не растягивал губы, а, наоборот, округлял, выпячивая вперед, наподобие горлышка кувшина. И только в ясных голубых глазах и уголках губ блуждала какая-то загадочная усмешка. Со стороны могло показаться, будто он знает нечто такое, что недоступно остальным, в том числе и самому сопровождающему. Не это ли объясняло выбор?

Однако у Витьки было не меньше достоинств. В отличие от нас с Блинковым Заклепенко выглядел основательнее и солиднее. Несмотря на то, что его подбородка с едва заметной ямочкой посредине и нежных щек еще ни разу не коснулось лезвие бритвы. Голос у него был низкий, начальственный и губы потолще, чем у нас, да и нос пошире.

После выпитого спирта Огиенко окончательно по-мрачнел, а Витька начал громко хохотать, плести какую-то околесицу, уверять всех, будто ему позарез надо выскочить на узловой станции, чтобы повидать какую-то девушку. Короче говоря, Витька от поезда отстал. Ехали мы медленно, по полдня стояли на каждом полустанке. Так прошли сутки, другие... Мы начали подумывать, что наш друг исчез безвозвратно. Сашка час от часу становился все угрюмее и озабоченнее. И только за несколько часов до прибытия в пункт назначения Витька появился как ни в чем не бывало, благоухающий цветочным одеколоном, ухмыляющийся и вполне довольный собой.

Два дня мы провели в карантине.

Раньше при слове «карантин» мне представлялся желтый флаг на мачте корабля, бросившего якорь на внешнем рейде у какого-нибудь сказочно прекрасного тропического острова. На самом же деле карантинном оказалось длинное приплюснутое строение, расположенное внутри квартала в одном ряду со складами обзавещевого и продфуражного снабжения. Дальше за ним находился хоздвор с конюшней и мастерскими и уже совсем в отдалении подвал боепитания — задернованный курган с дощатой вытяжной трубой и полосатым грибком для часового.

На третий день подтянутый сержантик с треугольными в малиновых петлицах и пряжкой на командирском ремне, начищенной до блеска, вошел в барак и скользящим взглядом пробежал по рядам нар с тощими матрасиками, на которых лежали, ели, а то и резались в подкидного юные граждане преимущественно двадцать четвертого года рождения. Сенька Голубь спал в неестественной позе убитого. До этого он лузгал семечки, по хуторской привычке языком выталкивая шелуху на подбородок, и теперь издали могло показаться, будто у него выросла окладистая черная борода. Ким Ладейкин втихую покуривал, неумело пуская через нос тощие струйки дыма.

Нервными, трепещущими ноздрями сержант втянул воздух, поморщился и, решительно одернув гимнастерку, крикнул петушиным фальцетом:

— Вста-ать! Выходи строиться! — Он поглядел на несколько унылых фигур сугубо штатского вида, которые поплелись к выходу, и строго добавил: — С вещичками, доблестное воинство. Сидорá на горб и марш!

Через некоторое время, закинув за плечи тяжелые мешки с домашней провизией, пестрая толпа остриженных наголо новобранцев построилась в две шеренги перед зданием карантина. Когда кое-как подравнялись и рассчитались на первый-второй, сержант легкомысленно скомандовал: «Ряды вздвой!» Лучше бы он этого не делал, потому что тут началось такое... Все задвигались разом и в самых невероятных направлениях. Сержант оттянул пальцем ворот гимнастерки, покачал головой и сказал с укором:

— Ну чего крутитесь, чего крутитесь? Разобраться по четыре. Правое плечо вперед, на хоздвор шаго-ом марш!

Возле конюшни, где волнующе пахло парным навозом, стояли зеленые пароконные брички. Сержант приказал развязывать мешки и вываливать содержимое в пустые кузова бричек. Ни мне, ни Сашке, ни Витьке Заклепенко высыпать было нечего, кроме нескольких сухарей и кусочков запыленного колотого сахара.

— Тут вам вторая норма обеспечена, — успокаивал сержант. — Не бойсь, голодными не оставят.

Андрей Огиенко развязал добротный конопляный мешок с пришитыми лямками и, тяжело вздыхая, стал не спеша выкладывать сдобные сухари, давленные куриные яйца, бурсаки — киргизские пышки, варенные в бараньем жиру, головки чеснока и здоровенные шматы сала, каждый килограмма по два весом. Перед тем как опустить сало на дно кузова, он долго взвешивал его на ладони. Сашка Блинков бросал на него ехидные взгляды. Голубые глаза его шурились в яростном веселье. Заклепенко не выдержал.

— Во зараза, — прошептал он, толкнув меня локтем. — Жрал спиртягу с черным сухарем, только бы не доставать закуску.

Повозки быстро наполнялись, а начальник карантина то и дело поощрял нас бодрыми возгласами:

— Не бойсь! Веселей, орлы! Давай-давай! Коня не люди — все пожрут.

— А что, лошади у вас и сало едят? — недоверчиво спросил Огиенко.

Сержант даже руками развел:

— Ну, братец, ты меня просто удивляешь. Что же они у нас, татары, что ли? Это же русский артиллерийский конь!

Невдалеке с беспечным видом прохаживались кур-

санты из задержавшихся «старичков» в вылинявших за лето гимнастерках. Они бросали на нашу команду насмешливо-любопытные взгляды. Нам говорили, ребята эти ждут отправки на фронт. Мне показалось, что такое обилие еды привело их в возбуждение. Или, может быть, это было тайное предвкушение? Не станут же лошади в самом-то деле лопать свиное сало. За год войны большинство из нас успели познать истинную цену и вкус хлеба. А потому я и сам с нескрываемым сожалением смотрел на горы снеди и представил, как Огиенко жрал по ночам втихаря, укрывшись с головой потертым пыльным одеялом.

Ким Ладейкин, низенький юркий паренек с озорными глазами и нестираемой улыбкой, с первых же дней проникся желанием покровительствовать мне, хотя внешне мы были полнейшими антиподами. Так вот этот самый Ким уже кое-что знал о нашем училище от замужней сестры Лолы, которая была эвакуирована именно в этот город. Здесь готовили командиров стрелковых, пулеметных и минометных взводов. В минометный батальон рвались все. Как ни крути, а почти артиллерия, белая кость.

— На мандатной говори, что ты влюблен в математику, — поучал меня Ладейкин, — что даже во сне увлекаешь квадратные корни. Тогда еще могут взять. Тут уж так: не зевай Фомка, на то и ярмарка. Сестра по секрету говорила, что в минометный попадет только один из пяти. — Он поднял кургузый указательный палец с обгрызенным ногтем. — Обидно будет, если тебя зачислят в какие-нибудь стрелки и мы окажемся в разных батальонах.

Ким говорил со знанием дела, и можно было подумать, будто вопрос о его зачислении в минометчики давно решен.

Однако на мандатной комиссии, куда нас привели строем прямо из копошни, все обернулось самым неожиданным образом. Я постеснялся врать и ничего не сказал о любви к математике, поскольку, если быть до конца честным, то не совсем уверен, что и сейчас твердо помню всю таблицу умножения. И тем не менее меня и большинство моих новых друзей зачислили в минометчики, а Киму не помогли ни его дружба со всякими тангенсами, ни знакомство сестры с влиятельными лицами. Ему прямо сказали, что одной математики в этом деле мало, надо еще таскать на выюке плиту батальон-

ного миномета, а сам Ладейкин не вышел комплекцией для такого деликатного занятия: рост — метр шестьдесят и всего пятьдесят один килограмм вместе с нестираными носками. А жаль, Ким Ладейкин, похожий на шустрого мышонка, был щедр душой и нравился мне. Я говорю «был», потому что с этого момента он стал для меня человеком, безвозвратно утерянным: все три стрелковых батальона находились совсем на другой территории, хотя и не слишком далеко от нашего расположения.

После мандатной комиссии нас всех повели в баню. Несмотря на то, что мы старались идти в ногу, колонна будущих минометчиков растянулась на целый квартал.

В санпропускнике стригли под нулевку тех, кто избежал этой участи на призывном пункте. У нас отобрали все личные вещи, кроме записных книжек, фотографий и карандашей. Потом направили в моечный зал, а наше скромное имущество тут же погрузили на маленькие вагонетки и через распахнутые железные двери вкатили в мрачное, пышущее зноем чрево дезинсекционной камеры, которую все панибратски называли вошебойкой. И делом это было не лишним, если учесть, что большинство из нас долго ехали в битком набитых теплушках и порой спали прямо на заплеванном полу в станционных залах ожидания.

У входа в моечное отделение какой-то голый человек выдал нам по кусочку серого хозяйственного мыла величиной в половинку спичечного коробка, строго-настрога наказав, чтобы обмылки после бани сдавались лично ему. Поскольку на голом человеке не было никаких знаков различия, то и должного уважения к нему никто не проявлял.

За дверью свет электрических лампочек, окруженных лунным ореолом, едва пробивался сквозь густые клубы пара. Плескалась вода, гремели железные шайки. Под каменными сводами было гулко, словно в подземелье. В белесом тумане блуждали человеческие тени.

— Глянь-ка на ту скамейку, — сказал Заклепенко, очередной раз возвращаясь с тазиком от крана.

Возле окна на мокрых досках скамьи, подложив под голову опрокинутую шайку, безмятежно дрыхнул все тот же Сенька Голубь, чему-то улыбаясь во сне.

— Представляешь, — говорил Витька, намыливая голову, — этот подлец подвел под свою лень теоретическую базу. Накопление энергии... Потом она, видишь

ли, пригодится на фронте. Живой аккумулятор! Талант?

Рядом с Голубем долговязый Лева Белоусов обрушил на себя из тастика целую Ниагару, но Голубь и ухом не повел. А Левка тем временем довольно покрякивал, и капельки воды дрожали на его длинных белых ресницах.

Тут же по проходу бегал крепыш Сорокин из Токмака, отбивая ладошками на круглом тугом животе знакомый походный ритм: «старый барабанщик, старый барабанщик, крепко спал, крепко спал...»

— Вы, кто украл мыло? — кричал он, но по всему было видно, что пропажа его совсем не волнует и шумит он исключительно из любви к искусству.

Ягодицы у Гришки Сорокина были такими красными, будто по ним долго хлестали березовым веником.

В предбаннике нам выдали белье и тонкие летние портянки. Невысокий и ладный старшина с девичьей талией и быстрым пронзительным взглядом выглядел слишком молодо и несерьезно для такой ответственной должности. Увы, в своем заблуждении мне пришлось убедиться слишком скоро.

Белье по росту старшина прикидывал очень приблизительно, на глазок. Неудивительно, что рукава нижней рубашки с трудом прикрывали мои острые локти, а Сорокину пришлось подворачивать кальсоны, чтобы не запутаться.

Потом мы получили защитные хлопчатобумажные гимнастерки с отложными воротниками, шаровары и черные трикотажные обмотки, свернутые наподобие бинта. Единственное, чему здесь уделялось серьезное внимание, это подбору обуви. Мы подходили к горе ботинок из вывернутой кожи, которые были свалены прямо в углу. Тут остро пахло шорной лавкой. Мы примеряли ботинки до тех пор, пока не оставались полностью удовлетворенными. Нам выдали пилотки и шинели. Шинели выглядели невсамделишными, как игрушечная мебель. Они были сшиты из толстой зеленой байки, из какой обычно делают одеяла. Однако торговаться не приходилось, и мы, попрятав в карманы еще жесткие новенькие петлицы с золотой тесьмой по краям, стали наскоро прикреплять звездочки к пилоткам. Я не сразу заметил, что пилотка досталась мне совершенно невероятного размера. Даже при нездоровой фантазии трудно было представить себе голову, на которую ее шили.

Ребята потуже затягивались армейскими поясами и,

ощущая непривычную легкость во всем теле, розовые, распаренные, выходили на улицу, продуваемую приятным сквозным ветерком.

Теперь нас трудно было узнать. Не скажу, чтобы форма сидела на нас слишком красиво, но выглядела она достаточно опрятной. И, хотя со стороны могло показаться, будто мы потеряли свое лицо, утратили индивидуальность, нас это уже не волновало. Неожиданно для себя я ощутил внутреннюю взаимосвязь со своими товарищами. Она превратила нас из случайных попутчиков и одиночек во что-то единое, монолитное, сплоченное. Наверное, каждый вдруг почувствовал свою силу и защищенность в этом мире, неуязвимость от всяких случайностей, которые легко могли угрожать любому из нас в отдельности,

В течение ночи на 15 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Минеральные Воды, Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта никаких изменений не произошло...

Из сводки Совинформбюро

2. ОТЦЫ-КОМАНДИРЫ

— Абросимов!

Витька толкает меня в бок!

— Женька, спишь?

Спохватившись, ору во все горло:

— Я-я!

— Баранников!

— Белоусов!

— Блинков!

«Я», «я», «я» — как мячик отскакивает от строя. Старшина первой роты Пронженко, тот самый, что выдавал нам белье в бане, заканчивает перекличку. Мы стоим лицом к казарме, выстроившись в одну длинную шеренгу.

— Внимания, — звучит его резкий голос. — Головни уборы знять!

Старшина подходит к Белоусову и тычет в грудь острым как гвоздь пальцем. Движения у него быстрые и уверенные.

— Марш на правый хланг. Бигом, биго-ом! Цэ тоби нэ до тэци на блыны...

Потом палец его упирается мне в солнечное сплетение, отчего хочется поджать живот, и я отправляюсь следом за Левкой. Нас долго тасуют, точно карты в колоде, переставляя с места на место, пока не выстраивают строго по ранжиру. До сих пор мы становились в строй не по росту, а скорее по интересам. Отсчитав справа нужное количество людей, старшина скомандовал: «Три шага вперед» — и объявил нам, что с этого момента мы являемся курсантами первого взвода первой роты минометного батальона.

Управившись с формированием взводов, Пронженко долго мучил нас проповедью о том, каким святым местом почитается в училище казарма и что представляет собой внешний вид курсанта. Он окинул нас взглядом слева направо, словно из конца в конец пробежался по клавишам, и подошел к Гришке Сорокину:

— А ну, пидтягны брюхо.

Старшина расстегнул Гришкин ремень и, упершись коленкой, стал стягивать ему живот с такой силой, будто в руках он держал конскую подпругу. У Гришки даже глаза на лоб выкатились.

— Ну вот, — удовлетворенно кивнул старшина Пронженко, — зараз гарный хлопэць. — Для верности он еще попытался засунуть за пояс палец: — Колы тры пальца пролазе, цэ много, два — у самый раз.

Внезапно он весь преобразился, круче выпятил грудь и, сверкнув черными глазами, крикнул пронзительным, как у чайки, голосом:

— Рота-а, смирна! Р-равнение направо!

Именно с той стороны к нам подходили четверо командиров в безукоризненно подогнанных шевиотовых гимнастерках, в начищенных до блеска хромовых сапогах, с портупелями через правое плечо. Все они были рослыми, сухопарыми, с отменной выправкой. К слову сказать, толстые, раскормленные в ту пору нам попадались редко и, как правило, составляли исключение.

Старшина повернулся, вскинул кулак к виску и так молниеносно разжал пальцы, что они щелкнули по козырьку фуражки. Чекая шаг, он двинулся навстречу командирам:

— Товарыш старший лейтенант, рота...

— Отставить, — прервал рапорт тот, что шел впереди.

Даже надвинутая на лоб фуражка не помешала нам заметить, что весь он огненно-рыжий, как тот парадный конь первого маршала, которого любили изображать на картинах художники. И крупные веснушки на щеках, и, уж конечно, аккуратно подстриженные усы были такими же рыжими.

— Здравствуйте, товарищи курсанты! — обратился он к нам.

Мы ответили вяло и вразнобой. Пронженко не то смущенно, не то сочувственно пожал плечами:

— У них еще все впереди, товариш старший лейтенант.

— Ну-ну, — покачал тот головой и махнул: — Вольно.

— Вольно! — эхом отозвался Пронженко.

— Я командир вашей роты, — бесстрастным голосом заговорил старший лейтенант. — Моя фамилия Мартынов. Предупреждаю всех: в подразделении у меня должен быть железный порядок. И зарубите себе сразу — послаблений не будет. А сейчас представляю: командир первого взвода — лейтенант Абубакиров, второго взвода...

Я с любопытством смотрел на своего будущего командира, который при упоминании его фамилии сделал неполный шаг вперед. Пожалуй, он был выше всех остальных из группы. Не случайно же из трех взводов ему дали первый. Позже я узнал, что наш лейтенант башкир, хотя лицо у него было скорее европейского склада — продолговатое, со слегка прищуренными серыми глазами и прямым костистым носом. И только острые скулы обнажали его азиатские корни. Взгляд лейтенанта был достаточно суровым, но не жестким. Абубакиров показался мне по-мужски красивым.

И еще одна особенность бросилась в глаза. Внешняя вылощенность уживалась в нем со свободой и раскованностью в движениях. Он не тянулся «во фронт», не разворачивал плечи, а, напротив, держался как бы расслабленно, даже немного сутулился, чтобы потом в нужный момент только чуть выше вздернуть сухой подбородок, распрямить спину и, щелкнув каблуками, без всякого напряжения вытянуть руки по швам. И все. Много позднее, когда мы видели его рядом с самим начальником училища, в позе нашего командира не было подобострастия ревностного служаки. Я думаю, ни один из начальников не осмелился бы повесить на него голос. Он

был полон достоинства и самоуважения, да и поводов ни у кого не могло возникнуть, чтобы упрекнуть его за неточно или не вовремя выполненный приказ.

Когда наш взвод отвели в сторону, Абубакиров пошел к Сашке:

— Курсант Блинков? Это вы были старшим в команде? Превосходно. Я назначаю вас помощником командира взвода.

Мы были потрясены. Это что — судьба? Ну и везет же типу. Если он и дальше таким образом станет делать карьеру, голыми руками его не возьмешь...

— Абросимов и Соломоник, — продолжал лейтенант. — зайдете в каптерку после построения. Я попрошу, чтобы вам заменили пилотки. То, что надето на вас, в мрачную эпоху Николая Первого называлось треуголкой.

Мы не могли понять одного — откуда он узнал фамилии? Может быть, лейтенант изучал наши дела, где имелись фотографии? А предположить, кто будет курсантом первого взвода, можно было и по записи в графе «рост». Не знаю. Для меня это и по сей день остается загадкой.

Одноэтажное кирпичное здание казармы имело три входа. Один в центре и два по краям. У каждой роты был свой отдельный вход, пост дневального и пирамида с оружием, хотя внутри никаких перегородок не существовало. В левом крыле торцом к стенам тесно жались друг к другу составленные попарно двухъярусные железные койки. В центре оставался еще довольно широкий проход. Там удобно было проводить построения. Напротив столика дежурного — красный уголок, учебный класс и каптерка старшины, где нам выдавали постельные принадлежности.

Как только нас отпустили, мы с Борей Соломоником направились искать командира взвода. И тут я почувствовал, что робею при одной мысли о встрече с ним, словно это был не взводный, а какой-нибудь прославленный военачальник. Мало того, я неожиданно отметил в себе новую и довольно подлую черту — мне вдруг очень захотелось произвести на него хорошее впечатление и даже понравиться. Подозреваю, что такие же чувства испытывал и Боря.

Соломоник был родом из Житомира, где работал учеником провизора в аптеке. По вечерам бабушка заставляла его играть на скрипке. Ходили слухи, будто

фашисты расстреляли почти всех его родственников, хотя сам он об этом никогда не рассказывал. У Бори был классический нос и темные бархатные глаза. Неестественно высоко приподнятые плечи как бы выражали постоянное недоумение — что же это, в конце концов, происходит? К тому же он страдал плоскостопием, и от этого походка его выглядела более чем странной. Соломоник резко отбрасывал ступни, будто все время пытался стряхнуть что-то, прилипшее к подошвам.

У дверей каптерки Боря остановился, вежливо снял пилотку — он вообще был очень вежливым человеком — и постучал в дверь.

— Да! — послышался голос старшины. — Заходите.

Мы попытались протиснуться одновременно и едва не застряли в узких дверях. Пронженко перекладывал белье на деревянных стеллажах. Лейтенант Абубакиров сидел без фуражки у столика и что-то писал в толстой тетради. При виде нас он отложил карандаш и поднял голову. Темные волосы его были причесаны с исключительной тщательностью — волосок к волоску.

— Добрый вечер, — сказал Соломоник и слегка поклонился. — Вы просили зайти...

Губы лейтенанта дрогнули едва заметно, и по обе стороны от них четко обозначились скобочки веселых морщинок.

— Я не просил, — мягко, но с нажимом произнес он, — я приказывал.

Желая исправить невыгодное впечатление, которое мог произвести на взводного Соломоник, я вскинул руку к пилотке и бойко выпалил:

— Товарищ лейтенант, курсант Евгений Абросимов прибыл по вашему приказанию.

— Вот что, брат Евгений, — сказал Абубакиров, поднимаясь со стула. — Имя вам дали красивое, это точно, но при докладах оно ни к чему. Достаточно фамилии...

Пилотки мы все-таки поменяли, а перед ужином нам дали час свободного времени, и большинство ребят засели за письма в учебном классе. Мне писать было некому. Мать свою я почти не помнил, она умерла, когда мне не было и шести лет, двоюродной тетке я послал открытку еще из карантина, а самый близкий мне человек — отец — пропал без вести в первый же месяц войны где-то в Белоруссии. Он служил в инженерных войсках, командовал саперной ротой.

За неимением других дел можно было осмотреть казарму.

Я прошел на цыпочках мимо комнаты, где находился штаб батальона. Командира я так и не увидел. Но это ничего не изменило. Как выяснилось позднее, этот человек при всей своей внешней импозантности умудрялся оставаться незаметным, словно вместо фуражки носил шапку-невидимку. В роту он почти не заглядывал, и встречались мы исключительно на батальонных построениях, которые бывали не так уж часто. Адъютанта старшего, как в батальоне называют начальника штаба, мы видели еще реже. Он целыми днями сидел в своей комнате, как арестованный.

В красном уголке я застал только Сашку Блинкова и Юру Васильева — румяного блондина, эвакуированного из Ленинграда. Сашка что-то писал за столом, а Юра, засунув руки в карманы и весело насвистывая, с независимым видом разглядывал стенды, расставленные вдоль стен, и портреты великих русских полководцев. В глаза бросался плакат — белым по красному: «Приказ командира — это приказ Родины».

Но тут дверь в красный уголок отворилась, и на пороге таким бездымным факелом возник командир роты. Без фуражки он казался еще рыжее. От его льдистых глаз веяло холодом. Своим взглядом он словно бы раздевал нас догола на морозе. Но странно, трепета перед ним ни я, ни мои товарищи, насколько можно было судить, не испытывали.

Васильев выдернул руки из карманов, а Сашка поспешно встал из-за стола. Старший лейтенант Мартынов выбросил вперед два пальца, будто вскинул старинный дуствольный пистолет:

— Фамилия?

— Курсант Васильев.

— Скверно, курсант Васильев. Это вам не конюшня. Здесь портреты, извлечения из уставов, а вы свистите...

— Говорят, денег не будет, — попытался я разрядить обстановку.

Мартынов удивленно поднял брови:

— Не стоит волноваться, у вас их не будет, даже если вы вообще свистеть не умеете. — И он вышел, оставив нас в полной растерянности.

— Интересно, однако, — как бы про себя сказал Сашка, снова садясь на место, — очень интересно...

— Что, что интересно? — спросил я.

— А не этот ли Мартынов убил Михаила Юрьевича Лермонтова?

Юрка Васильев стукнул кулаком по столу.

— Гнедой! — припечатал он командира роты.

— Какой же Гнедой, если он рыжий, — рассмеялся я.

— Все равно Гнедой, — упрямо повторил Юрка.

Ребята были возбуждены, а я смотрел на них и посмеивался. О своих товарищах я знал немного, хотя и в пути, и в карантине все только и делали, что вспоминали про дом да смаковали всякие истории из гражданской жизни.

Про Сашку я слышал лишь то, что отца своего он потерял рано, не успел окончить семилетку — похоронил мать. Поступил в геологоразведочный техникум, но в позапрошлом году после отмены стипендий бросил его и махнул с родного Алтая в Алма-Ату к дядьке устраиваться на работу. Были у него еще братья. До войны старший служил в Красной Армии, а средний работал сельским учителем. Теперь нет обоих. Первый погиб под Москвой год тому назад, а на другого похоронка пришла недавно. Сашка всего-то и знал о нем, что могила его находится посреди донской степи, где вокруг нет ни деревца, ни кустика, ни другого приметного знака...

У Юрки все сложилось иначе. Жил он в Ленинграде. В самом начале войны отца забрали на фронт. Тяжело раненный, он попал в тыловой госпиталь. В ноябре прошлого года выписался оттуда полным инвалидом. Обрато в осажденный город его, понятно, не пустили, и поселился он в Москве у своей сестры, которая жила в глухом переулке возле Ильинских ворот. Юркина мать работала в конструкторском бюро на заводе и выехать из Ленинграда не захотела. А позднее это стало почти невозможным. Единственное, что она сумела сделать, это выпроводить сына в Москву. Юрка сопротивлялся, но мысль о беспомощном отце окончательно решила дело. А совсем недавно они узнали, что мать умерла от голода в самом конце прошлой блокадной весны...

Насыщенный впечатлениями день закончился последним построением роты на вечернюю поверку. От пережитых волнений нас всех клонило ко сну, а старшина, как назло, все говорил о чем-то, все читал свою бесконечную мораль. Сами собой слипались глаза. Кое-кто из наиболее нетерпеливых, стоящих во второй шеренге, начал незаметно раскручивать обмотки. Де-

ло было далеко не простое. Для этого следовало под-
нять одну ногу и, соблюдая равновесие, не меняя поло-
жения корпуса, распусть тесемку и скатать обмотку
в тугой рулончик. При этом глаза должны были при-
стально смотреть в рот старшине и выражать крайнюю
степень заинтересованности. Только опыта у них еще
не хватало, и Пронженко без труда разгадал нехитрый
маневр.

— Спишить? — ехидно поинтересовался он. —
Шо ж, трохи поучимось порядку. Закрутить обмотки!
Оправыть гимнастерки! Провожу повторну поверку.
Рота-а, смирна!

*В течение 10 сентября наши войска вели ожесточен-
ные бои с противником западнее и юго-западнее Сталин-
града, а также в районе Моздок и уличные бои в Но-
вороссийске.*

*На других фронтах существенных изменений не про-
изошло.*

Из сводки Совинформбюро

3. КУРС ОДИНОЧНОГО БОЙЦА

Каждое утро начиналось с трубы, игравшей сигнал
«повестки». Он был непродолжительным и не слишком
громким, звучавшим как бы под сурдинку. Если я уже
не спал в это время, то мог спокойно рассчитывать на
целых пять минут полудремотного блаженства с натяну-
тым на голову одеялом и закрытыми глазами. Это был
еще не наш сигнал, он предназначался для начальства.
Услышав его, дежурный должен был будить старшину,
койка которого стояла прямо в каптерке. Но зато через
пять минут...

В утреннем, еще не омраченном дымами воздухе
сигнал подъема звучал возбуждающе-призывно, как
мощный голос средневекового боевого рога. В ту же се-
кунду полумрак казармы озарялся вспышкой электри-
ческих лампочек, звенел звонок, и голос дежурного, а
за ним и старшины отрывал нас от теплых подушек и
подбрасывал над койками.

— Подъем!

— Подъе-ем, — давил на барабанные перепонки ме-
таллический голос старшины Пронженко. — А Голуб
досе спыть?

Спрыгнуть на пол с верхнего яруса было делом одной секунды. Тут главная задача заключалась в том, чтобы не зашибить обитателей первого этажа. Все разложено и развешено на своих местах: брюки, гимнастерка, ботинки, обмотки, ремень — именно в этом порядке. Но в проходе между койками нас четверо, а старшина стоит над душой с часами, у которых имеется секундная стрелка, и в такт ее частым рывкам стучит по полу кожемитовой подметкой: так, так, так.

Через несколько дней после прибытия нам выдавали оружие. Старшина записывал в реестр и громко объявлял номера винтовок, а вручал их сам командир взвода. Я рассчитывал, что карабин мне передадут торжественно из рук в руки, но тут было заведено по-другому. — Абросимов!

Я делаю два шага вперед. Лейтенант берет винтовку за ложку чуть повыше разрезного кольца. Держа ее стволом вверх, он командует «лови!» и резко отбрасывает от себя. Не знаю, каким чудом мне удастся поймать карабин на лету, тем более что с такой манерой передачи оружия я совершенно незнаком — ведь по списку меня выкликнули первым. Мне остается только повторить выбитый на казеннике номер и стать в строй. Товарищи мои теперь хотя и подготовлены, но я все равно вижу, как они жмутся и краснеют, как от напряжения у них дрожат руки. Что будет, если оружие грохнется об пол?

У лейтенанта это получалось так ловко и изящно, что никто из нас карабин не упустил. Потом нам еще раз повторили правила обращения с оружием и ухода за ним, приказали каждому заготовить бирочки с номером и своей фамилией для отведенного гнезда в ружейной пирамиде.

— Товарищи курсанты, — сказал напоследок Абубакиров, — запомните: вы можете забыть свою собственную фамилию, год рождения, но номер карабина — никогда.

У входа в красный уголок висел плакат с крылатыми суворовскими словами: «Тяжело в учении — легко в бою». Надо отдать должное, наши командиры неукоснительно следовали завету великого полководца и делали все возможное и невозможное, чтобы облегчить нашу участь в предстоящих боях.

Занимались мы в среднем по четырнадцать часов в сутки.

При всей замкнутости узкого мира, в котором мы вращались, при всей нашей мальчишеской беспечности мы не могли не ощущать того, что происходило за стенами училища. В красном уголке висел черный, похожий на тарелку, репродуктор, и вечерами нам разрешали слушать оперативные сводки с фронтов. Мы видели, как все более озабоченными становятся лица наших командиров. Немцы подходили к Сталинграду, к Волге. И от нас требовали одного — быстрее, быстрее!

Строевая подготовка — вколачивание и без того утрамбованного гравия на широком плацу — тум, тум, тум. И команды: «На пле-е-чо! К по-о-ге! Шаго-о-марш! Кру-у-гом!» Обязательные занятия в штурмгородке — преодоление бума и полосы препятствий, окapyвание, лазание через стенку, проделывание проходов в проволочных заграждениях...

Изучение матчасти мы воспринимали как подарок судьбы. Не надо было тратить драгоценных калорий. Сиди себе в уютном сухом классе, разбирай автомат или ручной пулемет. И солнце не печет, и за ворот не капает. Если говорить по справедливости, мы не были такими уж неоперившимися птенцами. Еще в шестнадцать лет на школьных занятиях по военному делу мы могли на спор с закрытыми глазами разобрать и собрать затвор винтовки и, когда очень хотели, умели держать строй. Многие из нас были ворошиловскими стрелками и дырявили в тирах грудные мишени, а это было не так уж мало...

Тридцать лет мне не приходилось держать в руках боевого оружия, но я уверен, что и сейчас смог бы не глядя разобрать ППШ и даже, возможно, ручной пулемет Дегтярева, хотя из названий только и помню, что боевые упоры да ромбоидальный вырез, или, может быть, наоборот, выступ, в одной из частей затвора. Почему именно ромбоидальный? Скорее всего из-за непонятного и странного звучания этого слова, когда-то в юности поразившего мой слух и прочно оттиснутого в памяти. А у ручника, помнится, одних задержек надо было запомнить около десятка.

Невдалеке от казармы проводятся занятия по штыковому бою: «Дела-ай... раз! Дела-ай... два! Коротким ко-ли! Прикладом отбей!» Потом мы, задыхаясь, с криком «ура!» и карабинами наперевес бежим в последнюю решительную атаку и с выпадом колем обшитые парусиной чучела. Граненый штык с хрустом входит в слежав-

шуюся солому, и от этого страшного звука мороз продирает по коже.

Я не знал, как погиб мой отец. А в том, что он погиб, я почти не сомневался. Иногда по ночам, уже засыпая, я пытался представить себе лицо человека, который выпустил в него пулю. И тогда меня охватывала такая лютая ненависть, что слезы наворачивались на глаза. Чтобы встретиться с ним, я, кажется, согласился бы пойти на край света. И наверное, в тот миг в этом набитом трухлявой соломой пугале мне мерещился именно он, мой кровный враг — фашист.

До тех пор чувство ненависти было мне неведомо. В мирной жизни существовало столько всего заслуживающего внимания и любви, что на ненависть не оставалось ни места, ни времени.

Я ходил в школьный музкружок, занимался в духовом оркестре. Всех нас, кто играл на альтях, называли «истаташниками», потому что, разучивая вальсы, мы постоянно отсчитывали такт: «ис-та-та, ис-та-та...». Я, наверное, никогда не стал бы настоящим музыкантом, хотя и нотную грамоту усвоил, и слухом природа меня не обидела. В кружке я занимался оттого, что любил острый звук медной трубы, словно бы исторгаемый самой душой, и чудо превращения ничего не выражающих отрывочных колебаний воздуха и пауз самых разных инструментов в единое гармоничное звучание. Это было великолепно! Я и здесь, в училище, с волнением слушаю, как возникают и доносятся знакомые звуки из репетиционной комнаты муззвода, и порой испытываю желание переложить на ноты любой сигнал трубы.

Были у меня и другие увлечения, как тайные, так и явные. К тайным я отношу Лидочку Сонкину. Она сидела в левом от меня ряду, возле окна. Когда на третьем уроке солнечные лучи добирались до ее парты, простреливая легкие золотые волосы, Лидочкина голова вспыхивала, как только что родившаяся звезда первой величины. Ее окружало сияние в несколько миллионов свечей, так что смотреть становилось больно. У Лидочки Сонкиной была атласно-белая кожа с легким румянцем на щеках. И, хотя Лидочка была круглой отличницей, она всегда мучительно краснела, когда ее вызывали к доске. Мне нравилось в ней все: и то, как она одевается, и то, как произносит шипящие звуки, почти не разжимая зубов, — «жук, жужелица...».

Мы проучились с ней с шестого по девятый в одном

классе, и я ни разу с ней не заговорил. Ни разу! Меня считали общительным парнем, а тут при виде ее словно столбняк находил, и я терял дар речи. О Лидочке можно было только мечтать... Как это было давно!

Теперь все иначе. Часто по ночам, а иногда и под утро, когда сон особенно сладок, гремит сигнал учебной тревоги: соль-соль-соль, соль-ми-до... Топот тяжелых ботинок по казарме, недолгая толкотня возле пирамиды с оружием, и рота построена. Бывает, тут же, после короткого осмотра курсантов, их амуниции и одежды звучит отбой, и старшина, притворно тараща глаза, орет во все горло: «Воздух!» Это означает примерно то же, что команда «разойдись!». И тогда мы снова, торопясь не меньше, чем при сигнале тревоги, раздеваемся и валимся в постели. Это чем-то напоминает кино, когда механик начинает крутить ленту в обратном направлении.

Но случается и по-другому. Мы выходим с полной выкладкой из ворот училища и, где шагом, где бегом, проносимся по темным улицам спящего города, и сентябрьское солнце встречает нас далеко в поле. Мы идем долго, без привалов. От напряжения покалывает в левом боку, и во рту вместе с тягучей слюной собирается горечь. Страшно хочется пить. И хоть река пробегает где-то поблизости — иногда нам даже чудится, будто мы слышим плеск воды, — из строя никому выходить не разрешают. При таком темпе жара кажется нестерпимой. Над холмами дрожит струистое марево, и солнце, как медовые соты, истекает липким зноем. В бездонной вышине парит беркут. На концах его крыльев растопыренной пятерней торчат жесткие перья.

Впереди взвода со скаткой через плечо и противогазом на боку широко шагает неутомимый лейтенант Абубакиров. Удивительная вещь: пыль у нас оседает даже на бровях и ресницах, а он выглядит так, словно только что вышел из бани. И лишь гимнастерка на его спине чернеет от пота. Иногда лейтенант сходит с дороги и, пропуская нас, покрикивает слегка охрипшим голосом:

— Шире шаг! Подтянись!

И тогда последним шеренгам приходится снова переходить на бег, а вместе с ними рысцей догоняет голову колонны и наш командир. Сашка Блинков обычно замыкает строй. Лицо его налито кровью и обожжено солнцем. Он поторапливает отстающих.

Но наступает минута, когда кажется, что это твой

последний шаг. В глазах темнеет, язык становится сухим и шершавым, как драчовый напильник. И как раз в этот момент звучит команда:

— Стой!

Дистанция между взводами сокращается, постепенно подтягиваются отстающие. Старшина Пронженко, пробега мимом по обочине, весело кричит:

— Сойти с дороги! Открыть затворы, свернуть курки!

На языке старшины эта уставная команда означает разрешение справиться нужду.

— Привал вправо! — объявляет взводный. — Пять минут. Давайте сюда, поближе.

И он объясняет нам, что чувство жажды приходит к человеку не столько от недостатка воды в организме, сколько от потери солей, которые уходят вместе с потом.

— Часа через полтора подойдем к реке, и вам разрешат напиться, — говорит он. — Так вот, мой совет: хорошенько пополощите рот и горло, а пить не больше трех глотков. Иначе вам будет совсем скверно.

И снова пыль, выбиваемая из дороги сотнями пар тяжелых ботинок. А потом: «Воздух!», «Танки слева!», «Кавалерия с фронта!» В зависимости от обстоятельств нужно либо рассредоточиваться, либо залегать в цепи, либо выстраиваться соответствующим образом с карабинами на изготовку — и «Взвод, залпом пли!». На военном языке это называлось «разыграть вводную».

Рядом со мной, стиснув зубы и подавшись вперед всем телом, идет Лева Белоусов. Впалые щеки его бледны даже в такую жару, а на выгоревших бровях блестят кристаллики соли. Впрочем, соль в виде замысловатых вензелей оседает и на наших гимнастерках, делая их похожими на контурные карты.

Левка у нас на особом положении. К слишком «правильным» ребята всегда относятся настороженно, а иногда даже с опаской. Кто их знает, что они выкинут? За сравнительно короткий срок мы успели хорошо узнать этого длинного худого парня. Он был справедлив и честен. Чересчур честен даже в мелочах. Он все делал как положено, и его сразу же отнесли к разряду «правильных». Но, несмотря на это, от него не отгородились.

И лишь однажды мы смогли уличить его в плутовстве. Левка откровенно словчил на медицинской комиссии. Хирурги придирчиво ощупывали наши кости и суставы, глазники были хотя и бдительны, но уже по-

мягче, а терапевты только слушала сердце, спрашивали о жалобах и всех без разбору направляли на рентген. И вот тут-то, еще в коридоре, где над дверью загоралась красная табличка «Не входить», он попросил Витьку Заклепенко:

— Слушай, там темно, ни черта не видно. Когда назовут мою фамилию, встань вместо меня к аппарату. — Это был единственный случай, когда в его голосе прозвучали заискивающие нотки. — К тому же нас все равно не знают в лицо...

— А зачем? — не понял Витька.

Левка замялся и покраснел:

— Видишь ли, у меня скверно с легкими. В армию брать не хотели... А тут уж наверняка зарежут.

— Ну и ловкач, — баском хихикнул Заклепенко, подтягивая локтями штаны. — Ладно, у меня шкура крепкая, выдержит.

Правда, об этом обмане быстро забыли, тем более что круг посвященных был ограничен...

По другую сторону от меня скачущей походкой шагает Володя Брильянт. Командир одного из взводов соседней роты младший лейтенант Зеленский как-то сказал о Брильянте, что он не тот — не самый крупный в короне британского короля. Тем, что Володька худой и длинный, нас не удивить. Помнится, при первой встрече в его фигуре меня поразила вопиющая диспропорция, полнейшее неуважение к архитектуре человеческого тела. Я решил даже, что его родители не имели ни малейшего понятия об анатомии. Казалось, что ноги у него росли прямо из груди, а на маленькой, как кулачок, голове непомерно большими выглядели оттопыренные уши. К тому же он еще и заикался немного.

Однако вскоре выяснилось, что родители Володьки тут ни при чем. Виноват старшина, выдавший ему слишком глубокие штаны, из-за чего парню пришлось переместить талию почти под мышки. Остальное же, как уверял Лева Белоусов, было чепухой — немного терпения, и Володька перерастет. Дай-то бог! Во всяком случае, это безропотный и добрейший малый.

А с Андреем Огиенко происходят странные вещи. Он молчит, ни с кем не заговаривает, не отвечает на вопросы. Я вижу, как наш лейтенант то и дело поглядывает на него с любопытством, а возможно, и с затаенной тревогой.

Домой мы возвращаемся уже после обеда. В столо-

вой на нас заявлен расход. Там наше не пропадет. В училище мы спешим, как рабочая лошадь в свое стойло, без понукания. Едва входим в город, старший лейтенант Мартынов останавливает роту, заставляет подравняться.

— А ну, запевай! — приказывает он. — Васильев, давай «От голубых Уральских гор...».

Рота дружно подхватывает песню и, лихо печатая шаг, марширует по улицам. Наша пропотевшая одежда присыпана пылью, а лица потемнели от солнца, но мы, как бы глядя на строй со стороны, втайне любим себя.

Но вдруг песня сначала вянет, а затем смолкает совсем. По рядам пробегает сдержанный смешок, потом и откровенный хохот. Курсант Голубь, шагавший правогофланговым в четвертой шеренге, отключился. Сначала он только прикрыл глаза, на всякий случай касаясь локтем соседа слева, а потом незаметно уснул. Только неведомый сторожевой центр в мозгу, как гирокомпас, помогал ему выдерживать заданное направление. Он, видимо, уже не раз прибегал к такой уловке. Но тут его подвела улица. Она стала изгибаться влево, а Голубь как шел, так и продолжал идти прямо с закрытыми глазами. Пока не врезался в каменный бордюр тротуара...

Вечером в казарму пришли военврач второго ранга и пожилой военфельдшер. Они о чем-то долго говорили с капитаном — командиром батальона. Перед вечерней поверкой старшина Пронженко объявил нам, что сейчас будет производиться осмотр по форме двадцать. Говоря попросту, это означало, что у нас будут искать вшей. Делалось такое не первый раз, и по этой части рота уже успела накопить опыт. Нас построили в две шеренги лицом друг к другу. По команде мы скинули пояса, расстегнули гимнастерки и, сняв их через голову вместе с нательными рубашками, вывернули на левую сторону, не стаскивая рукавов. Старшина и пожилой военфельдшер шли по проходу и внимательно изучали у каждого бельевые швы, особенно на боках и под мышками.

Все шло спокойно, своим чередом, пока проверяющие не добрались до Огиенко.

— Отó, — громко сказал военфельдшер и подозвал старшину.

Все головы разом повернулись в их сторону, и шеи вытянулись.

— И дэ цэ ты цией дряни набрався? — с испугом проговорил Пронженко. — А ну, выходи з строю.

Огиенко стоял как истукан, не шевелясь, не отвечая на вопросы. И вдруг я увидел, как из его полуоткрытого рта струйкой потекла на грудь тягучая слюна. Взгляд у него был совершенно идиотский.

— Так-так, — в раздумье проговорил военфельдшер, — собирайся! Товарищ старшина, продолжайте осмотр, а ему пусть помогут одеться — и быстро в изолятор.

Сашка Блинков и Лева Белоусов натянули на него одежду и, подхватив под руки, повели по коридору. Следом за ними направился и военфельдшер.

— Оце ще мэни прыдуркив нэ було в роти, — с досадой махнул рукой старшина. — Пидравняйсь! Продовжуем осмотр.

Весь следующий день мы обсуждали историю с Огиенко, благо времени для этого было достаточно, так как нас всех вне очереди повели в баню.

Каждый день нам полагается час на самоподготовку и один час свободного времени, когда можно написать письмо, пришить подворотничок или пуговицу, почистить оружие. И вот именно в этот свободный час в казарму вбежал Левка Белоусов и крикнул:

— Вы, там раненая собака!

— Ка-ак раненая? — не понял Брильянт.

— Обыкновенно. Пол-лапы нет. Как отрезал кто. Аж качается бедолага. Видать, крови много потеряла. Человек пять выскочило во двор. Прямо возле крыльца сидел, понутив голову, небольшой лохматый пес с длинной свалявшейся шерстью. Он держал на весу правую переднюю лапу, с которой капала на землю темная кровь. Два или три пальца были оторваны и болтались на коже. Пес то и дело лизал рану и тихонько поскуливал.

— Если бы его отмыть, — сказал Левка, — он бы оказался пепельного цвета с черными крапинками. И уши тоже черные.

— А корейцы, что ли, говорят, собак едят, — ни к селу ни к городу вставил Сорокин.

— Где, однако, Соломоник? — спросил Сашка Блинков. — Он должен разбираться в медицине. Как-никак в аптеке работал.

Но Соломоник в медицине не разбирался.

— Давайте оттащим ее в санчасть, — пришла мне в

голову гениальная идея. — Там и бинты есть, и йод, и все, что угодно.

— Ну ты, Абросимов, скажешь, — засмеялся Сорокин. — Им только собак не хватало.

— Ладно, тащите в санчасть, — поддержал меня Сашка. — За спрос денег не берут.

Я хотел взять пса на руки, но побоялся причинить ему боль, да и опасался испачкаться в крови. Однако пес словно понял наше намерение. Он поднялся и, отдыхая через каждые десять шагов, с трудом прыгал за нами на трех лапах.

В перевязочной мы застали только медсестру. Она была уже не молоденькая, лет под тридцать. Но женщина эта сразу чем-то поразила меня, и я даже на какое-то время забыл, ради чего сюда пришел. Высокая, широкобедрая, белотелая. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не следы оспы, несколько портившие лицо. Оно напоминало прекрасный плод, побитый летним градом.

— Как вас зовут? — спросил я, словно во сне.

— А у вас для меня телеграмма? — засмеялась она.

У этой медсестры не было ничего общего с Лидочкой Сонкиной, моей одноклассницей, скорее всего они были полной противоположностью, и тем не менее я испытывал знакомое состояние, близкое к остолбенению.

— Нет телеграммы. Просто так.

— Таня, — ответила она удивленно. — Что там у вас стряслось?

— Раненого привели, — сказал Белоусов, вваливаясь в перевязочную следом за мной. — Нужны бинты, йод, вата...

Серые глаза медсестры испуганно округлились.

— Не стоит волноваться, — выглянул из-за Левкиного плеча Соломоник, — это собака. Правда, очень ценной породы. Новозеландский терьер.

— Это там, где кенгуру? — спросила Таня.

— Почти, — кивнул Боря. — Совсем рядом.

— Тогда пойдемте посмотрим.

Она сняла халат и вышла на улицу. Пес сидел перед дверью все в той же позе, держа лапу на весу. Казлось, он понимал, зачем его сюда привели.

— Боже, да ведь это же самая настоящая дворняжка! — воскликнула сестра.

— А мы все тут не княжеского рода, — обиделся за пса Белоусов.

— Да я не к тому вовсе, — засмеялась Таня, и голос ее прозвучал очень мелодично. — Ладно, давайте посмотрим. — Она опустилась возле собаки на корточки. — А ну, больной, покажите лапку.

Пес вздохнул, но лапу не убрал. Осмотр был недолгим.

— Вот что, ребята, никаких бинтов собаке не нужно. Йод при таком ранении тоже ни к чему. Это вам полезно знать. Она просто залижет это место, и вся история. Вы подержите песика, а я сейчас, мигом. Тут необходимо маленькое вмешательство, пока нет никого из начальства.

Через минуту Таня вернулась с ножницами и стаканом, в котором плескалась какая-то прозрачная жидкость.

— Подержите, — сказала она, передавая стакан Соломону.

Пес даже не взвизгнул, так мгновенно Таня отхватила ему болтавшуюся на коже часть лапы. Потом она полила на рану из стаканчика, и прозрачная жидкость побелела, запузырилась с легким шипением.

— Все, до свадьбы заживет, — пообещала Таня. — Сейчас ее подкормить надо. Она, наверное, голодала целую неделю.

Под деревянным крыльцом мы устроили собаке временное логово, наносив туда сухих стружек из мастерской. Я работал с интересом, но сам не переставал думать о встрече с медсестрой Таней. А Левка тем временем, пользуясь своим авторитетом, выпросил на кухне большую жестянку из-под консервов, куда ему плеснули половник обеденного супа.

Когда наша активность по оборудованию собачьего жилья достигла наивысшего накала, на пороге казармы появился командир роты. Мы вскочили, одергивая гимнастерки. Рыжая бровь старшего лейтенанта поползла вверх.

— Что это у вас там? Собака? — спросил он. — А завтра вы приведете в казарму корову. Или слона. Чтoб духу ее не было!

— Товарищ старший лейтенант, — твердым и даже каким-то непреклонным голосом начал Белоусов, — собака ранена. Если ее прогнать, она погибнет.

— Вот именно, — поддержал я Левку. — Разрешите оставить. Хотя бы на несколько дней. Жалко ведь...

— Зарубите себе, — брезгливо проговорил командир

роты, — воину слюняйство не к лицу. Оно как ржа разъедает устои армии. В этом все. Отсюда вшивость, кража портянок и нечеткий шаг в строю. Вы заканчиваете курс одиночного бойца, а что вы о нем знаете, в чем его сила?

— В том, что он не одинок, — ответил Левка, глядя прямо в глаза командиру роты...

20 сентября. В районе Синявина продолжаются бои... Противник подтянул резервы и оказывает упорное сопротивление.

Из сводки Совинформбюро

4. КАСТРЮЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Вторая курсантская норма — это был допустимый предел, который могла позволить себе страна в то нелегкое голодное время, чтобы обеспечить питанием войсковую часть, расквартированную далеко от войны, в глубоком тылу. Выше этой нормы была только первая — фронтовая. О нашем рационе гражданские могли только мечтать. Наваристые щи или суп с лапшой, сытная ячневая или перловая каша, бывал и плов. На день курсантам полагалось восемьсот граммов хлеба, из которых около половины выдавали белым. Кроме того, два кусочка сливочного масла и по столовой ложке сахарного песка на завтрак и ужин. И все это за считанные минуты исчезало в наших желудках.

У каждого из нас была своя манера, или, точнее, методика, еды. Когда в мою миску наливали суп, я в первую очередь съедал с хлебом жижу, а гущу оставлял напоследок. Сашка Блинков не ел, а «принимал пищу», причем с такой деловитостью, словно выполнял ответственную работу. Витька Заклепенко родился гурманом. Он умел смаковать все, что подавалось к столу, и потом, покряхтывая от удовольствия, тщательно вылизывать свою ложку. Соломоник старался есть не чавкая, интеллигентно, непременно отставляя мизинец. А Сорокин поглощал пищу с невероятной быстротой, почти не глядя, и, если бы ему подсунули кусок жареной автомобильной покрышки, он бы наверняка не заметил.

Не помню уже, как питался Андрей Огиенко, ибо

вскоре после медосмотра его отправили в госпиталь и там комиссовали по чистой. Витька Заклепенко по этому поводу высказался довольно определенно:

— Вот сдохнуть мне, он симулянт. Обвел комиссию вокруг пальца. Я бы его, гада, по закону военного времени...

Обычно уравновешенный Витька умел быть и катергоричным. Правда, иногда он и сам плутовал, но его всегда выдавало откровенно лукавое выражение глаз.

Мытарства эвакуации научили его бороться за жизнь, заботиться о собственном пропитании. Им владел уже не столько голод, сколько страх перед ним. Сорокин в часы самоподготовки ходил на кухню выдуривать у дежурных что-нибудь съедобное, или, как мы говорили, «охмыряться». Кстати, это подлое словечко так прочно вошло в наш курсантский лексикон, что избежать его сейчас я не вижу никакой возможности. Идти откровенно этим путем Витька стеснялся. То дровишки подколет, то поможет продукты разгрузить. Глядишь, вечером дежурные подкинут лишний бачок каши. Надо отдать должное, заработанное он тащил к столу и честно делился с товарищами.

И несмотря на все, мы постоянно испытывали голод. Четырнадцать часов напряжения сжигали без остатка все эти белки, жиры и углеводы. Мы потихоньку носили с конюшни макуху — то ли конопляный, то ли хлопковый жмых, били на кусочки и держали в карманах вместо шоколада.

Если тактические занятия проводились в поле (а мы почему-то часто попадали на поля, где перед этим убрали редьку), то глаза наши все время шарили по земле в надежде, что хоть один драгоценный корнеплод ускользнул при уборке от внимания колхозников. Чаше всего так оно и было. В этой бескровной охоте я достиг успехов.

Когда редька оказывалась поблизости или, что еще лучше, прямо под ногами, я незаметно переворачивал карабин прикладом вверх, штыком выколупывал из земли трофей, а затем уже накалывал его на острие. Самое главное тут было опередить возможных конкурентов. После этого я вытирал редьку полрой шинели, и она была готова к употреблению.

Сейчас приходится удивляться не столько количеству съедавшейся курсантами пищи, сколько вместимости наших животов. Абубакиров даже предположил од-

нажды, что у нас, как у коровы, не по одному, а по четыре желудка.

И вот в такое-то напряженное время в роте появился нахлебник — несчастный бездомный пес. Добавки перепали нам далеко не каждый день, а обедков в столовой практически не оставалось. Мытье посуды после обеда было делом чисто формальным, потому что со столов миски собирали уже достаточно чистыми и даже сухими. Тогда Левка Белоусов бросил клич: с каждого по пол-ложки второго!

Одно дело сказать, а другое сделать. Все это было связано с немалыми трудностями. Приходилось ежедневно тайком проносить в столовую большую жестянку из-под консервов, прятать ее под столом на коленях, постепенно передавая по кругу.

А пес был умница! Он быстро научился ориентироваться в обстановке и отлично знал, когда следует выходить, а когда лучше отсидеться в укрытии. И все же полностью избежать неприятностей он не мог. Потому что если на сотню человек сыщется хоть один-единственный гад, то и он может наделать неприятностей.

Помощник командира третьего взвода младший сержант Красников не любил собак. Однажды, проходя мимо пса, он пнул его носком ботинка в самое больное место. Не ожидая нападения, пес доверчиво сидел возле ступенек. Мы услышали, как отчаянно он взвизгнул, и выскочили, когда наш приемыш вертелся волчком от боли. Потом пес скрылся под крыльцом и еще долго жалобно скулил.

Мы почти с кулаками набросились на младшего сержанта. И неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы не Сашка. Он с трудом успокоил ребят и, повернувшись к Красникову, довольно решительно сказал:

— Запомни — будешь кидаться на скотину, посадим на цепь.

Однажды Сашка сказал мне:

— Послушай, Женька, перестань лизаться с собакой. Старший лейтенант, однако, прав — глисты будут. Лучше бы имя ей придумал. Человек без имени и тот вне закона...

И тут началось. Посыпались самые неожиданные предложения.

— Может, Джу-ульбарс? — неуверенно спросил Брильянт.

— Дура! — разозлился Витька. — Это же тебе не пограничная собака.

— Надо что-нибудь такое, — и Соломоник сложил пальцы щепоткой, — военное. Может быть, Боек, а? Звучит!

— Слишком воинственно и не смешно, — запротестовал Лева.

— О, придумал. Нагель! — сказал Сорокин. — То же по матчасти...

— Да что он у нас, однако, немец, что ли? — возмутился помкомвзвода.

За спорами мы не заметили, как в красный уголок вошел наш лейтенант.

— Я уже слышал, чем занимается взвод. По-моему, у вас нет ни юмора, ни фантазии. Назовите пса Антабкой, — сказал Абубакиров. Он явно имел в виду устройство для крепления ремня на винтовке...

Вмешательство командира взвода в неожиданный спор обрадовало нас, поскольку это делало его невольным соучастником нашего заговора. Во всяком случае, мы могли быть уверены, что он не станет чинить препятствий и собаку мы сохраним.

Меньше всего мы ожидали от Мартынова, что он смирится с существованием какого-то приبلудного пса в расположении роты. Но, к нашему удивлению, старший лейтенант Антабку просто не замечал, либо делал вид, что не замечает. Примерно так же относился к собаке и командир батальона. Старшина Пронженко хмылялся, глядя на наши новые заботы.

— Мало вам вошей, — беззлобно покрикивал он. — Вы мэни ще и блох принэсэте.

Единственным человеком, сам вид которого уже приводил нас в трепет, был начальник училища подполковник Лисский, хотя за все это время ничего плохого от него мы не видели. Просто слишком велика была дистанция между нами и слишком неприступным был его вид. Подполковник мог в окружении небольшой свиты появиться в казарме и, заметив пыльное глухое окно, молча начертать на стекле пальцем: «Дежурному — трое суток ареста». И больше ни слова.

Когда рано утром на территории слышался срывающийся голос дежурного командира, во всю мощь своих легких подававшего команду: «Училище, смирно!», по коже у нас ползли мурашки и мы замирали на месте. Так в детстве мы застывали в самых неожиданных по-

зах, когда периодически возникало поветрие совершенно дурацкой игры «Замри!».

Начальник училища не допускал никакого панибратства между старшими и младшими по должности, со всеми был подчеркнуто официален, сух и по-деловому краток. Он придерживался известного принципа — командир должен быть строгим, требовательным и справедливым. Говорили, что он потомственный ленинградец. Мы знали о болезненной чистоплотности подполковника и не без основания полагали, что, если однажды его путь пересечется с путем приبلудного пса, для Антабки это будет конец.

В тот день мы поотделенно отрабатывали ружейные приемы невдалеке от казармы. Дневальный по роте Юрка Васильев с ведром и шваброй убирал на крыльце. Антабка, выбравшись из своего логова, лежал в тени под стенкой, отгоняя хвостом мух. Не заметить его было невозможно. И вот тут-то из-за угла соседнего строения появился сам подполковник в сопровождении полкового комиссара Чурсина и начальника учебной части майора Рейзера.

Выслушав до конца доклад Абубакирова, подполковник закурил и направился к казарме. Юрку Васильева с крыльца словно волной смыло. Не дойдя шагов десять до вкопанной в землю бочки с двумя скамейками по сторонам, Лиеский остановился, молча уставившись на ничего не подозревавшего пса. Губы его сложились в насмешливую улыбочку, не сулившую ничего доброго. Он повернулся и, ни слова не говоря, посмотрел на нашего лейтенанта. Абубакиров слегка покраснел, но в остальном оставался таким же невозмутимым и спокойным. Мы замерли, ожидая страшной развязки.

И вдруг Юрка Васильев, прислонив к стене швабру, сделал три шага вперед и громко прокричал:

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться?

Начальник училища посмотрел на Юрку чуть удивленно, как-то странно крутнул головой и сказал:

— Обращайтесь.

Юрка строевым шагом приблизился к подполковнику и остановился от него чуточку ближе, чем полагалось по уставу:

— Это личный вопрос, товарищ подполковник. Если разрешите, я хотел бы один на один.

Мы не верили своим ушам. Даже Абубакиров, как я заметил, растерялся. Подполковник, казалось, зако-

лебался на какое-то мгновение, но тут же, метнув короткий взгляд на комиссара, согласился:

— Ну что же, отойдем в сторонку. Думаю, товарищи нас не осудят.

О состоявшемся разговоре мы узнали позднее от самого Юрки. Но тогда все были поражены тем, как они разговаривают, хотя, разумеется, не могли расслышать ни одного слова. Мы видели, что подполковник сначала нахмурился, а потом рассмеялся и положил руку Юрке на плечо. Немного погодя он взял нашего товарища под руку, и они стали не спеша расхаживать, как два закадычных приятеля. Со стороны могло показаться, будто подполковник держит его на поводке, на самом же деле мы прекрасно видели, что Юрка все дальше и дальше уводит начальника училища от казармы.

— Товарищ подполковник, — заговорил Юрка доверительным тоном, — вы прежде от зажигалки прикуривали, точно? А теперь вот спичками.

— Ну, — нетерпеливо посмотрел на него подполковник и даже чуточку отстранился.

— Вот я и решил, что у вас камушки кончились, а достать негде...

— Что же, наблюдательность делает тебе честь, — кивнул головой Лисский. — Скажем, это действительно так. И что же из этого следует?

— Понимаете, какая штука, мне отец из Москвы посылку прислал, а там как раз эти самые камушки...

— И много?

— Да штук с полсотни. Так что на любую половину можете рассчитывать.

Начальник училища не выдержал осады и рассмеялся:

— Любопытно... Но все равно спасибо. А теперь только один вопрос: почему ты решил делиться именно со мной, а не со своими товарищами? Надеюсь, ты не подхалим?

— Ну что вы, товарищ подполковник, меня тут все знают. Просто мы с вами земляки — ленинградцы. Я ведь до войны на Мойке жил, недалеко от дома Пушкина.

— Серьезно? — обрадовался подполковник. — Значит, поблизости от меня. Первым попадешь в Ленинград — Пушкину привет.

— Ну а насчет товарищей, так нам и половины этих

камушков за глаза хватит. Зажигалок-то в роте одна-две, и обчелся.

— Ты смотри, все логично, — рассмеялся начальник училища. — Молодец ты, что начальства не боишься, значит, и перед врагом не сдрейфишь. Ну что ж, земляк, тащи свои кремни, а в казарму к вам я идти передумал, как-нибудь в другой раз...

Пока они мирно беседовали, мы затолкали Антабку под крыльцо. Пес был спасен, а Юрка объявлен героем дня.

— Ну, как я провел самого подполковника? — спрашивал он, расхаживая перед нами.

Я не пытался умять Юркиных заслуг, но почему-то подумал, что начальник училища не так уж прост, как это показалось ребятам...

Многие из нас до сих пор не могут расстаться с гражданской привычкой разгуливать по казарме, засунув руки в карманы. Чаше всех замечания получает Гришка Сорокин. Наконец терпение старшины лопнуло, и, застукав его очередной раз за таким непристойным делом, он приказал дневальным наглухо зашить карманы Гришкиных брюк. Даже суровых ниток не пожалел. Дневальные постарались и зашили их крупными стежками через верх, да так крепко, что и зубами не отгрызешь. Желая отомстить и старшине и дневальным, Сорокин решил пойти поохмыряться возле столовой, хотя уже давно давал обещание прекратить этот любительский промысел. Вместе с ним за компанию поплелся и Заклепенко. Раз время личное, значит, он вправе распоряжаться им по собственному усмотрению.

Им повезло. Как раз в это время к хлеборезке подошла машина из пекарни.

— Подсобите? — вылезая из кабины, спросил старшина из ПФС, как сокращенно называли продфуражное снабжение.

Гришка согласился, напомнив, однако, что путь к сердцу солдата лежит через желудок. Старшина поклялся, что на ужин они получают по лишней порции. Сорокин тут же развил бурную деятельность. Он прыгнул в кузов, откинул брезент и начал с ловкостью эквилибриста метать буханки серого хлеба в окошко, откуда выглядывал обитый жестью лоток.

Минут за десять-пятнадцать они вдвоем перекидали в хлеборезку почти весь груз.

— А теперь слушай мою команду, — сказал Гришка. — Сигай вниз!

Заметив, что старшина направляется с накладными в столовую, он быстро огляделся по сторонам:

— Заклепа, не чешишь, заходи с правого борта!

Продолжая метать хлеб в окошко, он на взмахе руки каким-то неуловимым движением пульнул одну буханку назад, прямо в Витькины руки. От неожиданности тот растерялся, а Сорокин, соскочив с машины, быстро переломил хлеб пополам и протянул одну часть Витьке. Свою долю он прикрыл полой гимнастерки и, не оглядываясь, бегом припустил к казарме.

Витька пожал плечами, разломил оставленную ему половинку надвое и запихал в свои карманы. Ему-то их, слава богу, никто не зашивал. А потом локтями подтянул штаны.

Но Сорокину в этот день явно не везло: взбегая по ступенькам, споткнулся на правую ногу. «Не к добру!» — подумал он. И точно — на пороге казармы его перехватил Сашка Блинков. Слишком уж выдавала Гришку оттопыренная гимнастерка.

— А ну покажь, чего тащишь в казарму.

Глаза у Гришки Сорокина блудливо забегали по сторонам:

— Тебе-то какое дело? Чего бы ни ташил...

После долгого препирательства вмешиваются дневальные, и хлеб в конце концов оказывается на столике дежурного по роте.

— Правильно, однако, говорит лейтенант, что вы рабы пищеварительного тракта, — пренебрежительно бросает помкомвзвода.

— Чего кривишься, чего кривишься? Я заработал, ясно?

— Может, пойдем спросим? — предлагает Сашка.

— Еще чего, — возмущается Сорокин.

— Да ты спер его, паразит! Спер!

— Кто? Я? — У Гришки в притворном гневe раздуваются ноздри.

Юрка Васильев берет со стола злосчастную половину буханки, с каким-то странным видом вертит в руках. Вокруг собираются ребята.

— Это же хлеб, понимаешь? — с трудом выговаривает Юрка, и все мы видим, как бледнеют его щеки, всегда такие розовые, точно он только что пришел со свидания от любимой девушки.

— Сам вижу — не сало...

Я не могу понять, что происходит с Юркой. Губы у него дрожат, а широко раскрытые глаза, не мигая, смотрят на Гришку.

— У меня мать умерла в блокаде. От голода, понимаешь?

— Да опупели вы, что ли! — с обидой выкрикивает Сорокин. — При чем тут я?

— Здесь... здесь десять дневных норм. Десять норм, которые и сегодня получают дети и женщины в моем Ленинграде. — Голос у никогда не унывающего Юрки сейчас вибрирует на высоких нотах, и прозрачные светлые глаза наполняются слезами. — Дистрофия — ты слышал про такую болезнь, когда отекают руки и ноги, а кожа становится стеклянной? Когда от слабости и боли человек не может ступить и двух шагов. Когда-нибудь ты об этом услышишь. А про трупы, которые некому хоронить, потому что у людей сил не хватает?

Все мы видим, что Юрка уже на пределе, и молчим, подавленные этой сценой.

— Ладно, не накручивай, не заводи себя, — в наступившей тишине звучит голос Левки Белоусова. — Как-нибудь разберемся.

— Когда вы охмыряетесь в столовой, это одно, — говорит Сашка, — а когда тащите хлеб, это совсем другое. А теперь отвечай, где вторая половина буханки?

— Съел, — виновато понурившись, говорит Сорокин.

— Опять врешь. От хлебобрезки до казармы чуть больше ста метров. И почти всю дорогу ты бежал. Я видел. Не мог же ты сожрать полбуханки за тридцать секунд.

— Смог бы! На спор?

— Ясно, теперь не докажешь.

— Давай хлеб, — кивает он на стол, — и засекай время.

Предложение смешное, но почему-то сейчас никто не смеется.

— Кончай трепаться, — печальным басом говорит Витька Заклепенко, протискиваясь вперед и выкладывая на столик дежурного остальные две четвертушки. — Виноват, значит, виноват...

Никто, кроме меня, не заметил, как из класса вышел Абубакиров и остановился позади всех, наблюдая за происходящим...

Человеческая память — взрывоопасный материал. Ее не удержишь в состоянии покоя, если даже случайный повод вызовет детонацию. И никто не сможет сказать, куда разлетятся осколки.

Вот у столика дежурного среди прочих курсантов стоят двое — Витька Заклепенко и Юрка Васильев. И каждому из них суждено быть первым. Мы никогда не научимся предсказывать судьбу, но в нашей памяти события прошлого легко перемещаются во времени, нарушая естественную последовательность и очередность.

Витьку первым и единственным из тех, кого мы близко знали, отзовут прямо с фронта в Москву, чтобы вручить ему в Кремле орден Отечественной войны, и сам Михаил Иванович Калинин пожмет ему руку, а потом предложит сфотографироваться на память...

Юрка же будет первым из нашей роты, кто навсегда останется молодым. По воле случая, он, как и многие другие, попадет в пехоту.

...Разрыв между нашими окопами и линией обороны противника окажется большим, почти в километр. Но поступит приказ — взять вражеские укрепления.

После артподготовки, в которой примут участие «катуши», и вслед за тем, как передний край немцев добросовестно проутюжат горбатые Илы, стрелковый батальон пойдет в наступление.

Наши роты поднимутся в полной тишине, и все поверят, что огневые точки противника окончательно подавлены. Когда же до оборонительных сооружений останется меньше ста метров и Васильев поднимет над головой автомат, чтобы повести взвод в свою первую в жизни атаку, с флангов ударят два пулемета, две пульсирующие звезды. Юрка почувствует несильный толчок в левый бок и живот, а затем — легкую тошноту и тупую боль в пояснице.

«Что же это?» — возможно, подумает он, не понимая, отчего ноги сделались ватными и перестали повиноваться ему. Он еще увидит, как рядом с ним падают на траву товарищи, и вдруг земля побежит к его глазам, и, рухнув на нее, он удивится, что не ощутил собственного падения. И пробьет колокол. И остановятся стрелки на всех часах нашей планеты...

А в столовой нам дали лишний бачок каши, потому что старшина из ПФС ничего не знал и был верен своему слову. В хлеборезке же удивились до неприличия, когда мы отказались от одной из положенных нам бу-

ханок. Проходивший между столами Абубакиров задержался возле нас и покачал головой. Мы все, как по команде, перестали жевать и опустили глаза.

— Ешьте, ешьте, защитнички Отечества, — и он презрительно махнул рукой. — Одно слово: кастрюльная интеллигенция!

28 сентября. В районе Сталинграда наши войска вели тяжелые бои с численно превосходящими силами противника...

Из сводки Совинформбюро

5. ПРИСЯГА

Батальонный миномет вещь нехитрая — ствол, плита да двунога-лафет. Разобрал на три части — и шагом марш. Опорная плита самая неприятная часть миномета. Для переноски ее существует даже специальный заплечный выюк с ремнями. У нас в отделении плиту таскает Володька Брильянт, самый хилый и самый безропотный. Оправдание для себя мы нашли вполне убедительное: Володьке надо развиваться физически. Чем ему тяжелее сейчас, тем крепче и здоровее он будет впоследствии.

Не успели мы постигнуть материальную часть минометов от ротного до полкового, как на нас навалилась артстрелковая подготовка. Поначалу казалось, что науки этой нам не осилить вовек. Смещение, база, отход, угол альфа... Я всегда считал, что у меня гуманитарный склад мышления. Математикой никогда не увлекался, и что знал, то успел подзабыть. А тут посыпались формулы, таблицы. Особенно пугала почему-то тригонометрическая функция синуса.

Старший сержант Басалаев — богатырь, типичный Микула Селянинович, задержанный в училище с позапрошлого выпуска, пользовался у курсантов популярностью главным образом из-за того, что в одиночку таскал на спине плиту 120-миллиметрового полкового миномета от склада арснабжения до самой казармы. До войны Басалаев окончил три или четыре курса физмата в МГУ и говорить популярным языком не умел. Он сделал все, чтобы до конца запутать теорию стрельбы. Уверен, для того, чтобы объяснить, как нужно складывать два и два, Басалаев не преминул бы прибегнуть к

помощи высшей математики. И только когда он видел свое полное бессилие, начинал хрипеть басом:

— Ну поймите же: даны две угловые величины и две линейные... — Кроша мел, он рисовал на доске сложные схемы. — Надо запомнить пять простейших формул. Это же для детского сада!

В конце концов артстрелковую на время взял в свои руки лейтенант Абубакиров. И вскоре первые успехи проявили Сашка Блинков, Белоусов и Соломоник. Подозреваю, что Сашка тайком брал дополнительные уроки у Басалаева, чтобы не подорвать свой престиж помкомвзвода, Левка по натуре был слишком добросовестным, а у Соломоника успехи в математике, как мы считали, компенсировали врожденный недостаток — явно выраженное плоскостопие.

Однако понять основные принципы и даже запомнить округленные значения синуса для углов одной четвертой артиллерийского круга еще не значило научиться стрелять. Чем дальше мы продвигались, тем больше нового открывалось перед нами. От нас требовали не просто умения, а быстроты, точности, автоматизма, и с этим-то дело как раз продвигалось туго. Сорокин считал, что нам не хватает фосфора, все силы съедают штыковой бой и строевая муштра. Голубь уверял, что, если бы ему дали спокойно проспять сорок восемь часов подряд, он бы сразу все усвоил.

На политзанятиях, которые чаще всего проводит старший политрук Грачев, мы по косточкам разбираем текст военной присяги.

— Присяга — это клятва, — говорит Грачев, поблескивая круглыми очками. — Клятва на верность советскому народу и социалистической Родине. Она выражает готовность честно и добросовестно выполнять свой воинский долг. А что такое клятва? Это, как бы поточнее сказать, торжественное, священное уверение. Людей, нарушивших клятву, называют клятвопреступниками... Первого октября — запомните эту дату — вы выйдете на плац и перед строем своих подразделений примете присягу. И с этой минуты приобретете все права воина Красной Армии. И в первую очередь почетное право сражаться, а если надо, и умереть за Родину...

Но иногда на наши занятия приходит сам полковой комиссар Чурсин с боевым Красным знаменем, заслуженным еще в гражданскую, и тогда все планы занятий

летят к черту. Когда он садится, стул под ним жалобно скрипит.

Старый полковой комиссар был устремлен в свою далекую молодость. Те годы, понятно, казались ему неповторимыми и прекрасными. И в этом он был, несомненно, прав. Комиссар любил рассказывать о том, как их Пятая героическая брала Бугуруслан, а потом Уфу, гнала на восток полки колчаковцев.

Вспоминая о тех славных временах, он заметно возбуждался, и его тускловатые глаза обретали юношеский блеск.

— А вы когда-нибудь видели, как разворачиваются конные лавы? — спрашивал он, потрясая тяжелым кулаком. — Слышали, как гудит под копытами сухая земля? Ничего вы не видели. И ничего не слышали. Кони уходят, уходит кавалерия, как ушли в свое время парусные корабли. Что делать — неумолимый бег истории. Конечно же, куда бедняге коню против танка. А жаль! Теперь в полках все провоняло бензином... — Он тяжело вставал и тянулся к деревянной указке Грачева. — Вам, ребята, уже не держать клинок. А ведь как это здорово! В левой руке мундштучный повод, в правой — шашка. Струится, сверкает как молния. Глазам больно. И нацелена строго вверх, богу в задницу, как по отвесу. — И он вскидывал вверх руку с острой указкой. — И... руби! Вот так! С наклоном, чтоб по запарке уши коню не побрить...

Нас покоряет восторженность старого бойца, мы слушаем его внимательно, и нам мерещится грохот проносящихся пулеметных тачанок. Мы явственно ощущаем запах конских потников и папах из овчины.

— Я не против движения вперед, — говорит комиссар, со вздохом опускаясь на стул. — Я это к тому, что нельзя забывать прошлое, которое питает наши корни. Там, в прошлом, захоронены наши святыни. А без святынь человек жить не может. Тогда это не человек, а мертвый, холодный камень...

В перерывах мы выходим покурить возле вкопанной в землю бочки.

— Видать, старик был лихой рубака, — говорит Витька, — но для этой войны он устарел. Я думаю, ему под шестьдесят, а то и больше.

— Знатное было время, — вздыхает Юрка Васильев. — Отчаянное время. А вот как его почувствовать? Не понять, а именно почувствовать. Проникнуться

духом. Вот наши отцы прошли через революцию и гражданскую войну. Для них это самый важный кусок жизни. А мы? Ведь все, что было до нас, до нашего рождения, мы воспринимаем как? Не как реальность, а как историю. Для иного современника что Чапаев, что Денис Давыдов, все едино — героические персонажи истории...

Может быть, Юрка и прав. Но меня вдруг поражает: неужели же через двадцать пять лет на сегодняшний день, на моих друзей, с которыми мы сидим вот сейчас у этой железной бочки, те будущие молодые станут тоже смотреть не как на живых людей, а как на реликвии прошлого? Но ведь это просто смешно! Я гоню эту мысль. Думать об этом неприятно и обидно. Сегодня мы молоды, сильны, и я не могу представить, что когда-нибудь все будет по-иному...

Если перекур затягивается, я подхожу к плацу и смотрю в сторону санчасти. Вдруг вот сейчас откроется дверь и мелькнет белый халат? Мне очень хочется хоть издали увидеть Таню.

Иногда в редкое свободное время мы прогуливаемся до проходной, но зайти в санчасть без всякого предложения я не решаюсь. Нужен повод.

Когда у кого-нибудь из нас заводятся деньги, мы просим разрешения у дежурного по проходной добежать до угла, где одна и та же женщина вот уже полтора месяца изо дня в день продает печеную тыкву. В белом эмалированном тазике лежат, истекая густым сладким сиропом, шафранно-оранжевые кубики, с боков почерневшие от жара духовки. Печеная тыква по рублю за кусочек — наш традиционный деликатес. Я всегда беру на трояк — для себя, Сашки и Витьки Заклепенко. То же самое делает каждый из них. Таков железный закон дружбы.

В тот день, в час самоподготовки, мы с моим помкомвзвода Сашкой Блинковым вырвались на угол вдвоем. Таким образом, у нас получилось не по одному; а по целых два кубика тыквы. Женщина аккуратно завернула ее в промасленную бумагу, чтобы не вытекал сок.

Проходя по плацу, мы шумно обсуждали то, что услышали на сегодняшних занятиях. Весной этого года при обороне Севастополя прямым попаданием из 82-миллиметрового батальонного миномета был сбит низко пролетавший немецкий самолет. Мы, разумеется, восприняли это как шутку. Но Абубакиров на-

звал фамилию отличившегося — младший лейтенант Симонюк.

Мы с Сашкой чертили в воздухе воображаемые траектории полета мины, споря о вероятности такого попадания, и вдруг я увидел, что возле казармы собралась подозрительная толпа курсантов. Там все шумели, что-то доказывая друг другу. Среди прочих мы заметили старшину Пронженко и начальника медслужбы. Уж ни уколы ли нам собрались делать? Мы с Сашкой подошли к собравшимся.

Военврач второго ранга, пожилой, с лицом, покрытым склеротическими жилками, рубил ладонью воздух.

— Безнадзорное животное — источник всяческой заразы, — говорил он. — По этому поводу у нас есть специальные инструкции. Недопустимо, чтобы на территории воинской части бродили бездомные собаки. Я вынужден ее немедленно убрать.

— А кто сказал, что собака бездомная? — шагнул вперед Левка Белоусов. — Кто сказал? У нее есть и дом и хозяева.

— Это кто же, осмелюсь спросить?

— Хотя бы мы.

— Да вы сами себе не хозяева, — покраснел от возмущения военврач.

— Ее уже ку-упали два раза, — вставил Володька Брильянт. — Из шланга.

Антабка почему-то впервые не укрылся у себя под крыльцом, как поступал обычно при большом скоплении народа. Казалось, он понимал, что ребята, выступавшие в его защиту, могут из-за него нарваться на неприятности, и не хотел быть в стороне.

За то короткое время, что он прожил у нас, шерстка у пса заблестела, рана заметно поджила, но он все еще часто разглядывал култышку, подняв ее на уровень глаз, а потом долго и сосредоточенно лизал больное место. Когда к нему подходил кто-нибудь из постоянных опекунов, он улыбался, скаля зубы, и доверительно протягивал калеченную лапу, как бы говоря этим жестом: «Вот я весь, делай со мной что хочешь».

— А если она кого-нибудь покусает? — настаивал военврач. — Уколы делать? Сорок штук в живот? Да что там зря толковать, а ну, кто-нибудь, поймайте собаку!

— Что вы, что вы, — воздел руки Соломоник, — это

же добрейшей души собака, она ни разу не зарычала. Насколько я понимаю в медицине...

— Точнее, насколько вы не понимаете, — усмехнулся начальник медслужбы. — Я располагаю другими сведениями. Младший сержант из вашей же роты — фамилию запомнил — так прямо и доложил, что собака на него рычит.

— Товарищ военврач второго ранга, — решительно вмешался Юрка Васильев, — на того младшего сержанта рычит вся рота, так что же, всех нас в собачий ящик?

— Скажите лучше, что надо сделать? — добавил я. — Постричь, помыть, посадить на цепь? Мы все сделаем. Это же пес всего минометного батальона!

Заклепенко подошел вплотную к начальнику медслужбы и сказал баском с намеком на конфиденциальность:

— Его, этого пса, между прочим, сам начальник училища видел. И полковой комиссар тоже. Он им даже понравился чем-то. Можете спросить.

— Чего не хватало, пойду к начальнику училища выяснять собачьи вопросы, — мрачно проговорил военврач.

— У вас же, доктор, самая гуманная профессия, — сказал Соломоник. — Поймите, это же не простая собака. Это инвалид!

— А младший сержант жаловаться больше не будет, — пообещал Васильев.

— Ну смотрите, черт с вами, — махнул рукой начальник медслужбы. — Я ведь не живодер, в самом-то деле. Только пусть по расположению не шляется. — Военврач сделал несколько шагов, остановился и добавил: — И чтоб никаких жалоб. А то ведь я не посмотрю...

Когда он был уже далековато, а старшина, соблюдая нейтралитет, ушел в помещение, Брильянт сказал:

— Все. По-моему, надо бо-ойкот объявить этому гаду. Там в третьем взводе как хотят, пусть подчиняются по службе, но ра-азговаривать — ни в коем случае...

Последние два дня стояла пасмурная погода, но первого октября снова выглянуло солнце, расцветив все щедрыми красками осени.

По-моему, это был едва ли не единственный день за все время нашего обучения, когда полностью были отменены занятия. Накануне нас сводили в баню. С утра

мы чистили обмундирование, мазали рыбьим жиром ботинки, драили пуговицы на гимнастерках и подшивали свежие подворотнички.

После обеда на территорию училища стали подходить с оружием стрелковые батальоны, у своей казармы равняли шеренги наши соседи-пулеметчики.

Ким Ладейкин успел шепнуть мне:

— Если отпустят на седьмое, приходи к сестре, я там буду. По крайней мере, пообедаем по-людски.

— Так до праздников еще целый месяц. И потом мне одному несподручно. Нас тут трое, мы всегда вместе.

— Ладно, — махнул он рукой, — давайте втроем. Только запомни адрес: Дзержинского, восемнадцать...

А от наших казарм уже гремел жестью голос старшины Пронженко:

— Рота-а, становись!

С утра группа курсантов усердно махала метлами и наносила известью линии разметки. Уже занял свое место на левом фланге духовой оркестр. Четко отбивая шаг, выходили на общее построение батальоны. Посреди плаца начальник учебной части, маленький и сухощавый майор Рейзер, в щегольски заломленной серой кубанке, с синими кавалерийскими петлицами на воротнике парадной гимнастерки, при шашке и шпорах, руководил построением батальонных колонн в форме буквы П. Тут он был явно в своей стихии.

Командиры занимают свои места. Небольшая волнующая пауза, громкий шелест дыхания. Но вот майор выхватывает шашку из ножен и прижимает ее сверкающее лезвие к плечу.

— У-чи-ли-ще, сми-и-р-но! Р-равнение на середину! — ударение отчетливо слышится на последнем слоге.

Вытянув клинок перед собой и чуть склонив его острием книзу, майор Рейзер, высоко вскидывая ноги в блестящих хромовых сапогах, рубит строевым навстречу начальнику училища, который уже издали прикладывает пальцы к козырьку. Оркестр неожиданно взрывается встречным маршем и так же неожиданно умолкает, оборвав его на середине такта.

— Товарищ подполковник, — разносится в тишине удивительно молодой и сильный голос бывалого строевика, — личный состав вверенного вам училища построен для принятия воинской присяги...

— Для встречи справа под знамя, слушай, на кра-а-ул!

Нервно рассыпается барабанная дробь. Появляются знаменщик и два ассистента с винтовками на плечах. Они резко и одновременно отбрасывают правую руку назад от ременной пряжки. Тяжело колышется расчехленное красное знамя, обшитое золотой бахромой.

И вот уже мы по очереди выходим каждый перед строем своих взводов и читаем текст присяги. Слова ее звучат одновременно со всех концов плаца, и это напоминает многоголосое эхо в горной теснине. От переполняющих нас чувств становится тесно в груди:

— «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь...»

У Сашки Блинкова от волнения бледнеет кончик тонкого носа, а у Витьки Заклепенко пушок над верхней губой усыпан мелкими бисеринками пота. Боря Соломоник стоит в неестественном напряжении, словно на него надели гипсовый корсет. Его лепные ноздри вздрагивают, а в слегка выпуклых черных глазах сверкает по золотой искре — крошечному отражению усталого осеннего солнца.

Меня поражает отточенность и емкость заключенных в присяге слов. Читал я ее и прежде, но почему-то именно сейчас передо мной открывается весь ее глубинный смысл:

— «Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей Родины, — дрожит взволнованный голос Левы Белоусова. Его немигающие глаза устремлены в открытую папку с текстом. Он бледен больше обычного. — Я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижений полной победы над врагами...»

Он еще не знает, что через десять с половиной месяцев упадет у безвестных Ивановских выселок на Курской дуге, захлебнется собственной кровью, прошитый автоматной очередью в упор.

...Атакующие «тридцатьчетверки» с ходу проскочат линию вражеской обороны и устремятся на артиллерийские батареи. Наступающая за танками пехота ворвется в окопы. Приближаясь к каждому крутому излому траншеи, наши бойцы станут забрасывать его гранатами, чтобы не напороться на затаившегося врага. Но грана-

ты быстро кончатся, а разгоряченные боем ребята будут по-прежнему рваться вперед.

Перепрыгивая через убитых, Левка с пистолетом в руке бросится вдоль прохода. За очередным поворотом траншея упрется в грубо сколоченную дверь блиндажа. Не раздумывая, он ударит по ней ногой, и она распадется со скрипом, дохнув на него темной сыростью подземелья. И тут Левка увидит вспышку, похожую на искрящийся от замыкания провод, и, наверное, ощутит удар. Скорее всего он ни о чем не успеет подумать тогда, потому что миг этот окажется слишком коротким...

А пока:

— К торжественному маршу... Поротно, на одного линейного дистанции... Первый взвод прямо, остальные напра-а-во! Шаго-ом марш!

Левая нога под барабан, носок оттянут. Стараясь не отбрасывать ступни, вспотел Соломоник. Мы даже чуточку гложем от веселого звона медных тарелок и пения труб духового оркестра. Пожилой сержант, как кольцами удава, обернутый трубой своего геликона, сильно раздувает красные щеки. Звучит знакомый марш Чернецкого. В паузах музыканты поспешно облизывают губы. А в ушах у меня все еще бьется собственный голос и слышатся слова, от которых холодок пробегает между лопатками:

— «Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся...»

1 октября. Получено сообщение о массовом истреблении советских военнопленных и мирных советских граждан, заключенных в концентрационном лагере близ Катовиц...

Из сводки Совинформбюро

6. ОКОПЫ ПОЛНОГО ПРОФИЛЯ

Хотя после присяги Сашке и привесили по одному треугольничку на его курсантские петлицы, а это означало, что нашему помкомвзвода присвоили звание младшего сержанта, командовать нами ему приходится все реже и реже. Теперь каждый из нас делает это по очереди. Все мы калифы на час, точнее на день. От нас

требуют не только правильно подавать команды, но и развивать зычный командный голос.

Правда, и нам особенно негде разгуляться, так как строевых занятий поубавилось, зато чаще стали ходить на стрельбище, уделять больше внимания тактике и артиллерийской подготовке.

Во время переходов, помимо карабина и всего прочего, я ношу на плече довольно тяжелый ствол миномета, похожий издали на самоварную трубу без колена. Соседи из пулеметного батальона острят по этому поводу: «Эй, самоварщики, чай скоро пить будем?» Но я молчу и таскаю. А легонькую коробочку с прицелом, или, как у нас говорят, угломером-квадрантом, носит на ремешке Витька. Загладить несправедливость он пытается тем, что щедро одаривает нас кусочками макухи, которые всегда находятся в его карманах.

Ясно, что щедрость эта за счет лошадок, но что делать, если ничего своего у Витьки нет. Обижаться на него вообще невозможно.

Когда мы имеем дело с минометами, нас обычно называют не отделением, а боевым расчетом. Это звучит по-артиллерийски. Пехота — это, конечно, здорово. Нам всеми силами внушают уважение к пехоте — царице полей. Общевоинской командир! Да ему все рода войск подчинены! Одно слово — царица, но мы-то знаем, что бог войны — артиллерия и наш козырь старше.

На длительных привалах карабины по несколько штук мы составляем в козлы. Чтобы пирамида не рассыпалась, на кончики штыков сверху надевается специальное колечко, сплетенное из тонкого шпагата. Мы все научились плести их особым способом, и каждый втайне гордится своим мастерством, носит колечки в нагрудном кармане гимнастерки и дорожит ими. Когда раздается команда «Оружие в козлы!», мы стараемся не спешить, все ждем, авось кто-нибудь самый нетерпеливый опередит остальных и произведение нашего искусства не пострадает от частого употребления.

Ночных тревог не убавилось. Вставать среди ночи так же тяжело, как и в первые недели, но у нас уже выработалось второе дыхание. Поднимая нас, старшина выкрикивает все ту же фразу, которая звучит слитно, как одно длинное слово:

— Подъемаголубдосиспыты!

Сейчас уже трудно поверить, что всего полтора года тому назад не было ни бомбежек, ни эвакуационных пунктов, ни

длинных очередей за хлебом, что жили мы с отцом в Калининe, в просторной и теплой комнате, а во время дождя надевали галоши и пользовались большим семейным зонтом, что в булочной на Урицкого продавали свободно горячий пеклеванный хлеб и сдобные булки, посыпанные маком.

Отец работал инженером на стройке, поднимал цеха нового завода. Когда он получил повестку из военкомата, тут же решил отправить меня в Джамбул к своей двоюродной сестре. Прошло, в сущности, так мало времени, а подробности лица его уже расплываются в моей памяти. Иногда я мучительно напрягаю свое воображение, пытаюсь зрительно нарисовать его сутуловатые плечи, высокий лоб с глубокими залысинами, спокойные глаза. Мы с ним по-настоящему дружили, и все свободное время он предпочитал проводить в моем обществе. Мать умерла, когда я был совсем маленьким, и отец у меня был один за двоих.

В тот день, когда началась война, мы заканчивали модель парусника. Это была маленькая копия легендарного двадцатипушечного брига «Меркурий». Я вкладывал в работу всю душу, а отец к тому же еще и большое умение. У него, как говорили знакомые, были золотые руки.

Прощаясь со мной у запасных путей, где стоял эшелон, отец положил мне на плечо тяжелую руку и, глядя куда-то поверх моей головы, сказал:

— Квартиру запри, а ключ оставь соседям. У них старики, они никуда не поедут. — Потом посмотрел мне прямо в глаза, улыбнулся и добавил: — Ты, Женька, уже совсем взрослый. Всегда оставайся настоящим мужчиной, чтобы мне не пришлось за тебя краснеть. Ну, будь...

Мы обнялись и поцеловались под лязг буферов тронувшегося состава.

Я до сих пор не могу примириться с мыслью, что отца уже нет. Иногда мне мерещится, будто он раненым попал в плен к фашистам. Ведь тогда наши отступали, и такое могло произойти запросто. Иногда я представляю, что он, изувеченный и недвижимый, лежит в каком-нибудь тыловом госпитале и не может дать о себе знать.

Тот дом в городе на Волге, где мы жили до войны, выходил окнами на бульвар, обсаженный громадными серебристыми тополями. Когда деревья отцветали, на

улице бушевала белая метель из тополиного пуха. Он скапливался сугробами возле тротуаров, залетал в открытые форточки и садился на ресницы моих юных сверстниц.

Этот дом сгорел прошлой зимой. Об этом я узнал от знакомых, оставшихся в городе во время короткой двухмесячной оккупации. Я представляю, как пылали сухие оконные переплеты в нашей комнате, как лопались от жары стекла, накрест заклеенные полосками марли, как трещали, коробясь, зелено-желтые обои на стенах. Вот огонь добрался до шкафа, взметнулся оранжевым языком вверх, и вспыхнули разом легкие мачты и паруса из тончайшего батиста. Горит в жарком костре войны маленькая модель военного брига — гордости российского флота, в которую отец и я вложили столько терпения, труда и любви...

Мы все рвемся на фронт. У каждого с немцами свои счеты. И у меня, и у Сашки, и у Соломоника, и у Юрки Васильева. Командиры из всех сил пытаются убедить нас в том, что после окончания училища мы сможем принести больше пользы. Говоря шахматным языком, нас переведут в разряд тяжелых фигур. Вполне возможно. Без этой мысли было бы труднее зубрить уставы и петь веселые песни в строю..

Еще утром старшина объявил, что завтра нас поведут на уколы против сыпного тифа. И тут кто-то распустил слух, будто колоть нам будут не противотифозную вакцину, а какую-то дрянь, обладающую коварным свойством подавлять мужское начало, укрощать бунт молодой крови. Пошли всякие толки и пересуды. Некоторые наотрез, даже под страхом гауптвахты отказывались от уколов. Командиры сначала подшучивали над нами, а потом забеспокоились всерьез.

— Это провокационные разговорчики, — кипятился на другой день командир роты. — Такое на руку только врагу. За распространение идиотских слухов будем предавать суду военного трибунала...

— Хорошо, — сказал Абубакиров, — я пойду с вами. Пусть меня колют первым. Из тех же самых ампул.

Тут уж крыть было нечем, и мы, все еще опасаясь в душе за свое светлое будущее, потопали к санчасти. Там возбуждающе пахло спиртом. Кололи нас по конвейерной системе. В процедурной, когда привели наш взвод, кроме сестричек, был еще старый военфельдшер в глухом белом халате с тесемками на спине, но зани-

мался он, судя по всему, только кипячением шприцев и иглол.

В нашей санчасти работают две вольнонаемные медсестры — Таня и Леночка. Именно так их все и зовут. О Тане ничего нового не скажешь. Леночку я видел только мельком, да и то два-три раза. Кто-то сказал о ней: «Как серна гор...» Может быть, так оно и есть. Во всяком случае, талию ее можно обхватить пальцами, как ствол батальонного миномета.

Моя задача заключалась в том, чтобы не попасть к Тане. Было немыслимо представить, как это я в ее присутствии начну спускать штаны и подставлять свой тощий зад.

Леночка делала уколы тут же, за другой ширмой, и я в числе первых без очереди ворвался к ней.

— Бойтесь, что не хватит? — спросила она.

— Если честно, боюсь, — признался я, поспешно расстегивая брючный ремень.

— Вы не то снимаете, — остановила меня Леночка, и кукольный носик ее наморщился от смеха. — Эти уколы мы делаем под лопатку. Нужно просто поднять рубашку, и все.

Вот это промашка! Знал бы такое, без всякого пошел бы к Тане. Я на секунду представил, как ее мягкие пальцы касаются моей спины, и от волнения у меня по коже пробежала приятная дрожь.

А рядом Пронженко с солдатской прямолинейностью рассказывал Тане о том, какие сомнения еще недавно терзали его роту.

— Цэ ж надо! — восклицал он. — Такэ и натошак нэ прыдумаешь.

Таня смеялась искренне, но, как мне показалось, слишком громко. Когда я выходил из-за ширмы, она как раз заговорила:

— Дурачки! Что ж мы, бабы, враги себе, что ли. Стали бы колоть своим кавалерам такую гадость.

Поскольку я в этот момент проходил через процедурную, то получилось, будто слова ее были обращены ко мне. Я даже малость покраснел и поспешил выскочить в коридор...

В начале октября погода стала заметно портиться. Резко похолодало. Как-то сразу поржавели листья кленов на улице Великого акына, зарядили частые, нудные дожди. Антабка целыми днями не вылезал из своего блиндажа,

Девятого утром нам объявили, что после завтрака минометный батальон в полном составе выходит на тактические учения, может, на день, а может, и на два. К счастью, дождя не было, хотя тучи все мчались по небу за высокий снежный хребет. Дул сырой, пронизывающий ветер. Сразу же после завтрака батальон с полной выкладкой и минометами вышел из ворот проходной. За городом колонна разделилась. Наша рота продолжала путь прямо, а две другие свернули влево на полевую дорогу, которая уходила в сторону гор. С этой минуты мы стали условными противниками.

В поле было холодно и голо.

Совершив марш-бросок в добрых двадцать километров, наша рота вышла к небольшим увалам, где, видимо, еще недавно косили люцерну. Невдалеке виднелось наполовину перепаханное поле со скирдами почерневшей от дождей соломы...

Командиры взводов намечают места, где будут находиться траншеи и минометные окопы с круговым обстрелом. Специального шанцевого инструмента, кроме кирок, у нас нет, а потому приходится довольствоваться малыми лопатками, которые во время учений мы таскаем на поясе в брезентовых чехлах.

Блинков и Заклепенко занимаются трассировкой окопов, а мы готовим и забиваем колышки.

— Где Белоусов? — слышится простуженный басок Витьки. — Давайте сюда Белоусова!

— Ну в чем дело? — подходит Левка, вытирая со лба рукавом пот.

— Ноги твои нужны. Для дела.

— Какие ноги? Ты что мелешь?

— Круг надо чертить для минометной площадки. Диаметр два с половиной метра. А где взять такой циркуль?

— Не маленький, шнурочком обойдешься, — беззлобно отмахивается Левка. На такие шпильки он не обращает внимания.

— Значит, так, — объявляет Сашка. — Площадку копаем на метр с гаком, а глубина боковых укрытий почти два метра. И чтобы ниши для боеприпасов...

— Два метра? — хватается за голову Володька Брильянт. — Это что, брат-атская могила?

— Скажи, однако, спасибо, что перекрытий делать не заставляют.

— Смешно, ка-акие перекрытия? — отвечает Володь-

ка. — Где тут взять ма-атериал в открытом поле? На-а километр ни одного деревца.

— Понадобилось бы — нашли, — говорю я. — На что же бойцу смекалка?

Но прежде чем браться за это дело, нам приказывают в два этапа отрыть стрелковые окопы — создать линию обороны. Сначала придется копать индивидуальные ячейки, чтоб враг в случае нападения не застал нас врасплох, а уже потом строить ход сообщения, который ломаной линией соединит ячейки между собой.

Начинать работу нам разрешают лишь после того, как на месте окопов будет аккуратнo срезан и сложен в сторонке весь дерн. Потом этим дерном нам придется выстелить отвал выброшенной в сторону противника земли, и тогда получится надежно замаскированный бруствер.

— Это сдохнешь — столько копать, — возмущается Гришка Сорокин.

— А ты с умом, — советует Витька. — Во всяком деле нужна высокая цель. Представь, что там, — и он тычет носком ботинка в землю, — зарыт ящик свиной тушенки.

— Все равно старшина отнимет, — безнадежно машет рукой Гришка.

— Волков бояться — в лес не ходить. Хватай лопату, и вперед!

Особенно трудно дается первый штык. Ноги скользят по сырой траве, грязь налипает на лопатку. А тут еще ветер, навывлет пробивающий наши шинелишки, и нет пока укрытия, где можно было бы от него спрятаться. Наши ладони за последнее время стали твердыми, как копыто, но и они не выдерживают такого издевательства. Ближе к вечеру на них появляются водянки. Мы работаем без обеда и почти без перекуров. Несмотря на холод, лоб и спина мокрые от пота. А Мартынов все похаживает от наших позиций до ячеек выдвинутых вперед секретов и поторапливает:

— Давай-давай, сейчас артиллерия противника лупанет — все перепашет. Кухню подвезут, тогда и отдохнете.

А мы уже валимся с ног от усталости. Покончив со стрелковыми ячейками и ходом сообщения, все отделения наваливаются на минометные окопы. Короче говоря, сегодня мы отдуваемся и за пехоту и за артиллерию.

Абубакиров, скинув шинель, тоже берется за лопату.

Мы совсем недавно узнали, что он не кадровый командир, а призванный из запаса. До войны работал геологом на Урале. Копают лейтенант, как все, что он делает, энергично, в то же время экономно расходуя силы. И все-таки нудное занятие — рыть землю. Я бы, наверное, возненавидел эту лопату, если бы не лейтенант. Он постоянно внушает нам почтение к этому инструменту. Соломоник как-то пожаловался:

— Чертова лопата, на учениях мозоли набивает, в походе по заднице бьет...

— Это точно, — согласился Абубакиров. — Так ведь и мать родная, когда надо — побьет, когда надо — пожалеет. О лопатке стихи нужно слагать. Может случиться, что в бою вы лишитесь вещмешка, скатки, фляги с водой, противогаза, но упаси бог потерять лопату. Ее надо беречь пуще глаза, как автомат или винтовку. В умелых руках это и щит ваш, и оружие.

Как пользоваться лопаткой в штыковом бою, нам показывали. Но все эти окопы полного профиля... Копаешь, копаешь, а завтра изменится обстановка, и бросай все, переходи на новое место. Весь труд к чертям собачьим...

Я вспомню об этих рассуждениях через семь месяцев, тринадцатого мая, когда придется лежать на дне еще не до конца отрытого ровика северо-восточнее Новороссийска, прикрывая голову вот такой же точно лопаткой, а немецкие «стодесятки» — двухмоторные «мессеры» будут методично, один за другим заходить по кругу на бомбометание. Они засекут мой пушечный взвод и обрушатся на него всей своей огневой мощью. Я буду слышать свист ветра в плоскостях самолета и завывание сирен, вмонтированных для устрашения в стабилизаторы бомб.

Выглянув из-под этого железного щитка, я увижу, как черная капля оторвется от самолета и полетит прямо в меня. Это всегда кажется, что летит она в то самое место, откуда на нее смотришь.

И тогда я стану всем телом вжиматься в прохладную влажную глину, и ровик, к тому времени отрытый всего лишь на два штыка, покажется такой ненадежной защитой — ведь плечо мое будет на одном уровне с верхним обрезом бруствера.

Мне предстоит почувствовать, как сама земля бьется в предсмертных конвульсиях, увидеть фонтаны взметнувшейся глины и желтого ядовитого дыма, услышать сухой треск разрывов и шелест падающих на меня веток

и листьев, срезанных осколками. Я открою рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки, а неведомая сила оторвет меня от земли, подбросит над ровиком, и мокрый ком глины, словно кляп, застрянет у меня в глотке... И тогда, если бы я имел время задуматься, труд землекопа показался бы мне радостью...

...Уже начинало темнеть, а работа еще не была закончена. И ужина пока тоже не было. Мы только сейчас почувствовали, насколько проголодались. Даже усталость не могла притупить голода. Ведь не ели мы с самого утра, и, кроме воды, во рту у нас ничего не было. Двадцатикилометровый бросок, а потом окопы полного профиля...

Пришел старшина и вместо хлеба раздал нам патроны. По обойме холостых на брата. Да еще несколько взрывпакетов на отделение. Мы вышвыривали последние горсти земли и валились, как подстреленные, на дно укрытия. И тут пошел дождь. Без движения стал особенно донимать холод.

Через полчаса появился командир роты, как всегда свежий и подтянутый.

— Почему бруствер до сих пор не обложен дерном? — недовольно повернулся он к Абубакирову. — Ждете, пока совсем стемнеет?

— Пусть передохнут, поужинают, — ответил лейтенант. — Тут дел-то на четверть часа.

— Ужина не будет, — как-то особенно радостно объявил Мартынов. — Кухню разбомбило в пути. Ничего не поделаешь, братцы, война есть война.

Мы обалдело молчали. Даже роптать у нас не осталось сил.

Ночью с разрешения командира взвода мы по очереди небольшими группами бегали греться в расположенное неподалеку русское село.

Блинков, Заклепенко, Соломоник и я постучались в какой-то дом, где еще горел свет. Хозяйка не удивилась поздним гостям. Казалось, она специально нас поджидала. Здесь пахло домашним теплом и керосиновой лампой. На табуретке дремал старый кот, и слышно было, как в соседней комнате за перегородкой кто-то тяжело ворочался на скрипучей кровати.

Быстро растопив печку, женщина поставила на огонь котелок с картошкой. Мы все сгрудились возле огня. У нашего помкомвзвода был непривычно беспомощный вид. Он смешно вытягивал губы, будто собирался что-то

сказать или улыбнуться чему-то, но из этого ничего не получалось. У Соломоника под носом висела большая мутная капля, а Витька от внутренней дрожи передергивал плечами и рассматривал стертые до мяса ладони. Сердобольная хозяйка приложила к больному месту тряпочку, смоченную в подсолнечном масле, и помогла перевязать руки.

От тепла нас немного разморило.

— Однако черт знает что, — возмущается Сашка. — На Алтае не мерз, а тут...

— На юге, как это ни смешно, всегда мерзнут сильнее, — замечает Соломоник.

— При чем тут север или юг? Одежка, однако, другая — пимы, полушубок. Рукавицы мехом наружу шьют, чтоб морду прикрывать от ветра. В нашем селе Вострове зима во-о! — И Сашка сжимает оба кулака. — Лютая! Речка там протекает Кабаниха. Давно когда-то мужики запруду на ней сделали — стало озеро. На правобережной гриве, возле ленточного бора живут у нас коренные сибиряки — суровые, замкнутые люди. А на левой, степной, стороне — переселенцы с Украины, добродушные и общительные. Так вот на том самом озере устраивались зимой кулачные бои. Потеха! Лед на озере аж зеленцой отдает. Толщиной, однако, больше метра...

— А сам-то ты из каких будешь? — смеется Витька. — Из левых или из правых?

— Мы, однако, вятского корня. Из кержаков. До сих пор помню, как мать в детстве учила меня креститься двумя перстами.

— А зря ты те валенки не захватил с собой, — жалеет Витька. — Сгодились бы.

— А много ли ты с собой прихватил, когда тикал из своего Днепропетровска?

— Я-то? — смеется Витька. — Чемодан и коньки с ботинками. Хорошие были конечки.

— А ты? — поворачивается ко мне Сашка.

— Патефон, — отвечаю я. — Старый патефон, четыре пластинки и сто штук иголок.

Соломоник молчит, слушает, и глаза у него грустные-грустные.

Когда через полчаса картошка сварилась, есть мы ее не стали. Поблагодарили хозяйку, рассовали горячие картофелины по карманам и потащились назад.

Потом натаскали себе немного соломы в укрытие и,

зарывшись в нее, проспали до четырех утра, когда наконец пришла кухня. Нам отвалили двойную порцию плова, и миски были такие горячие, что мы с трудом могли держать их в руках. Мне кажется, ни до этого, ни после я не ел ничего вкуснее.

На рассвете вторая и третья роты пошли на нас в наступление. Пока они перебежали, мы не сделали ни одного выстрела. И только когда «противник» поднялся в рост с винтовками наперевес стал приближаться к окопам для последнего рывка, мы открыли частый огонь.

Я думаю, ребята немного растерялись, увидев направленные на них карабины и услышав выстрелы. На срезах стволов вспыхивало желтое пламя. Многие инстинктивно пригнулись. И тут полетели взрывпакеты, выполнявшие роль ручных гранат. Мы еще не успели расстрелять все патроны, а Мартынов уже поднял нас в контратаку.

Мощное «ура» прокатилось над полем. Наверное, не одна старушка перекрестилась, услышав в столь ранний час наш боевой клич.

Лейтенант с пистолетом в руке бежал в цепи своего взвода. Но наш боевой порыв пропал впустую. Так бывает с человеком, когда он размахнется, ударит, а кулак провалится в пустоту. Нам не дали сойтись с «противником» вплотную. Оставалось каких-нибудь пятнадцать-двадцать метров, и тут с двух сторон одновременно послышались команды взводных командиров: «Отставить!», «Прекратить атаку!», а трубач, взобравшись на скирду соломы, уже трубил отбой.

Потом мы сидели, свесив ноги в окопы, и командир батальона делал подробный разбор проведенных тактических учений, хвалил действия как одной, так и другой стороны. Под конец он уступил место старшему политруку Грачеву.

— Товарищи курсанты, — начал он и прокашлялся, — вчера было опубликовано важное постановление партии и правительства об отмене института военных комиссаров...

Сдержанный шепот прошел по окопам.

— Наши командиры, многие из которых коммунисты, за четверть века существования Советской власти достигли высокой политической сознательности и профессиональной зрелости. Опыт шестнадцати месяцев Великой Отечественной войны показал, насколько важным условием для успешного руководства боем и оператив-

ного принятия решений оказывается личная ответственность командира, его единоначалие. С этого дня, товарищи, политруки и комиссары становятся заместителями по политической части командиров рот, батальонов, полков и дивизий Красной Армии... — Он помолчал некоторое время и, сняв очки, протер их чистым носовым платком. — Вопросов нет?

Вопросов не было...

10 октября. На Западном фронте происходила артиллерийская перестрелка и поиски разведчиков...

Из сводки Совинформбюро

7. ГОРНЫЙ ОРЕЛ

В последнее время Сашка повадился в санчасть. В каждом отдельном случае объяснение выглядит достаточно убедительным. То палец порезал — надо перевязать, то голова разболелась — пошел попросить порошок, то еще что-нибудь. Но истинную причину я, кажется, разгадал: Сашка полюбил мятные капли. Достаточно сказать, что тебя тошнит, и пожалуйста — пятнадцать капель в рюмочку. Будто конфетку мятную пососал.

А может быть, Сашка ходит туда из-за Леночки, и мятные капли тут ни при чем? Мало вероятно. Хотя кто поручится, что это не так?

Леночка маленькая и опасно хрупкая. У нее громадные светлые глаза с длинными, как у спящей куклы, ресницами. Кукольный носик, кукольный фарфоровый подбородок.

На расспросы Сашка не отвечает, отделяется шуточками. Его глаза цвета чистейшего денатурата смотрят невинно, но тонкие ноздри раздуваются насмешливо и даже чуточку плотоядно.

Впрочем, по Леночке сохнут многие, в том числе Витька Заклепенко. И наш помкомвзвода не может об этом не знать. Витька уже дважды встречался с нею в свободный час между чисткой оружия и вечерней поверкой. Кроме того, всему батальону известно, что к ней похаживает командир взвода из второй роты младший лейтенант Зеленский, человек решительный и энергичный. В последний раз он даже застукал Витьку с Ле-

ночкой в темном тамбуре санчасти и так посмотрел на моего друга, что тот не знал, куда деваться.

Но лично мне до нее нет никакого дела. Она ни с какой стороны не тревожит моего воображения. Я все чаще думаю о Тане, и мне даже немного обидно за весь этот ажиотаж вокруг Леночки. На мой взгляд, Таня заслуживает внимания гораздо больше, хотя она и старше меня лет на десять. Когда я встречаюсь с нею, то чувствую, как у меня горячей кровью наливаются уши и сердце начинает работать вразнос.

Однако предаваться мечтам у нас не оставалось времени. И даже сны мы видели редко.

Весь ноябрь простояла сухая и теплая погода. В скверах и на улицах жгли сметенные в кучи тополиные листья, и горьковатый белесый дым разносило по городу. В конце месяца нам объявили, что все училище на несколько дней выедет в предгорья на учения по отработке нового БУПа — боевого устава пехоты, который приказом наркома обороны был только что введен в действие.

Пятидесятикилометровый переход занял у нас полный день от рассвета до темноты. Однако задача наша была облегчена тем, что минометы, противогазы и вещмешки были отправлены вперед на повозках. К тому же нас не отвлекали бесконечными «вводными». Место, куда мы направлялись, находилось невдалеке от селения, носившего романтическое название Горный Орел. Тут ощущалось близкое дыхание снежных гор. Их зазубренные вершины вставали сплошной стеной.

Мы знали, что такое тактические учения, и готовились к худшему. Тем приятнее все были поражены, когда увидели у лесной полосы целый палаточный городок с расчищенными дорожками и площадкой для общих построений. Я не задавался вопросами, кто и когда возвел этот чудо-город. Наскоро поев и получив разрешение на отдых, мы разошлись по отведенным палаткам, повалились в свежую солому и уснули мертвецким сном.

Палатки были настолько большими, что в каждой из них свободно размещался взвод. Для комсостава стояли палатки поменьше. Самая просторная была выделена под штаб. Днем, когда становилось тепло, стенку ее с одной стороны поднимали, и тогда можно было увидеть огромный дощатый стол с разложенными картами и склоненных над ними штабных командиров.

Наш палаточный лагерь окружен полями еще не

убранной кукурузы с пожухлыми, покоробившимися листьями. На ветру они издают бумажный шелест. Видимо, у колхозников до этих полей не доходят руки. Кто остался в колхозах — одни старики да старухи.

На следующее утро нас повели в овраг, где было оборудовано стрельбище. Там на деле нас познакомили с противотанковыми ружьями. В ожидании своей очереди мы валялись на ржавой траве, лениво перебрасываясь словами.

Рассветные часы в лагере великолепны. Утренняя свежесть по-особому оттачивает чувства и мысли. Острее воспринимаешь пряные запахи увядающих трав и опавшей листвы. Косые лучи раннего солнца блестят в тончайшей паутине, и стоят, словно из кованаго серебра, стебли кукурузы, облитые холодной росой...

— Сейчас бы ото недельку в санчасти пофилонить, — мечтательно вздыхает здоровяк Радченко, и его могучая челюсть еще больше выдвигается вперед.

— И чтоб завтрак в постель, — поддерживает его Сорокин. — Котелок каши с тушенкой и луком...

— Ну и вкус, — баском посмеивается Витька Зацепенко. — Кашу ты и в столовой полопаешь. А тут надо бы что-нибудь такое, особенное. Например, свиные сосиски с тушеной капустой и горчишкой. Пойдет? Заливное из судака с хреном. А потом к чаю можно поджаренный хлебец, чтоб масло на нем таяло, и несколько ломтиков чайной колбасы.

— Ото еще важно, кто подаст, — рассуждает Радченко. — Если бы та сестричка...

— Леночка? — смеется Сорокин.

— Не, она не в моем вкусе. Ота, — он хлопает себя по бедрам и пошире разводит ладони, — ряба! Бэрэш у руки — маешь вещь.

Сорокин весело хихикает. Я чувствую, что мне в лицо направили пламя паяльной лампы.

— Ты о ком говоришь? Кто рябая? — тихо произношу я, приподнимаясь на локте. Рука моя дрожит, и странный холодок сползает вниз от затылка. Мне даже кажется, что я слепну от ярости.

— Хлопци, чи вин сказывся? — пожимает плечами Радченко.

Я поднялся и подошел к нему:

— Ты, морда, бери свои слова обратно, иначе я перегрызу тебе глотку.

— Кончай, — успокаивает меня Витька и, не вставая с земли, пытается поймать за ногу.

— Замовкни, Абросимов, — угрожающе приподнимается Радченко. — Я тэбэ ось так, одним пальцем пэрэшибу, як суху макарону.

Теперь мы стоим рядом, напружинившись и стиснув кулаки. Я пытаюсь сглотнуть слюну, но гнев спазмой сдавил мне горло. И я, почти не размахиваясь, с поворотом корпуса бью его в челюсть.

Но он только слегка покачнулся, пытаюсь увернуться от удара. И в ту же секунду перед глазами у меня лопнула желтая ракета. Я почувствовал, как неведомая сила отрывает меня от земли и отбрасывает назад...

Я упал на спину, ударившись затылком. Левая скула занемела, точно после укола в зубоврачебном кресле.

— Вперед! — крикнул басом Витька, одновременно схватив моего противника за толстую лодыжку.

Радченко послушно метнулся ко мне, но тут же рухнул на траву, как стреноженный конь.

— Лежачих не бьют, — предупреждает Витька и наконец поднимается сам.

Мы вскакиваем почти одновременно. Я чувствую, как окончательно теряю над собой контроль, и все же соображаю, что вопрос «кто кого» решают сейчас доли секунды. И тогда, сделав обманное движение, я бью его ногой в пах, как нас учили на занятиях по рукопашному бою... И вдруг богатырь Радченко обмякает весь, словно спущенная камера, хватается за низ живота и начинает складываться вдвое, подставляя мне свою смуглую шею.

Во мне все дрожит, но, несмотря на искушение, я продолжаю стоять неподвижно, а он, тяжело опустившись на колени, все кланяется, все отбивает земные поклоны...

В это время, неведь откуда, появляется командир взвода:

— Что тут происходит?

Во рту у меня пересохло. Я только пожимаю плечами.

— Курсант Радченко, что с вами? — наклоняется к нему Абубакиров. — Вас кто-нибудь ударил?

Мой противник садится на траву, трясет головой и вытирает со лба пот.

— Аппендицит проклятый, товарищ лейтенант, — с трудом выговаривает он. — Второй приступ...

Я искренне считал, что теперь мы с Радченко останемся врагами на всю жизнь, но уже к обеду ребята нас помирили. Если что и было у нас с ним общего, так это отходчивые характеры. Отлежался полчаса в палатке, и все как рукой сняло. По поводу примирения даже Сорокин расщедрился, угостил нас совершенно новым блюдом собственного изобретения.

Казалось бы, какую пользу можно извлечь из обычной кукурузы, сухой и перестоявшейся? Поначалу пробовали грызть. Было ощущение, будто на зуб попала мелкая речная галька. Но Гришка и для кукурузы нашел достойное применение. Он пек ее в золе. Получалось что-то невероятное! Она становилась хрупкой, иногда лопалась, разворачиваясь белым цветком, а главное, приобретала ни с чем не сравнимый вкус.

Здесь, в лагере, мы неожиданно обрели гораздо большую свободу, чем в училище. Нас не гоняли, как обычно. Преимущественно занимались топографией в поле и новым уставом. Тут не было ни окованных железом ворот, ни проходной, ни даже глинобитного дувала. Так, неширокая лесополоса, засаженная карагачом и желтой акацией. Границы лагеря носили чисто условный характер. Но, кроме всего, такое скопление людей, одетых в одинаковую форму, приводило к некоторой неразберихе и бесконтрольности.

На третий день произошло неожиданное событие. Было объявлено торжественное построение, на котором нам сообщили потрясающую новость: вчера, двадцать третьего ноября, в 16.00 наши войска завершили операцию по окружению немецких войск в районе Сталинграда.

Мы ждали этого часа, надеялись, и все же пробил он неожиданно. Так неужели же началось? Или будет как в сорок первом, после победы под Москвой? Новые неудачи, новые отступления? Но сердце подсказывало: нет, не то время, теперь все началось всерьез.

«Это есть наш последний и решительный бой», — пели мы в тысячу голосов, и полные решимости слова рождали в нас уверенность и ощущение собственной силы.

Весь следующий день мы ходили возбужденные, обсуждая последние сводки Информбюро. По всему было видно, что великая битва на Волге близится к завершению. Тогда, разумеется, никто не знал, что бои за Сталинград продлятся еще целых два месяца и судьбы

многих из нас окажутся связанными с судьбой этого города...

Сашка Блинков перед самым выходом в Горный Орел получил из Алма-Аты небольшой перевод и теперь тяготился неожиданно привалившим богатством. Под каким-то предлогом отпросившись у Абубакирова в село, он сумел выторговать бутылку самогона. Мой мудрый помкомвзвода справедливо рассудил, что победу по русскому обычаю надо обмыть. Понятно, в первую очередь он позвал меня и Витьку. По дороге мы встретили Сорокина. Его нос был выпачкан сажей, а от шинели пахло дымом костра — наверное, опять пек кукурузу в золе...

— Давай с нами, не прогадаешь, — пригласил его Сашка.

— Всегда готов! — обрадованно крикнул Сорокин, еще не зная, в чем дело. У него было особое чутье на всякую поживу.

— Тогда вперед! — скомандовал Витька, врезаясь грудью в мелкий кустарник, разросшийся посреди лесополосы.

Мы забрались в двухметровые заросли кукурузы, вытоптали там небольшую площадку и приступили к делу. Сашка вытащил из противогазной сумки бутылку с мутноватой жидкостью. Он выдернул зубами кукурузную кочерыжку, которой было заткнуто горлышко, и разлил самогонку в колпачки от иранских фляг, которые с некоторых пор мы всегда носили на поясе во время длительных походов.

— А тебя не надули? — спросил Витька. — Не разведенный?

— На, смотри, — обиделся Сашка. Он тут же чиркнул спичкой, и над колпачком задрожало призрачно-голубое пламя.

— Туши! — забеспокоился Сорокин. — Выгорает же...

Он замолчал на полуслове, даже забыл прикрыть рот. Только тут за своей спиной я услышал сухой шелест кукурузных листьев и обернулся. В трех шагах от меня, заложив один палец за портупею и похлопывая по сапогу прутиком, стоял начальник училища подполковник Лисский. Он молчал, но в глазах его мы увидели нечто такое, от чего нас стала пробирать дрожь. Я заметил, как под скулами подполковника начинают перекатываться желваки. Он смотрел так, словно не мог решить, с какой стороны начинать нас есть.

Мысль работала лихорадочно, пытаюсь подсказать единственный выход. У Гришки Сорокина дрожали руки, и он начал расплескивать самогон. Мы все стояли, вытянувшись по струнке, но тут Витька не выдержал, взял коллачок из его рук и поставил на землю. Гришка силится что-то сказать, но зубы его клацали и слова застревали в горле, как непрожеванная галушка.

Первым пришел в себя наш помкомвзвода. Надо думать, он больше других сознавал свою ответственность. Сашка расслабился, перенес тяжесть на левую ногу, как бы становясь по стойке «вольно».

— Товарищ подполковник, просим к нашему шалашу, — сказал он естественно, непринужденно и даже слегка улыбнулся при этом.

Начальник училища не вскипел от гнева, не взорвался, но Сашку явно не понял и тона его принимать не захотел. Он оставался все таким же неприступным, отчужденным и грозным.

— По какому поводу пьянка? — спросил подполковник и отчего-то посмотрел на Сорокина. Голос его прозвучал холодно и бесстрастно, как голос робота в кинофильме «Вратарь».

— Я, я, — начал заикаться Гришка, — я сюда случайно попал. Вот честное благородное! Уже по пути. Они подтвердят. Правда, ребята?

— Ты предатель и трус, — все еще не повышая голоса, проговорил подполковник, и только шея его заметно покраснела. — Ступай к командиру роты и доложи, что получил от меня пять суток строгого ареста. С отбытием на гауптвахте по возвращении в училище.

С треском ломая кукурузные стебли и неловко размахивая руками, Сорокин кинулся бежать, словно за ним гнались с палкой.

— Разгильдяй с Покровки! — крикнул ему вслед начальник училища. — Ишь, крыльями размахался — горный орел! — Потом он посмотрел на меня: — Вы тут, надеюсь, не случайно?

— Не случайно, товарищ подполковник, — ответил я.

— Так по какому же поводу? — повторил он, кивнув на бутылку.

— Решили отметить победу войск Донского и Сталинградского фронтов, — сказал я.

— Это верно? — повернулся он к Блинкову.

— Так точно, товарищ подполковник, — козырнул Сашка с наивной улыбкой школьника.

— Чья инициатива?

— Моя, товарищ подполковник, — четко ответил наш помкомвзвода. — Разрешите пригласить? Это ж, однако, не пьянка — флакончик на четверых. Фронтная норма!

— Пожалуй, — усмехнулся подполковник, и у глаз его появились морщинки.

— Только ведь это не водка, — на правах гостеприимного хозяина стал оправдываться Витька. — Коньяк три буряка.

— Говорят, один пил политуру, другой французский коньяк, а в результате от обоих сивухой пахло. — Подполковник снял фуражку, повесил ее на обломанный стебель и протянул руку. — Лейте! Выпью из уважения к компании и по достойному поводу. Пить просто так на войне последнее дело. Но по великим дням или ради сохранения здоровья — это другое дело. Думаю, из вас получатся командиры. Не потому, что выпивку за-теяли, а потому, что труса не праздновали...

На следующий день нас послали на ломку кукурузы. Бывший комиссар, а нынешний замполит Чурсин сказал:

— Для колхозников это задача, для вас одно развлечение. Что лишний раз в атаку сходить. Надо помочь кормильцам.

Замполит оказался прав — кукурузу мы собрали в бурты за полдня, а после обеда вышли на учения. Было выставлено походное охранение по всем правилам. По очереди взводом командовать досталось мне, а Блинков занял в строю мое обычное место. Это меня ужасно веселило, и я с удовольствием, подражая старшине, покрикивал:

— А ну, пидтянысь! Младший сержант Блинков, шире шаг и нэ тягнуть ногу. В строю ходить разучились!

Два стрелковых батальона с приданной пулеметной ротой и двумя минометными направились к исходному рубежу наступления. Тут мы обнаружили старые окопы, стрытые, по всей вероятности, курсантами прежнего поколения, которые теперь давно уже по-настоящему воевали на фронте. Стенки ходов сообщения были обшиты горбылем, и поэтому время их пощадило — земля нигде не осыпалась.

Разгоряченные ходьбой, мы и не заметили, как сильно похолодало к вечеру. Небо затянули тяжелые литые тучи. Нас накормили ужином, а потом подняли и дали команду поротно двигаться в район сосредоточения.

Вперед были высланы разведка и головной отряд походного охранения. Откровенно говоря, жаль было на ночь глядя оставлять такие уютные окопы. Наш минометный взвод попал под начало командира стрелковой роты, который, как нам показалось, слишком небрежно указал наше место в боевых порядках и поставил огневые задачи.

До наступления темноты мы шли по оврагам и ложинам, так как местность вокруг просматривалась на многие километры. Глухая ночь застала нас на продуваемом всеми ветрами свекловичном поле. Именно здесь нам приказали оставаться до рассвета. С неба сеяло что-то непонятное: то ли мелкий дождь, то ли снежная крупка.

Витька где-то на ощупь надергал охапку сухой травы, на нее мы с Сашкой расстелили мою шинель, а его и Витькину оставили, чтобы укрыться. Так и уснули втроем, тесно прижавшись друг к другу.

На своем коротком веку мы успели повидать всякие шинели. Конечно же, двубортные, слегка приталенные, цвета маренго, которые носили артиллерийские командиры, проходили у нас вне конкурса. Очень красиво смотрелись английские из тонкого сукна горчичного цвета и песочные иранские, что часто выдавались комсоставу Среднеазиатского военного округа. На грубые красноармейские мы смотрели в ту пору без должного интереса. О наших же байковых вообще не стоило говорить, потому что и шинелями-то их назвать было трудно. Но, только попав на фронт, мы поняли, что красноармейская шинель из грубого колючего сукна не имела себе равных. Она была и достаточно теплой, и не промокала в дождь. Стоило отстегнуть хлястик, и за счет глубоких складок на спине ее можно было растянуть, как гармошку. Командирская шинель — принадлежность одиночки, а красноармейская всем своим покроем рассчитана на воинскую солидарность, потому что под ней при случае может согреться не один, а по крайней мере три человека.

Если не принимать во внимание качество материи, этими же свойствами обладали и наши шинелишки. Пусть не под одной, а под двумя мы чувствовали себя совсем неплохо.

Сашка не только ест, но и спит, будто выполняет строгое предписание. Лег, подтянул коленки, придавил ухом пятерню и выключился. Витька во сне более бес-

покоен: вздрагивает, пытается ворочаться или вдруг начинает тихонько причмокивать языком и губами, как молочный щенок. Наверняка в этот момент ему снится что-то вкусное. В этих случаях тревожить его я не осмеливаюсь...

Просыпаюсь от непонятной тяжести, навалившейся на меня сверху, и странной парниковой духоты. Ощущение тепла и сырости, как в старой котельной с прохудившимися трубами. Чувствую, что дышать становится трудно.

Я пытаюсь подняться, чтобы стряхнуть с себя груз, но это удается лишь со второй попытки...

Снаружи было уже светло, но холодно. Я сел и огляделся. То, что представилось мне, трудно описать словами. Передо мной расстиралась белая равнина со множеством небольших холмиков, занесенных снегом. Из каждого такого холмика тонкой струйкой вился парок.

— Эй, люди! — крикнул я.

Ближайшие холмики зашевелились, и из рыхлого снега стали высовываться головы с отвернутыми и натянутыми на уши пилотками.

Мы отряхивались, как промокшие псы, торопясь поскорее натянуть на себя шинели, а лейтенант Абубакиров, раздевшись до пояса, натирал снегом лицо и голые плечи.

— Ну, чего вы поникли, как лилии долины? — смеялся он. — Если хотите, чтобы вам стало тепло, следуйте моему примеру...

На следующий день взвод заступил в караул. Мне досталась охрана штаба.

Пока я стоял на посту, снова пошел снег, да такой густой, что за два часа его навалило чуть ли не до коленей. Когда после смены мы с разводящим во главе возвращались в палатку караульного помещения, то оказалось, что на прежнем месте ее нет. К тому времени достаточно рассвело, и все же палатки нигде не было видно, словно она провалилась сквозь землю. Только курсанты из отдыхающей и бодрствующей смен бестолково бродили вокруг. Уже на месте выяснилось, что тяжелый мокрый снег завалил наше караульное помещение, и при этом бесследно пропал один человек — Сеня Голубь. Он сменился два часа тому назад, и больше его никто не видел. Лейтенант послал нас на поиски. Мы кричали, заглядывали в помещения соседних взводов,

где разбуженные товарищи называли нас нехорошими словами, но все было безрезультатно. Наш начальник караула уже собирался докладывать дежурному по лагерю, когда Соломоник тихо сказал:

— Тут под снегом-таки что-то лежит. Смотрите, подтаял...

Мы дружно принялись разгребать это место, подняли стенку палатки и увидели Голубя. Сеня спал. Было совершенно непонятно, как человек не задохнулся под плотной парусиной и слоем снега. Когда его растолкали довольно бесцеремонно, он испуганно открыл глаза и спросил:

— Случилось что-нибудь, да?

— Что вы тут делаете? — вскричал обычно сдержанный Абубакиров.

— Бодрствую, товарищ лейтенант.

16 ноября. На Карельском фронте снайперы Н-ского соединения за три дня истребили 179 солдат и офицеров противника...

Из сводки Совинформбюро

8. БОЕВАЯ ТРЕВОГА

Странное дело, в последнее время меня стали посещать сновидения. Может быть, это оттого, что все мы заметно окрепли и втянулись в жесткий режим. Но как бы то ни было, я уже который раз вижу во сне медсестру Таню. Она является ко мне под утро, гладит мою стриженую голову, и я чувствую губами мягкую кожу ее рук выше запястья и на сгибе у локтя. И от этого прикосновения начинаю таять как сосулька в тепле.

А сегодня сон был вообще фантастический. К нам в казарму пришел хромой старичок с палкой. Дневальный поднял шум, а старичок все рвался вперед и показывал на меня пальцем.

«Сюда нельзя! — кричал дневальный. — Кто вы такой?»

«Я Антабка, — отвечал старичок, постукивая себя палкой по больной ноге, — мне отрезало полстопы колесом товарного вагона. Вот так — щелк, как кузнечными клещами. А помощь оказывала сестричка Таня из санчасти. Она жена курсанта Абросимова!»

«Женька Абросимов женат? — удивляются собравшиеся вокруг. — Не может быть!»

«Вы не знаете Женьки, — смеется старичок, скромно прикрывая рот ладошкой. И вдруг я вижу, что это не старичок вовсе, а самая настоящая собака, наш ротный пес Антабка. Он помахивает хвостом и добавляет: — Это, я вам доложу, фрукт, каких свет не видывал. Он только притворяется тихоней...»

Я просыпаюсь и размышляю, к чему бы такое. Витька говорит, что собака во сне — к другу. Это и без него ясно. В училище, за малым исключением, меня окружают одни друзья. Все эти приметы — чепуха. Просто вечером мы говорили о нашей собаке, и Левка Белоусов высказал предположение, что Антабка мог запросто угодить под поезд. Ведь по прямой до товарной станции совсем близко, и там всегда отираются бездомные собаки. Я пытаюсь опять заснуть, но в это мгновение вспыхивает яркий свет, проникающий даже сквозь плотно закрытые веки, и слышится возбужденный голос дежурного:

— Тревога! Первая рота, подъем!

И где-то дальше:

— Вторая рота, подъем!

В эту перекличку врывается голос старшины Пронженко:

— Внимания! Боева тревога! А Голуб доси спыть! — В последних словах не вопрос, а привычное утверждение.

Я повисаю на руках и прыгаю со второго яруса на холодный пол. Тревога как тревога. Только слово «боевая», впервые прозвучавшее в устах старшины, несло в себе нечто новое. И это новое настораживало.

Тревоги! Сколько снов мы недосмотрели в те забываемые годы, сколько часов недоспали, сколько тепла не сберегли! Тревоги стали привычными в своей неизбежной закономерности. Я как сейчас слышу волнующий медный голос трубы.

— Боевая тревога! — подхватывают возглас нашего старшины дежурные по ротам. — Боевая тревога!

Тяжело грохочут ботинки по деревянному полу казармы, выхватываются из гнезд холодные карабины. Пилотка по форме — два пальца над левой бровью. Хлопают двери. Морозный дух и пар от дыхания.

— По порядку номеров рассчитайсь!

А ночное небо над головой, словно черный полог, прошитый автоматными очередями, все усыпано звезда-

ми. В свете фонарей мельтешат серебряные иголки облетающего с проводов инея. Судя по многим признакам, построение серьезное. Где-то у проходной слышится строевая песня, довольно непривычная в такое время. Это идет «царица полей» — пехота. Все делается быстро и четко, все давно отработано.

На столбе вспыхивает прожектор, и на площадку ложится ярко освещенный овал. Вперед выходит начальник училища:

— Товарищи курсанты! Великая Отечественная война, которую уже полтора года ведет наш народ, достигла критической точки. Близится момент великого перелома, когда наша доблестная Красная Армия погонит ненавистного врага на запад, чтобы добить зверя в его собственной берлоге. — Подполковник говорит громко и торжественно, как на параде. От его губ срывается и отлетает парок. — Сегодня необходимо сосредоточить все усилия, не останавливаясь ни перед чем. В этот исторический час Родина-мать призывает вас под свои боевые знамена. В составе курсантского полка вы отправитесь в самое жаркое место, под славный город Сталинград, и с оружием в руках будете отстаивать свободу, честь и независимость нашей любимой Советской страны...

До нас еще не доходит истинный смысл всего, что он говорит. Мы просто заворожены его голосом, торжественностью обстановки и только подсознательно ощущаем, что стоим на пороге больших перемен.

— Вы хорошо обучены, — разносится голос подполковника, — и, мы уверены, не посрамите звания курсантов нашего военного училища. Полагаю, что в боях, когда вы обретете практический опыт, вам присвоят и командирские звания. Но я твердо знаю, что в бой вы пойдете не ради званий и наград, а по зову сердца, ради высоких и прекрасных идеалов, начертанных на знаменах Октябрьской революции.

Он замолчал и в абсолютной тишине прошелся взад и вперед по плацу. Слышно было, как под его сапогами поскрипывает снег. Потом поднял голову:

— В училище останутся всего три роты. По одной от каждого вида оружия. Точнее говоря, каждая первая рота...

До нас и тут не сразу дошло, что первая рота — это и есть мы. А когда дошло, по шеренгам поползли громкий шепот и голоса возмущения.

— Хреновина какая-то! — негодовал Юрка Васильев. — Сейчас же пойду и потребую. Чем я виноват, что меня когда-то зачислили в первую, а не во вторую роту?

— Я с тобой, — поддержал его Левка Белоусов. — Пойдем вместе.

Сашка Блинков только посмеивался:

— Дураки, кто вас слушать станет? Сколько в армии, а все не привыкнете. Тут вам не колхозное собрание. Никто не отменит решения.

Командиры рот зацывали на своих курсантов, и порядок был восстановлен.

— Сейчас вы вернетесь в свои казармы, сдадите старшинам оружие и противогазы, а потом будете получать новое зимнее обмундирование и теплое белье. На все это вам дается два с половиной часа, — объявил подполковник. — Эшелон уже на станции. Отправление в восемь ноль-ноль. Желаю вам крепко бить фашистов, оставаясь живыми и здоровыми... Война еще не кончена, кто знает, быть может, мы еще свидимся. — Он огляделся и скомандовал уже другим, привычным для всех голосом: — Командирам батальонов развести подразделения по казармам!

Конечно же, ходоки наши вернулись ни с чем. Больше того, замполит Чурсин пригрозил им тремя сутками гауптвахты, если они не уймутся. Единственное, что мы выгадали, так это теплые ушанки, которые нам пообещали выдать вместе с отъезжающими...

Во второй и третьей ротах стоял дым коромыслом. Все бегали, натываясь друг на друга, перебирали тумбочки и перетряхивали содержимое вещмешков — свое курсантское богатство.

— Не волнуйтесь, — утешал ребят Сорокин. — Кухня едет с вами, я узнавал. Кормить будут горячим...

— Сказали, что где-то в пути нам выдадут валенки...

— Ну что, братва, едем доколачивать фрицев?..

Это была истинная правда. Но разве в тот момент кто-нибудь мог предположить, что к концу января из каждых пятерых отъезжающих в живых останется только один?

Хотя нас подняли почти в три часа ночи, ни о каком сне, конечно же, не могло быть и речи. Ровно через два часа тридцать минут курсанты второй и третьей рот в новеньких настоящих шинелях и кирзовых сапогах снова построились перед казармой. Рядом с ними мы в своих выгоревших трикотажных обмотках и мятых про-

жженных шинелишках на рыбьем меху выглядели особенно жалко, как всеми забытые пасынки. Мы толкались за их строем, жали на прощанье руки и чувствовали себя несчастными.

Но вот прозвучали команды, и колонна тронулась, шелестя полами новых шинелей. Течет мимо нас серая река. Никто не знает, увидимся ли мы вновь. Мне так и не удалось попрощаться с Кимом Ладейкиным. Он ушел со своим батальоном с общего построения, и больше я его не видел.

Проходят роты, скрипя по снегу новыми сапогами. Вместе с ними уходит на фронт и кое-кто из командиров: адъютант старший батальона, командир третьей роты, несколько командиров взводов. Абубакиров стоит нахохлившись, глядя им вслед. Нам уже известно, что все три рапорта с просьбой отправить его в действующую армию, оставлены без внимания.

Мы провожаем ребят до проходной, пока за ними не закрываются тяжелые, окованные железом ворота. А в сердце пустота и холодок недоброго предчувствия.

Все отлично понимали, что друзья наши идут не на тактические учения, что им предстоит сражаться и умирать. А умирать не хотел никто. И все-таки почему мы так рвались уйти вместе с ними в тот день? Почему?

Я убежден, что нет на свете ничего крепче и непогрешимее фронтового братства. Когда приходится бывать на военных кладбищах, мною овладевает смутное беспокойство, словно сквозь толщу лет до меня вновь донесся знакомый сигнал медной трубы: соль-соль-соль, соль-ми-до, и я вдруг начинаю ощущать непреходящую боль утраты и тоски по боевым друзьям, чуждым в своей юношеской чистоте себялюбия и корысти.

Все эти годы мне казалось, будто я неизбежно отдаляюсь от них. Так оно и было в первой половине жизни. Но потом выяснилось, что путь мой протекает не по прямой, а по кругу, который рано или поздно должен замкнуться. В неизбежности — успокоение. Каждый шаг теперь приближает меня к друзьям далекой юности. И дорого бы я отдал за то, чтобы в урочный час, хотя и с опозданием в несколько десятилетий, занять свое место рядом с ними...

— Ты чего? — толкает меня в плечо Сашка. Он улыбается, но в глазах его стоят слезы. — Будешь? — Он протягивает мне кусок коричневой макухи. — Успокаивает нервную систему.

Когда мы возвращаемся с завтрака, старшина Пронженко — педант и хранитель уставных истин — бросает взгляд на свои знаменитые часы и вдруг останавливает строй совсем неуставной командой «приставить ногу!». Подняв вверх указательный палец, он требует от нас тишины и внимания. Мы все прислушиваемся, и тут до нас доносится отдаленный паровозный гудок, протяжный и глубокий. Так в моем представлении должен трубить раненый слон.

В течение ночи на 1 декабря в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши войска продолжали наступление на прежних направлениях.

Из сводки Совинформбюро

9. ПОСТ НОМЕР ВОСЕМЬ

Наш взвод назначается в караул примерно раз в двадцать дней. Командир взвода — караульный начальник, в просторечии «карнач». Командир роты на это время обычно становится дежурным по училищу. От других его можно отличить по матерчатой лямке противогаза на груди и по излишне озабоченному виду.

В последний раз к разводу караулов Абубакиров не вышел. Накануне он был назначен адъютантом старшим минометного батальона, а должность командира первого взвода занял Витькин тайный соперник младший лейтенант Зеленский. Уход Абубакирова каждый из нас воспринял как личную драму, но изменить мы ничего не в состоянии.

Зеленский имеет привычку расхаживать перед строем, заложив большие пальцы за ремень, и молча вглядываться в лица курсантов. Он долго не подает команду «вольно», ждет, когда кто-нибудь из нас не выдержит и пошевелится. А заметив какую-нибудь погрешность в заправке, младший лейтенант раздражается длинной тирадой:

— Туземцы! Посмотрите, на кого вы похожи! Распустили животы, как бабы на сносях...

В словах его нет ни настоящей злости, ни презрения. Мне иногда кажется, что он просто упражняется в своем грубоватом остроумии. Во всяком случае, глядя на Зеленского, трудно поверить в его высшее образование. Говорят, до войны он работал топографом.

Невысокий, с квадратными плечами и толстыми икрами, наш новый командир взвода напорист в достижении цели. Он резок и в жестах и в суждениях. Походка у него быстрая и легкая, несмотря на кряжистость фигуры. Энергия так и клокочет в нем. Этот нам даст жару...

На первый раз младший лейтенант лично распределяет нас по постам, хотя обычно этим делом занимается Сашка. У него график очередности.

Наши курсанты делят посты на почетные, ответственные, заурядные и... безответственные. К почетным относится пост № 1 у знамени училища. И, хотя днем там надо стоять навывтяжку, мы относимся к нему с уважением, тем более что в помещении зимой тепло и не дует. Ответственными у нас считаются посты № 2 и № 4 — склад боепитания и артиллерийский парк. На эти объекты, как правило, не рвутся. Мы устаем от серьезных дел. К тому же хилый, покрытый толем грибок — сомнительная защита в дурную погоду. Заурядные — это все остальные, кроме поста № 8, выставленного в штурмгородке и возведенного нами в счастливый ранг безответственных. Он расположен за чертой училища и организован с единственной целью — помешать труженикам тыла растаскивать на дрова всевозможные бумы, дощатые стенки и заборы. Есть там и некое подобие сарайчика, где стоит столярный верстак на случай мелкого ремонта и где удобно отсиживаться в непогоду. Сегодня мой попугай вытащил счастливый билет — я назначен на пост № 8...

В последнее время Антабка повадился ходить со мной в наряд. Рана у него окончательно поджила, и, хотя становиться на лапу он не мог, стал совершать отдаленные прогулки. К тому моменту, когда смена с разводящим выходила из караульного помещения, Антабка уже вертелся возле дверей. У него было исключительно развито ощущение времени.

Не изменил пес своему обыкновению и на этот раз. Он честно обошел все посты, поджидая в сторонке, пока сменятся часовые, а потом, соблюдая дистанцию, которую диктовало ему врожденное чувство такта, продолжал плестись за нами. Даже рискнул пройти через проходную.

В штурмгородке мне предстояло сменить Соломоника. Тот доложил разводящему, что за истекшие два часа никаких происшествий не произошло, и получил раз-

решение на сдачу поста. Осматривать тут было нечего, опломбированных помещений не имелось. Мы стали плечом к плечу, глядя в противоположные стороны. Боря сказал: «Часовой Соломоник пост номер восемь сдал», а я продолжил: «Часовой Абросимов пост номер восемь принял». Боря сделал два шага вперед, а я шаг влево, заняв место своего предшественника, и четко повернулся кругом. Он передал мне длиннющий тулуп с огромным воротником и пошел в строй. С этого момента я становился часовым, лицом, наделенным исключительными правами.

Ребята ушли, шаги их постепенно стихли, а верный друг Антабка остался со мной. Я был искренне растроган. Мы вместе обошли небольшой городок и заглянули в сарайчик. Уже смеркалось, но я увидел, что верстак и охапка сухих стружек в углу оставались на своих местах, как двадцать дней назад. Где-то на улице прошел одинокий прохожий, и пес поднял страшный лай, как бы давая понять, что не зря тащился сюда за целый квартал.

При всех своих преимуществах пост № 8 имел один существенный недостаток — оторванность. Торчать тут ночью было и тоскливо, и немного жутковато. Хотел — не хотел, а прислушивался к каждому шороху.

Но теперь-то я был кум королю. Кто бы ни появился, верный пес предупредит меня лаем.

Накануне день выдался тяжелый, нас опять гоняли в поле, и я решил допустить некоторую вольность: подгреб ногой стружки поближе к открытым дверям и приказал Антабке ложиться, потрепав его мягкую шерсть на загривке. Потом постелил на верстак тулуп, положил на него винтовку и лег сам, прикрывшись второй полой. Получилось — лучше не придумаешь. На дворе холодный ветер срывает клочья снега с остекленевших веток, а здесь тихо, тепло и по-деревенски мирно пахнет овчиной.

— Ну что, Антабка, — тихо говорю я, и пес в ответ шелестит сухими стружками — виляет своим пушистым хвостом. — Ты добрый и благородный пес. Если бы не твое появление, я, возможно, никогда бы не встретился с ней... Ты приносишь удачу... На тебя можно положиться...

О чем только не передумает за два часа! Самыми приятными мыслями для меня с некоторых пор стали мысли о Тане. В общем-то, это были и не мысли, а так, беспочвенные мечтания, бред больного воображения.

«Дурна кров грае», — как говорит старшина Пронженко. По сути, у нас с ней не только разговора ни о чем таком не было, но мы даже ни разу наедине не оставались, хотя она и могла догадаться, что нравится мне. Но она не догадывалась или делала вид, что не догадывается.

Для того чтобы лишний раз увидеть Таню, почувствовать прикосновение ее руки, я на днях пошел на крайность — чиркнул сапожным ножом по левому указательному пальцу. Нож я обнаружил случайно в столе дежурного. Дело нехитрое. Но главное тут было не перестараться, не попасть в одну компанию с членовредителями. Порез получился глубокий, но я не спешил останавливать кровь, а дал ей сбежать струйкой к самому рукаву. Боли особой я не испытывал, зато выглядело это все довольно эффектно, как настоящее ранение. Я полюбовался на свою работу и еще мазнул пальцем, как кисточкой, чтобы положить последний штрих.

Когда я появился в санчасти без шинели с зажатой кровоточащей раной, Таня с испугом повернулась ко мне. К тому времени кровь успела несколько раз капнуть на желтый блестящий линолеум, так как я предосудительно разжал пальцы.

— Что, что случилось? — проговорила она, вырывая у меня руку. Мне показалось, что темно-серые глаза ее потемнели еще больше.

— Да так, — бросил я небрежно, — слегка задело в штыковом бою...

— Что за ерунда, в каком бою? — говорила Таня, усаживая меня на кушетку. Она явно не принимала моего натужного юмора. — Занятия давно кончились. Держите салфеточку...

— Я пошутил. Просто неудачно чинил карандаш.

— Фу, вы меня напугали, — вздохнула она, хмуря брови. — Столько кровищи! Думала, по крайней мере, порезали вену...

Кровь не унималась, и Таня сначала дважды обернула палец бинтом, а потом через двойной слой марли смазала йодом.

Пока она бинтовала мне палец и мокрым тампоном стирала с кисти засохшую кровь, я сидел не шелохнувшись. Каждое ее прикосновение вызывало ощущение слабого электрического разряда, словно между нашими руками проскакивала невидимая искра. Когда она проводила пальцами по моему запястью, казалось, что они,

как намагниченные, прилипают ко мне. Я слышал дыхание и легкий шорох накрахмаленного халата. Я не смел поднять головы, чтобы посмотреть в ее лицо. Я не видел ее глаз, но ощущал их теплоту и нежность.

Сейчас я думал об одном — как продлить это благостное мгновение, не разрушить тот зыбкий мостик, что соединил наши берега. Не существовало уже ни отчуждения, ни разницы в годах. Были двое — она и я. Неужели Таня не чувствует моего состояния? Неужели оно не передалось ей? Этого просто не могло быть...

— Ну вот и все в порядке, — засмеялась она. — До свадьбы заживет...

Я лежал на верстаке, и совесть меня не тревожила. Ну что это за пост? Люди кладут головы на фронте, а мы тут сторожим кучу старых досок. И от кого, от своих же людей! Потом я уснул. Мне снились ромашковые поля, речка и медсестра Таня, выходящая из воды, как Афродита. Правда, она была в черном купальном лифчике и сатиновых плавках с двумя пуговками на боку. По ее высокой шее и сильным ногам ручейками стекала вода...

Очнулся я от сильного толчка и открыл глаза. Кто-то стоял рядом в полумраке и бесцеремонно толкал меня в бок прикладом. Я нащупал под тулупом свой карабин с примкнутым штыком и быстро сел. Передо мной стояли разводящий и двое курсантов.

— Скотина! — прошипел Сашка. — Такого еще не было. Уснуть на посту! Как это, однако, называется?

— Сон в зимнюю ночь, — съязвил кто-то за его спиной. По голосу я узнал Витьку.

— Разве это пост? — пробормотал я, тряхнув головой, чтобы поскорее прогнать остатки сна.

— Не пост? Дать бы тебе разок хорошенько.

Всю дорогу Сашка брюзжал и поносил меня последними словами, а я молчал и думал о том, что мне крупно повезло на помкомвзвода. Попади нам такой, как Красников, и видел бы я небо в крупную клетку через окошко гарнизонной гауптвахты.

Следом за нами скачет на трех лапах предатель Антабка. Устанет — посидит чуток и пускается вдогонку. Эх ты, друг человека! Не залаял, не предупредил вовремя. И только тут до меня доходит, что никакой Антабка не предатель. Просто он не умеет лаять на своих.

Мысль об этом почему-то радует, и я начинаю улыбаться про себя.

— Ты погляди, — взрывается Сашка, — однако, он еще и зубы скалит.

— Смешно. Пес и тот на своих не гавкает.

— Слышишь, Заклепенко, на что намекает этот тип? — Он свирепо улыбается, по своему обыкновению вытягивая вперед губы, словно хочет произнести звук «о».

— Позор на мою седую голову, — сокрушенно разводит руками Витька. — Позор!

24 декабря... Наши войска в районе юго-восточнее Нальчика перешли в наступление и, сломив сопротивление противника, заняли крупные населенные пункты Дзурикау... Ардон, Алагир, Ногкау.

Из сводки Совинформбюро

10. МЯТНЫЕ КАПЛИ ОТ ТОШНОТЫ

После того как основной состав батальона ушел на фронт, мы получили некоторые послабления. Больше занимались теорией, а после ужина до отбоя практически могли располагать собой как угодно, хотя по правилам это время отводилось на самоподготовку.

Однажды в столовой ко мне подошел курсант из пулеметной роты и сказал, что у проходной меня дожидается какая-то краля. Быстро прикончив ужин, я попросил разрешения у старшины не становиться в строй и помчался к воротам.

За проходной под фонарем действительно стояла молодая полная женщина в черной меховой шубке. Губы ее были ярко накрашены. Она выглядела весьма миловидно, хотя голубые глаза навывкате немного портили ее внешность.

— Вы Женя Абросимов? — спросила незнакомка приятным напевным голосом и протянула руку в тонкой кожаной перчатке. — Я сестра Кима Ладейкина. Зовут меня Лола. Ким много рассказывал о вас.

— Серьезно? — удивился я.

— Вы ведь дружили некоторое время. — Она нервно теребила край мехового воротника. — Я подумала, может быть, он написал вам. С тех пор как они уехали, от него не было ни одного письма.

— Письма будут, — поспешил я успокоить ее. — Вы же понимаете, какое теперь время.

— Да-да, вы правы, Женя, — быстро проговорила она. — Обычно его отпускали ко мне, и мы собирались все вместе. Мы вас ждали на седьмое ноября, но вы почему-то не пришли.

— Так получилось, наш взвод как раз был в ка-рауле.

— А теперь вот Новый год скоро, и брата с нами нет. Это мой самый любимый праздник. С детства. Я знаю: тех, у кого в городе нет ни родных, ни знакомых, в увольнение пускают неохотно. И вот я подумала, почему бы вам не прийти в этот день к нам? Посидим, пообедаем, рюмочку выпьем за них. — Она неопределенно кивнула в сторону вокзала. — И нам будет приятно, и вы побудете немного в домашней обстановке. Ну как, по рукам?

— По рукам, — согласился я.

Мне действительно очень хотелось хоть ненадолго попасть в домашние условия, но я боялся, что мой дружок Сашка откажется просить за меня после случая на посту. И обижаться на него я не имел права. Служба, ничего не попишешь. Не проболтался никому, и за то спасибо.

Когда по вечерам в санчасти дежурит Таня, я иду к ней. Первый раз я пришел в процедурную и сказал, покраснев, что меня поташнивает. Ребята говорили, что в таких случаях дают мятные капли.

— И давно поташнивает? — серьезным тоном спросила Таня.

— Да нет, — смутился я, — недавно. Может быть, мятных капель, а?

— Можно и мятных, — согласилась Таня, — хотя мы, бабы, в таких случаях предпочитаем соленый огурец. Жаль, нет огурцов в санчасти.

Она накапала в рюмочку ровно пятнадцать капель, разбавила водой из графина и с любопытством стала наблюдать, как я, давась, пью такую дрянь. Для других ребят эти капли вполне заменяли мятные леденцы, а я с детства терпеть не мог запаха мяты.

— Спасибо, — поблагодарил я. — Сразу легче стало.

— Ну, если уж так здорово помогает, — сказала она, — приходите чаще. Наш долг, Женечка, облегчать страдания больных.

Я был потрясен.

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Ничего хитрого, — засмеялась она, шуря свои

продолговатые серые глаза. — Я ведь гадалка и колдунья. Могу заглядывать в прошлое и предсказывать будущее... Не смотрите на меня так серьезно, а то я подумаю, что вы поверили мне.

Невзирая на ее шуточный и даже чуточку насмешливый тон, я почувствовал себя уверенно, будто свалились стеснявшие меня путы.

— Так я приду? Послезавтра?

— Именно послезавтра. Леночкины капли не такие. Мои помогают лучше...

У нас с Витькой получается что-то вроде двухсменной вахты. Один день в санчасть иду я, на следующий день он. Младший лейтенант Зеленский явно обо всем догадывается, смотрит на Витьку волком, но в открытую никаких притеснений другу моему не чинит, хотя я знаю вполне достоверно, что ухаживания командира взвода Леночка отвергает и даже откровенно посмеивается над ним. А ведь ему ничего не стоило бы пресечь эти вечерние прогулки и свидания. Всегда найдется, чем занять курсанта между ужином и отходом ко сну. Или, может быть, он просто затаился до поры и готовит Витьке единственный, но зато сокрушительный удар?

По вечерам в санчасть никто не заходит, и я имею возможность торчать тут часами. Я сижу без шинели на клеенчатой кушетке с термометром под мышкой, рассказываю про свою довоенную жизнь с отцом и читаю стихи Есенина. Термометр — это маскировка. Ее придумала Таня на случай, если сюда забредет дежурный по училищу или начальник медслужбы.

...Как будто тысяча
Гнусавящих дьячков,
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга!
И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга...

Стихи Тане очень нравятся, даже глаза у нее начинают подозрительно блестеть. Она вздыхает. Она полна сочувствия ко мне, а я — благодарности к поэту, который неожиданно вызвал у нее прилив доброты и внимания к моей особе.

— А жениться тебе все равно еще рано, — непонятно из чего делает вывод Таня. — Я уверена. Какие твои годы...

— Не знаю, — говорю я, пожимая плечами, — не уверен.

Мне уже пора уходить. На прощанье Таня капает в рюмочку из темного флакона пятнадцать капель, и по комнате разносится одуряюще резкий запах степной мяты.

— Проводите меня до двери, — прошу я. Похоже, что мятные капли придают мне решительности.

Мы выходим из коридорчика в темный холодный тамбур. В темноте люди всегда становятся смелее. Я обнимаю Таню за плечи, притягиваю к себе, ищу ее губы. Она не отстраняет меня и не сопротивляется.

— Женечка, дурачок, — шепчет она, задыхаясь, — просись в увольнение, приходи ко мне на Новый год, а?

— Конечно, я приду. Обязательно приду.

— А если не пустят?

— Сделаю подкоп или просто выломаю окно. Пусть потом судят.

— Пусть, пусть судят, — повторяет она отрешенно.

Когда я возвращаюсь в казарму, руки мои дрожат, как у алкоголика, и сердце все еще продолжает час-тить. Витка Заклепенко сидит в классе под тусклой лампочкой. Перед ним на столе карабин с вынутым затвором и жестяная двугорлая масленка. Он старательно наматывает на протирку лоскуток ветоши. Шомпол зажат у него в коленях.

— Мой совет — чисть карабин, — говорит он. — Перед сном старшина будет проверять оружие.

— Послушай, — перебиваю я, не обращая внимания на его дурацкие советы, — если по-честному, вы с Леночкой хоть раз целовались?

Мой вопрос застаёт Витку врасплох. Он смотрит на меня несколько растерянно.

— Не то чтоб целовались, — начинает он вилить, — но и не то, чтоб... А зачем это тебе?

Я машу рукой и, улыбаясь, иду к пирамиде за своим карабином...

Наконец наступает долгожданный четверг — последний день уходящего в вечность сорок второго года. Я подсыпаюсь к Сашке, прошу его внести меня в список на увольнение. Честно рассказываю про свидание, которое мне назначила Таня. Он как-то странно мнетя, но потом говорит довольно сухо:

— Не стоило бы тебя пускать после всего... Но повод, однако, уважительный. Только не для командира

роты. Он в лирике как баран, для него это — тьфу. Придумай что-нибудь посолиднее.

— Да, меня же приглашала сестра Кима Ладейкина, — спохватываюсь я. — Обязательно надо зайти. От него ни одного письма, а они там душой изболевлись.

— Тебе везет, — вздыхает он, — это уже кое-что. Ладно, в список я тебя включу, однако, а дальше не мое дело...

Только первого января, в Новый год, я впервые понял значение слова праздник. Это значит праздный день. День ничегонеделания. Замечательный день! Вкусный завтрак с добавками. Из столовой мы всегда выходим с одной и той же шуточкой старшин:

— Поели?

— Не доели!

— Встать! Выходи строиться!

Уже на улице наш Пронженко добавляет:

— В кого увольнительны, привести себя у порядок и гайда. Но щоб у двадцать два ноль-ноль як с пушки. Минута опоздання — наряд вне очереди.

Я плохо помню свой визит к сестре Ладейкина. Все было словно в тумане. Внимательная ко мне Лола, такая по-довоенному модная, с выпуклыми, слегка покрасневшими веками и припудренным носом. Ее пожилой лысеющий муж со скучными разговорами о политике, об английской дипломатии. Он показывал школьную карту, на которой самолично разрабатывал план нашего наступления на Ростов и Харьков.

— Этим мы сразу отрезаем немецкие дивизии на Кавказе, — объяснял он. — Вы понимаете?

— Понимаю, — вежливо отвечал я.

— А может быть, главный удар лучше нанести отсюда? — тыкал он в карту остро заточенным красным карандашом. — Как вы думаете?

— Можно и отсюда, — соглашался я. — Но лучше не отменять своих решений. Кто колеблется — тот не побеждает!

— Великолепно! Чье это высказывание?

Я немного смутился:

— Моего старшины Пронженко...

Я бы, наверное, не вынес этих разговоров, даже принимая во внимание сытный обед и настоящий сладкий портвейн, который Лола разливала в высокие серебряные бокальчики. Но...

Я приносил в жертву свое драгоценное время только

ради славного паренька Кима Ладейкина. Мне отчетливо представлялось, как в эту самую минуту он лежит в заснеженном окопе, а вокруг, насколько хватает глаз, простирается белая до слепоты степь, лишь кое-где изрытая ржавыми воронками. Я чувствую, как у него немеют на морозе пальцы, и боюсь, что, когда настанет час, он не сможет надавить на спусковой крючок...

Танин дом я нашел без особых хлопот, когда на улице уже смеркалось. Она жила в глубине двора, в небольшом саманном флигеле с отдельным входом. Коридорчик и две малюсенькие комнаты, немногим больше вагонного купе, отделенные друг от друга аккуратно побеленной плитой и щитком дымохода.

Когда я вошел, Таня приложила палец к губам:

— Тс-с, там спит Наташка.

— Какая Наташка? — не понял я.

— Дурачок ты, Женя. Дочка моя. Ей пошел третий год.

Но в тот момент я как-то не осознал значения ее слов. В первой комнатке горела одна-единственная настольная лампа, да и та была прикрыта большим абажуром. И все-таки я мог смотреть на Таню сколько угодно. По-моему, я впервые увидел ее не в белом.

Сейчас она была в домашнем халате и шлепанцах, надетых на босу ногу. У нее оказались очень густые волосы, блестящие и коричневые, как скорлупа каштана, только что вылупившегося из мясистой колючей оболочки. В полумраке мелкие детали ее лица почти не улавливались, исчезли рябинки с ее лба и щек. Воспринимались только основные черты, контур строго очерченного носа и пластичная линия подбородка, словно на рисунке тушью. Мне казалось в тот миг, что передо мной сидит, поджав под себя ноги, самая прекрасная, самая восхитительная из женщин. Я был влюблен. Со мной такого никогда не было. От любви и нежности к ней в глазах у меня стояли слезы.

Она протянула через стол руку и дотронулась до моей головы:

— У тебя мягкие волосы, ты должен быть добрым.

Мои стриженные волосы стали подрастать и казались похожими на почерневшую от дождей колючую стерню сжатого поля.

— Ты ведь долго будешь у меня, правда? — спросила она.

— Правда...

— Я на днях отоварила карточки. Мы прикреплены к кооперативному магазину. Перед праздником нам давали маргарин, муку и сахар. Я испекла коржики. Ты любишь коржики, Женя?

— Люблю, а как же. — Я поднялся и подошел к ней. — С Новым годом, Таня! — И я поцеловал ее. Я так долго не отпускал ее губ, что она начала задыхаться и барабанить ладонями по моей спине.

Когда я наконец оторвался от нее, губы у Тани были припухшими и розовыми.

— Вот видишь, тихоня, — засмеялась она, блеснув зубами, влажными и неестественно белыми в этом освещении, — капельки-то мои мятные помогают...

...А потом она лежала рядом со мной на узкой неудобной кровати и, поднявшись на локте, внимательно изучала мое лицо, окончательно поглупевшее от любви. Волосы ее, длинные и тяжелые, заслоняли половину лба и всю правую щеку.

Я закрыл глаза и почувствовал запах ее кожи, такой теплой и шелковистой под пальцами, запах чистых подкрахмаленных простыней и сохнувшей на плите еловой лучины для растопки. Я был счастлив! Никогда до этого дня и никогда после не прельщала меня власть над людьми, но в тот момент я был упоен своим владичеством над любимой женщиной. Пусть на вечер, пусть на час, но я был ее властелином, самодержцем, а она удивительным женским чутьем угадывала мои чувства и по-своему поощряла меня.

— Хочешь, я вышлю тебе аттестат, когда нам присвоят звания и направят на фронт? — неожиданно для самого себя спросил я. — Хочешь? У меня ведь все равно никого нет.

— Не хочу, Женечка, — усмехнулась она. — Аттестат тебе еще пригодится.

— Я хотел бы умереть за тебя, — как-то само собой вырвалось у меня.

Она отвела рукой волосы, словно раздвинула тяжелый занавес, и вдруг я увидел в ее глазах настоящий, неподдельный страх.

— Нет-нет, ты не умрешь, — быстро проговорила она, — не погибнешь, не сгоришь в огне, не утонешь. Я колдунья. Я наворюжу тебе долгую, долгую жизнь, слышишь? — И она вдруг заплакала...

Таня — первая женщина, которую я узнал так близко. Она была на десять лет старше меня, здоровья и

сил у нее хватило бы на троих, но сейчас она казалась мне беспомощной, как ребенок. Я целовал ее шею, плечи, я успокаивал ее, пытался рассмешить, называл самыми нежными именами, какие только мог придумать в этот необыкновенный новогодний вечер.

Потом мы пили чай с коржиками, и Таня разрешила мне подымить в открытую печную дверцу.

В половине десятого она стала меня торопить. Я даже немного обиделся.

— Дурачок, — засмеялась она, — если ты опоздаешь, тебя больше не отпустят ко мне.

Она встала на стул и достала со шкафчика сотню папирос «Казбек» в длинной бумажной пачке. Таких папирос не курили даже наши командиры.

— Как закуришь, так и вспомнишь меня.

— Не волнуйся, и так не забуду.

— Бери, бери, — настаивала Таня, — угостишь ребят. У них ведь по-настоящему и праздника не было.

— Сегодня пятница, постный день, — сказал я, — а нас вместо макарон на завтрак кормили шпротами. Самыми настоящими. По две штуки на брата.

— Иди скорее, а то придется бежать всю дорогу. Я еще хочу успеть присниться тебе этой ночью, слышишь?

Резкий ветер на улице слегка отрезвил меня. Ведь если была маленькая Наташка, значит, был и отец. Кто он, где он? Воюет на фронте, умер, сбежал? Нет, я не утруждал себя пустыми вопросами. Просто нас было двое — она и я, а все остальное меня не касалось.

Странная вещь: там, рядом с Таней, я чувствовал себя большим и сильным. Казалось, я мог защитить ее от любой напасти. Но возможности мои были слишком ограничены. И, чем больше шагов отделяло меня от ее дома, тем меньше прыти и самоуверенности оставалось во мне. словно бы я уменьшался в росте. Ветер выдувал из меня эмоции, срывал романтические покровы. Мне хотелось ухватить себя за волосы, удержать на прежней высоте, но, увы, волосы были для этого слишком коротки.

Я искал и не находил путей к самоутверждению...

В казарме все набросились на папиросы.

— Ну, Абросимов, ну, Женька, — радовался Юрка Васильев, хватая не меньше десятка папирос сразу. — Везет же людям. Не то, что у Заклепы — любовь вприглядку...

Я снисходительно посмеивался, но меня так и распирало от ощущения собственной возмужалости. Я стоял, привалившись к стальному изголовью двухъярусной койки.

В это время из каптерки выскочил помкомвзвода-три Красников. Пробегая мимо нас и увидев сотню «Казбека», он мигом притормозил.

— Здорово, Абросимов, — кивнул он, как ни в чем не бывало, — угости толстой папиросочкой.

— Некурящий, — ответил я и повернулся к нему спиной.

Терпеть не могу живодеров...

— Откуда? — спросил подошедший Сашка, беря папироску двумя пальцами. — От Ладейкиных? Помогите, ее муж какой-то блатмейстер.

— Какие там Ладейкины! — возмутился я. — Это она угостила, Таня.

— Seriously? — покачал головой мой помкомвзвода. — Ну и как же там было?

— Все по боевому уставу — часть первая, — вытянулся я и щелкнул каблуками, — как учили.

— Ты, однако, способный...

Витька взял меня за локоть и отвел в проход между койками:

— Послушай, Сашка тут места не находит, мечется весь день, как карась в садке.

— Какой Сашка? При чем тут Сашка? — возмутился я.

— Ты неспособный, ты тупой, как валенок. Он же целый месяц шляется из-за нее в санчасть. Выпил ведро этих чертовых мятных капель, а ты вот так все ему на блюдецке...

— Кто же знал? — смутился я.

— Ладно, хоть не зря сходил, — засмеялся Витька.

С верхней койки свесилась белая голова Левки Белоусова. Впалые щеки его при свете электрической лампы казались особенно темными, словно измазанными в угле.

— Вы, герои-любовники, кончайте трепать языками. Мужчины так не поступают... — Он закашлялся, уткнувшись лицом в подушку. — Стыдно ходить к бабе, валяться в ее постели, а потом, раскуривая ее же папиросы, обсасывать все так, словно побывал где-нибудь на скачках.

Не будь это Левка, я бы, разумеется, не стерпел, су-

мел бы отбрить как надо, но сейчас промолчал. Во мне разом погасла праздничная иллюминация, будто кто-то невидимый одним движением взял и выключил рубильник.

Мне вдруг представился отец, я даже почувствовал на плече его руку, услышал слова, сказанные им на прощание: «Оставайся мужчиной, чтобы мне не пришлось краснеть за тебя..»

На душе стало мерзко. Витька отошел, а я протянул руку и потрогал Левку за плечо. Он резко повернулся ко мне лицом.

— Ты извини, — сказал я и почувствовал, что краснею, — все получилось как-то само собой. Я не хотел говорить ничего плохого. Я ведь люблю ее.

— Ну ладно, ладно, — неожиданно смутился он. — Чего уж там. Ложись спать. Поверки сегодня не будет...

1 января. На Центральном фронте наши войска... в результате решительного штурма... овладели городом и железнодорожным узлом Великие Луки. Ввиду отказа сложить оружие немецкий гарнизон города истреблен.

Южнее Сталинграда наши части овладели городом Элиста...

Из сводки Совинформбюро

11. ЛЮБОВЬ К ОРУЖИЮ

У мальчишек это в крови. Я не о рогатках, из которых стреляют по воробьям и бродячим собакам, не о детской жестокости. Речь идет о настоящем боевом оружии, недоступном для пацанов. Только бы прикоснуться, только бы подержать в руках. Дайте такому настоящий карабин, и он будет холить его с не меньшей нежностью, чем девчонка свою любимую куклу. Его не пришлось бы заставлять чистить винтовку щелоком, протирать ершиком, смазывать маслом. Она бы у него всегда была в полном порядке.

Мы, вчерашние мальчишки, тоже чистим оружие, но... уже без энтузиазма, по необходимости. В чем же дело? Может быть, это происходит оттого, что оно стало для нас доступным?

Помню, в детстве за неимением настоящих винтовок и пистолетов мы обходились деревянными, соб-

ственного изготовления. И чем искуснее была сработана такая самоделка, тем выше она ценилась. Однажды отец смастерил мне пулемет стрелоточкой. Вместо кожуха он пристроил рифленый футляр от старого термоса, щит выпилил из фанеры, а колеса приспособил от поломанного самоката. Какой триумф это вызвало в нашем дворе! Мы играли в войну, штурмовали крепость, сложенную из закопченных кирпичей от разобранной печки, падали и снова поднимались во весь рост. Мы были как заговоренные, и пули в этой войне не брали нас.

Отец не вмешивался в наши игры. Он вообще никогда не мешал, если я не переступал границ дозволенного. Но он всегда присутствовал рядом со мной, даже незримо, когда его не оказывалось поблизости. Вот почему мне так не хватает его здесь и почему я порой испытываю по нему такую тоску...

Мне и сейчас интересно бывать на занятиях, где нас знакомят с новым оружием. Артиллерийские системы мы изучаем в специальном классе или в артпарке, похожем скорее на музей отечественного и трофейного вооружения. Там есть даже 105-миллиметровая немецкая гаубица на литых резиновых шинах и маленькая мортира, вся пегая от серо-зеленого камуфляжа. В часы самоподготовки мы усердно зубрим названия частей всевозможных накатников и тормозов отката, поршневых и клиновых затворов, поворотных и подъемных механизмов и много другого, что обязано было удержаться в памяти.

И насколько же все усложнялось, когда в этот прочный, незыблемый распорядок вдруг врывается любовь! Наши крепкие головы, на которых можно было колоть орехи, становились бестолковыми и пустыми до звона в ушах.

Я по-прежнему ходил к Тане в санчасть. Мы иногда подолгу простаивали в темном холодном тамбуре, но что-то изменилось во мне. Я никак не мог найти верного тона в обращении с ней. Можно было понять, что с того новогоднего вечера наши отношения вступили в какую-то новую фазу и старые интонации казались непригодными и безнадежно устаревшими. А чем заменить их, я не знал. Я искренне убеждал себя в том, что во мне ничего не изменилось и никогда не изменится, но Таня своим женским чутьем улавливала эту незримую перемену и ни в чем не упрекала меня.

— Ты придешь ко мне еще когда-нибудь, Женечка? — иногда спрашивала она.

— Что за вопрос, конечно! Но сейчас напряженные дни, никому не дают увольнительных. Через неделю экзамен по матчасти. Вот, может, ко Дню Красной Армии...

— А если сделать подкоп? — грустно улыбалась она. — Или выломать окно в казарме? Пусть потом судят, а?

— Ну что же, — бодро отвечал я, — начнем копать понемногу. А землю таскать в шапке...

В первых числах января нас оглушили невероятной новостью: в Красной Армии вводятся погоны! А командиры теперь будут называться офицерами. Сразу это даже не укладывалось в сознании.

Старый банщик дядя Жора, с которым мы общались раз в десять дней и который вечно стрелял у нас махорку, недовольно бурчал по этому поводу:

— Как же так? Да мы этих самых золотопогонников в двадцатом под Перекопом на штыки поднимали. А теперь опять — ваше благородие? Не-е пойдет, не-е пойдет...

Но мы почему-то были довольны. Может быть, потому, что золотопогонников тех и в глаза не видели, не застали. Они ушли в историю, как мамонты и саблезубые тигры. Что мы знали о русском офицерстве? В голове вертелась одна опереточная бутафория — разные там кивера с султанами, гусарские ментики, георгиевские темляки на палашах кирасиров и непременная мазурка...

Вечером в красном уголке капитан Грачев проводил беседу о новых знаках различия. На стене висел цветной плакат с образцами погон и петлиц личного состава всех родов войск. Это впечатляло и внушало уважение к вековым традициям русской армии, преемниками которой мы вправе были себя считать. В отличие от дяди Жоры заместитель командира батальона по политчасти увязывал это не с белогвардейщиной, а с Отечественной войной восьмьсот двенадцатого года, с первой обороной Севастополя, с героями Шипки и Порт-Артура.

Зашли на огонек лейтенант Абубакиров и командир роты. Когда закончилась беседа и начались общие разговоры о подвигах, о бесстрашии и трусости, наш бывший взводный не утерпел и вступил в спор:

— О чем вы толкуете? Природные качества, приобретенные качества... Все это чепуха. Героями не рождаются. Больше того, человек, лишенный страха, это ущербный человек. Отсутствие его такой же порок, как врожденная глухота. Страх — это естественный сигнал об опасности, он призван мобилизовать сознание и защитные силы организма. Не верьте, что есть такие люди, которые без малейшего душевного колебания отрываются от земли, чтобы под пулями идти в атаку.

— А воля? — спросил Юрка Васильев.

— Об этом-то я и говорю. Воля — мощнейшее оружие человека. С ее помощью он может частично подавить страх, сделать так, что никто из окружающих не заметит дрожи в его коленках. Он в нужный момент поднимется, чтобы повести за собой отделение, взвод, роту. О таком мы обычно говорим — смелый, отчаянный. Но боится он ничуть не меньше того, кто остался лежать на дне окопа, обхватив голову руками. И в этом еще большая его заслуга, в этом, я бы сказал, особое величие человека. Короче, один преодолел свою природу, врожденный инстинкт самосохранения, а другой нет. Великая вещь — преодоление!

— А что же такое боевой порыв? — спросил Юрка. — Все робеют, но бегут?

— Именно так: робеют, но бегут. Просто в определенный момент их увлекает азарт боя, близость конкретной цели и святое чувство локтя. Вам как будущим командирам надо знать психологию солдата, чтобы научиться управлять им в сложных условиях современного боя...

Но младший лейтенант Зеленский, насколько я успел заметить, мало интересуется вопросами психологии. Он прямолинеен, как штык. Верит только в физическую закалку и умение выполнять приказы. Иногда кажется, что он поставил перед собой задачу выжать из нас на занятиях все соки. Мы передвигаемся перебежками, разворачиваемся в цепь, где у каждого должно быть строго определенное место, и с примкнутыми штыками атакуем воображаемого противника. И так до тех пор, пока наши нижние рубахи не становятся мокрыми.

Чтобы усложнить занятия, командир взвода периодически заставляет нас осуществлять тактические маневры в противогазах. Иногда это выше человеческих сил, и без того легким не хватает воздуха, а Зеленский еще требует от нас осмысленности и любви к делу:

— Это не сердце девушки. Заставить вас полюбить военное ремесло, полюбить оружие в наших силах.

Мокрые как мыши, мы стоим на зимнем ветру, выслушивая его пространные замечания.

— Кто там поднял воротник? — вглядывается он в строй. — Соломоник? Может быть, прикажете подать вам меховую горжетку, чтоб горлышко не застудили? Товарищи курсанты, вы напоминаете солдат наполеоновской армии в дни бесславного отступления от Москвы. Где осанка, где гордо вздернутый подбородок? Старик Кутузов говорил: придет зима, настанут выюги и морозы — вам ли бояться их, дети Севера... — Он достает карманные часы с двумя крышками и, убедившись, что времени еще достаточно, командует: — Надеть противогазы. Ложись! По-пластунски вперед, марш!

Младший лейтенант легко, с пружинистым прискоком идет позади и подает лаконичные реплики:

— Брильянт, ниже голову, ниже! Сорокин, не выпячивайте сахарницу, не то схлопочете пулю. Неловко будет, когда ваши дети начнут спрашивать: «Папа, куда тебя ранило?»

— Не могу, братцы, вот честное комсомольское, — гудит под резиновой маской Володька Брильянт. — Сейчас кончусь...

— Ш-ш-ш, дурень, ушись у меня, — со странным шипением отвечает Сорокин. — Не шешись, отверни трубку, и делу конеш.

А мы все ползем и ползем. Перед глазами, как следы трассирующих пуль, мелькают разноцветные искры.

— Встать! В атаку бегом, марш!

Мы вскакиваем и бежим, спотыкаясь, к заброшенной станционной водокачке с растрепанным гнездом аиста на крыше. У Брильянта на бегу выскакивает из противогазной сумки нижний конец дыхательной трубки, которую он только что по совету Сорокина отвинтил от металлической коробки. Прорезиненная трубка болтается, как змея, где-то сбоку, и Володька никак не может упрятать ее обратно в сумку.

От Зеленского такое, естественно, не может укрыться. Он останавливает нас. Мы выстраиваемся и, с трудом отдирая резину от потных лиц, стаскиваем противогазы.

Командир взвода подходит к Володьке и берет из его рук маску. Некоторое время рассматривает ее, а потом

запускает руку в противогазную сумку Брильянта. Оттуда под общий хохот он извлекает две небольшие промерзшие редьки с прилипшими к корешкам комочками земли.

Младший лейтенант не разделяет нашего веселья. Глаза его сужаются, он слегка бледнеет и вдруг, размахнувшись, сильно бьет Володьку по лицу гофрированной трубкой.

— Я из вас сделаю людей, — шепчут его побелевшие губы. — Вы у меня землю жрать будете, но научитесь выполнять команды...

После короткой паузы, вызванной всеобщим замешательством, по шеренге волной прокатывается ропот возмущения.

— Однако это ни к чему, — качает головой Блинков.

— Попридержите руки, товарищ младший лейтенант, — советует Лева Белоусов, глядя в упор на Зеленского.

Командир взвода свирепо кривит губы:

— А вы что, курсант Белоусов, может быть, хотите дать мне сдачи? Давайте, давайте, ну же...

— Обязательно дам, — спокойным голосом отвечает Левка. Даже слишком спокойным. — В первый же день, как только присвоят звание.

— Что ж, — соглашается младший лейтенант, — ждать осталось недолго. А пока антракт окончен, продолжим занятия. — Он вытягивает вперед руку: — Вон сараюшка без крыши. Два пальца левее водокачки. Там засел противник с ручным пулеметом. Его приказано атаковать и забросать гранатами. До кустов перебежками, дальше цепью бегом. — Он делает несколько шагов назад и орет с неожиданным остервенением: — Газы! Вперед марш!

Петляя, падая и вскакивая вновь, мы добегает до кустов, а потом, поднявшись в рост и направив штыки вперед, бежим к пустому сараю. Туман застилает глаза, и мы почти ничего не видим. На правом фланге цепи какое-то замешательство, несколько человек упало, будто их и вправду срезала пулеметная очередь.

Возле сарая мы останавливаемся, стягиваем противогазы, с трудом переводим дух. У Левки Белоусова на лбу вздулась синяя вена. Там, позади, еще копошатся на снегу трое наших, и мы не торопясь направляемся в их сторону.

Выясняется, что Заклепенко, Брильянт и Соломоник,

ничего не видя сквозь запотевшие стекла противогаза, угодили в старые фекальные ямы, слегка припорошенные снегом и покрытые корочкой льда, провалились чуть ли не по самые колени. От злости и обиды у Соломоника по-детски кривятся губы, а Витька, такой спокойный и уравновешенный обычно, матюгается во весь голос.

Потом мы идем к речке. Пострадавшие заходят по колени в ледяную воду и полощутся до тех пор, пока ноги не сводит судорога. Но это всего лишь первоначальная обработка. Дома придется все стирать, сушить, гладить, чтобы не осталось даже воспоминаний об этих проклятых выгребных ямах.

— Наука! — потирает руки Зеленский. — Пока не обожжешься, дуть не научишься. Для того чтобы не запотевали стекла, вам выдали специальные карандаши. Дерьмовые вы бойцы, если не умеете на деле применять свои знания...

— Лишь бы до завтра запаха не осталось, — беспокоится Витька, и я могу его понять.

Вспомнит ли об этом Заклепенко, когда осенью во главе взвода штрафников ворвется у косы Чушки на Керченскую переправу и увидит берег, обозначенный трупами вражеских и своих солдат? И трудно будет понять, кого тут побито больше. Их станут бомбить немецкие «лаптежники» — пикирующие бомбардировщики Ю-87 с обтекателями на неубирающихся шасси, и обстреливать через пролив тяжелая корпусная артиллерия.

Ему, раненному, оглушенному взрывом, придется долго лежать на сырой истолченной ракушке у самой воды, ожидая помощи. И тогда он поймет, наверное, что содержимое выгребных ям — это всего лишь органическое удобрение, невинные цветочки по сравнению со смердящими трупами и жженым толом — чудовищным смешением двух самых страшных запахов на земле, запахов смерти...

Ребята долго спорят, чем ответить на поступок Зеленского. Об этой истории у старой водокачки мы никому ни слова не говорили, и все же старшина каким-то чудом все пронюхал. Но он слишком хорошо знал уставы, чтобы критиковать старшего по званию, а потому отделался шутливым аллегорическим замечанием:

— Нэ права коза, що в лис пишла, нэ прав и вовк, що козу зъив...

И все-таки, что же нам делать? Пойти к командиру роты, к замполиту Грачеву? И то и другое отвергается сразу. Не хватало будущим офицерам плакаться и строчить доносы. Но и так оставлять... Может, посоветоваться с Абубакировым? Ему взвод верит. Это, пожалуй, подходит...

Выслушав нас, лейтенант долго молчит, потом поднимает голову:

— Начнем с того, в каком плане рассматривать вашу информацию — как официальное заявление или как разговор по душам?

— Фа-акт, как разговор, — говорит Володя Брильянт.

— У меня нет оснований, чтобы оправдать поступок вашего командира взвода. Могу только объяснить его. Попытаюсь объяснить. Мы все здесь живем в невероятном напряжении физических и духовных сил. Вы думаете, зря ваш командир роты уже полгода просится на фронт и только сегодня наконец получил положительный ответ на свой шестой рапорт? Да, старший лейтенант Мартынов предпочел передовую. Ему повезло больше остальных. — Лейтенант трет виски и долго смотрит на чернильную кляксу, посаженную писарем посреди стола. — До войны кадровых командиров учили полных два года. Перед нами задача — сделать это втрое быстрее, не проиграв в качестве подготовки. Вы понимаете, это не курсы «Выстрел», это военное училище кадровых командиров, обучающихся по ускоренной программе. Военная служба нелегка и в мирное время. Сейчас же от вас и от нас требуется втрое больше усилий. Так вот, у одного командира достает ума, сил и такта, чтобы не взорваться при виде явного разгильдяйства, сделать скидку на условия, на обстоятельства, у другого — нет. Я знаю, у младшего лейтенанта Зеленского нет никаких поводов, чтобы ненавидеть вас. Просто в нем все клокочет от нетерпения — скорее, скорее сделать из вас настоящих строевых командиров. Он как паровой котел под критическим давлением. И последнее. У младшего лейтенанта особое отношение к противогазу. Его отец испытал на себе газовую атаку немцев еще в первую мировую. Потом восемь лет до самой смерти выплевывал куски легких. Ваш командир видел все это еще мальчишкой... А теперь вы вправе поступать так, как подсказывает вам совесть.

Совесть подсказала нам молчать...

17 января наши войска после упорного боя овладели городом и крупным железнодорожным узлом Миллерово. Немецкий гарнизон города, пытавшийся вырваться из окружения, почти полностью истреблен...

Из сводки Совинформбюро

12. «ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН»

Известие о том, что старший лейтенант Мартынов отбывает на фронт, оказало на нас неожиданное действие. Мы вдруг решили, что не такой уж он и плохой. Культуры не хватало, зато был честным и даже по-своему справедливым, когда дело касалось службы. Прошел слух, что на его место приедет новый человек. Еще неизвестно, каким тот окажется...

Как-то вечером, когда мы уже вернулись с ужина, всю казарму всполошил голос дневального:

— Братва, важное сообщение по радио! Давай в красный уголок. Быстрее!

Народу в комнате набилось — не продохнешь. Многим вообще пришлось торчать за дверью. А в репродукторе серебряными колокольцами все перезванивались позывные московской радиостанции.

— Внимание, внимание! Говорит Москва... — Низкий торжественный голос, слегка дрожащий от волнения, поплыл под потолком и дребезжанием отозвался в оконных стеклах. — В последний час...

В красном уголке стояла такая тишина, что слышно было, как за тысячи километров отсюда на столе у диктора Левитана шелестит бумага.

— Сегодня, второго февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда...

От громового «ура!», словно выдохнутого единой грудью, вздрогнули стены.

— Историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск...

Ребят уже трудно было удержать... Они, как разбушевавшиеся школьники, стучали кулаками по столам, прыгали, обнимались.

— Братцы, это ведь наши там!

— Наверняка приказ будет — узнаем...

Последние слова диктора могли расслышать лишь те, кто оказался поблизости от репродуктора:

— ...всего за время боев с десятого января по второе февраля наши войска взяли в плен девяносто одну тысячу немецких солдат и офицеров...

Именно в эти дни начала февраля неожиданно подули с юга теплые ветры, и снег растаял. Но потепление не радовало нас, так как теперь на полевых занятиях мы увязали в раскисшей пашне. И хотя за день мы, казалось, выматывались до изнеможения, у нас с Витькой хватало пороху на то, чтобы по очереди продолжать свои набеги на санчасть.

Однажды, когда мы с Таней торчали в тамбуре, открылась обитая желтым дерматином дверь, и на пороге с карманным фонариком в руке возник дежурный по училищу лейтенант Абубакиров, как всегда выложенный, подтянутый и строгий. Лямка противогаза, по диагонали перехватывающая шинель на его груди, и та выглядела так, будто ее минуту назад отпаривали под утюгом.

Мне показалось, что на какое-то мгновение он растерялся. И было от чего. Обычно стерильно-чистый, накрахмаленный халатик у Тани был расстегнут, белая шапочка держалась на голове каким-то чудом, и из-под нее беспорядочно выбились на глаза растрепанные пряди темных волос. Не стану говорить, что испытывал я, но Таня... Даже при слабом свете электрического фонаря можно было увидеть, как лоб ее, щеки и уши сделались пунцово-красными. Она как-то неловко и слишком поспешно пыталась привести себя в порядок, и этим еще больше выдавала свое волнение.

— Простите, товарищ лейтенант, — растерянно бормотала Таня, теребя пуговицу на груди. — Курсант не виноват, честное слово...

Абубакиров быстро оправился от шока.

— Что вы, что вы, — ответил он с обычной обволакивающей улыбкой, — какие могут быть извинения. Кто-то, не помню, сказал, что красивой женщине многое прощается. И мужчине, если у него хороший вкус.

С этими словами Абубакиров приложил пальцы к меховой шапке и вежливо прикрыл за собой дверь.

На следующий день, зайдя в столовую, он еще издали поманил меня пальцем. Когда я приблизился, лейтенант наклонился к моему уху и шепнул по секрету:

— Курсант Абросимов, доложите командиру взвода, что я дал вам три наряда вне очереди. — Он сделал не-

большую паузу и добавил: — За недобросовестное отношение к самоподготовке.

В эти же дни у нас в роте появился наконец ее будущий командир — старший лейтенант Чижик. Он пришел в казарму в солдатской шинели, но зато с погонами! С защитными фронтовыми погонами и серебряными звездочками, над которыми мы сразу же разглядели перекрещенные стволы пушек — старинную эмблему артиллерии.

Старший лейтенант Чижик недавно выписался из госпиталя. У него был перебит какой-то важный нерв. От этого левая рука будущего командира роты не действовала и напоминала тюлений лап. Мы пронюхали, что на фронте старший лейтенант командовал батареей старых трехдюймовых «полковушек». Но он был фронтовиком и настоящим артиллеристом, а это внушало к нему особое уважение, даже несмотря на его неофицерскую внешность.

Мы привыкли к строгой военной выправке своих командиров, а Чижик был весь какой-то обмякший, вяловатый. Гимнастерка на животе у него вечно топорщилась и собиралась в складки. И лицо старшего лейтенанта, почти лишенное всякой растительности, казалось бабьим. Что он за человек, мы, конечно, не знали, но один факт нас воодушевил.

Наш ротный пес Антабка великолепно знал всех своих и, я подозреваю, способен был даже разбираться в знаках различия. А иначе как объяснить такое: стоило кому-нибудь из высокого начальства появиться в поле зрения, как он тут же без шума ретировался в свою новую конуру, которую мы построили под крыльцом с наступлением холодов. Но незнакомых людей чином пониже он всегда облаивал и до тех пор не пропускал в казарму, пока на крыльцо не выходил дневальный. Единственный из всего батальона, с кем не мог или не хотел примириться Антабка, был младший сержант Красников. При одном его виде пес слегка отворачивался, скалил зубы и негромко рычал. Так вот он, наш верный страж, встретил Чижика как старого знакомого, завилял приветственно хвостом и даже разрешил себя погладить. Это было показательным. Говорят, у собак особый нюх на злых и добрых людей.

В тот же день на вечернем построении Мартынов знакомил будущего командира с ротой. Когда старшина Пронженко закончил перекличку и была дана коман-

да «вольно», Чижи́к пробежал взглядом строй, словно отыскивая кого-то среди нас, а потом спросил:

— Абросимов, это кто?

— Абросимов, выйть з строю! — скомандовал старшина.

Я стукнул по плечу стоящего впереди, а когда он уступил мне дорогу, сделал три шага вперед и четко повернулся кругом.

— Вы откуда призывались в армию? — спросил Чижи́к, разглядывая меня сбоку.

— Из Джембула, товарищ старший лейтенант, — гаркнул я так громко, что тот вздрогнул.

— Эх, дела-делишки, не то, — вздохнул Чижи́к, покачав головой. — А жаль... Можете стать в строй.

Эти вопросы почему-то вдруг разволновали меня. Спрашивать, что вызвало у него интерес к моей скромной особе, было неудобно, к тому же сразу после построения они с Мартыновым ушли из казармы. Но я все время думал об этом и долго не мог заснуть.

А через день наша рота выехала на боевые стрельбы из миномета. Для полигона выбрали участок неспаханного поля, где было поменьше грязи. Минометы расположили в естественном укрытии у обратного ската пологого холма. Это были первые стрельбы боевыми минами, и поэтому для облегчения подготовки исходных данных наблюдательный пункт не стали смещать в сторону, а оборудовали на вершине холма в створе с целью. «Пусть привыкнут, пусть обстреляются», — сказал Мартынов.

На разном удалении от НП были расставлены фанерные макеты орудий и пулеметных гнезд. Подготовкой данных для стрельбы занимались по очереди курсанты и, естественно, под бдительным присмотром своих опытных наставников. А начальства собралось тут немало. От командира батальона до младшего лейтенанта Зеленского.

День выдался теплый и пасмурный, но иногда в разрывах туч прорывался к земле огненный столб света, и поле в этом месте сразу же оживало, слюденисто поблескивали свежие лужицы, и над комьями земли у обочины полевой дороги начинал куриться тонкий прозрачный парок.

По алфавиту первому готовить данные для стрельбы выпала честь мне. В этом вечное преимущество и вечный недостаток фамилии Абросимов. Контроль за

моими действиями был поручен бывалому артиллеристу старшему лейтенанту Чижику. Кроме нас двоих, на наблюдательном пункте был Сашка Блинков — ответственный за связь. А связь с огневой позицией была наипростейшей: команды передавались по цепочке. Десять курсантов залегли на расстоянии метров тридцати друг от друга, чтобы дублировать команды стреляющего командира, то есть мои.

На огневой, помимо боевых расчетов, находились и командир батальона, и адъютант старший, и даже старшина Пронженко. Остальную часть курсантов увели в укрытие, и только группа командиров взводов да старший лейтенант Мартынов, еще не окончательно передавший дела Чижику, с биноклями в руках пристроились у сырой скирды чуть ниже и впереди наблюдательного пункта. Участия в стрельбах они не принимали. Для них это тоже был своего рода экзамен.

Я был уверен, что подготовка данных без учета смещения НП оказалась бы по силам любому третьекласснику. После того как мы определили расстояние до цели, на подготовку не ушло и минуты. Я передавал Чижику установки угломера, прицела и количество дополнительных зарядов, а он, поглядывая на буссоль, перепроверял меня и заносил данные в записную книжку.

При стрельбе приняты команды: «Заряд первый, второй, третий...» Чем больше количество дополнительных зарядов, тем дальше летит мина. По моим расчетам, требовался заряд третий. И старший лейтенант через Сашку передал эти сведения на огневую. Команды, как замирающее эхо, побежали по цепочке. Но в последний момент укоренившаяся артиллерийская привычка взяла над Чижиком верх, и он вместо «Одна мина» скомандовал: «Один снаряд» и следом после короткой паузы волнуемое: «Огонь!»

Существует с давних пор детская игра в «испорченный телефон», когда фраза, переданная невнятным шепотом на ухо, по цепочке часто доходит до конца в невероятно искаженном виде. Тот, кто допустил ошибку, не расслышал, отдает фантик.

Примерно то же самое произошло и у нас. Слово «снаряд» отсутствует в лексиконе минометчиков, и поэтому курсант Радченко воспринял его по созвучию как «заряд», совершенно не вдумываясь в смысл.

— Один заряд! — передал он, хотя, конечно же, знал, что такой команды не существует. Но что

делать, здесь он поставлен не рассуждать, а транслировать.

— Один заряд!

— Один заряд! — покатилося дальше, пока не споткнулось о Юрку Васильева.

У Васильева было «отлично» по артстрелковой, и такой вопиющей безграмотности он допустить не мог. Поэтому Юрка тут же решил внести исправление, отредактировать команду и передал:

— Заряд первый!

Старший на огневой, видимо, пожал плечами и приказал срочно убрать лишние дополнительные заряды — небольшие пакетики, вставленные в пазы оперения мины. И тут докатилась команда: «Огонь!»

Мы на НП смотрели во все глаза, надеясь понаблюдать за полетом мины — обычно ее бывает хорошо видно — и послушать характерный шелест. А мне еще надо было засечь место разрыва. Только на этот раз мы не успели ничего ни увидеть, ни услышать.

Прямо впереди нас, возле скирды, где на переднем склоне холма расположилась с биноклями группа командиров, ахнула мина, разметав по сторонам комья земли, и облако горчичного дыма повисло над полем.

Прежде чем самому пригнуться, я успел заметить, как плюхнулись, растянувшись на животе, Мартынов, Зеленский и все остальные. Дымок уже рассеялся, а они все еще продолжали лежать, словно приклеенные к земле. Я думаю, они изрядно перетрусили в эту минуту от неожиданности, и только командир роты, сняв шапку и вытирая мокрый лоб, заржал во все горло:

— Ну молодцы! Ну сработали! Трубка пять — по своим опять? Ладно, не тушуйтесь. Если не на ошибках учиться, то на чем же еще...

На НП прибежали перепуганные комбат и Абубакиров. Долго искали причину ошибки, даже просмотрели записи и мои и Чижики. Виноватых нашли, конечно. С Васильева и Радченко причиталось по фантику...

А пока надо было продолжать стрельбы.

После учений я подошел к Чижику. Мне показалось, что он до сих пор переживает случившееся.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?

— Да, — ответил он рассеянно. — Я слушаю вас.

— Почему вы спросили вчера, откуда я призывался в армию?

— А-а, вот вы о чем, — улыбнулся старший лейтенант. — Просто маленькая промашка. Такие вот дела-делишки. Фамилия ваша хоть и нечасто встречается, но однофамильцы у каждого есть. Мне уже доводилось знать одного Абросимова.

— Когда? — вырвалось у меня.

— А прошлой осенью. На фронте.

— Его не Михаилом звали? — с надеждой спросил я.

— Может, и Михаилом. В армии, знаете, у командиров из старичков не принято обращаться по имени. Все больше по званию да по фамилии... Только тот Абросимов был не из этих мест, а откуда-то из Центральной России.

— Так ведь и я тоже жил под Москвой, в Калинин. В Джамбул я уехал после того, как отец ушел в армию. Надо было кончать школу.

— Так-так, — проговорил он, и в его глазах появилась заинтересованность. — А где воевал ваш отец, не знаете?

— На Западном. Последнее письмо пришло от него из Орши. Он бросил его прямо на станции. Я тогда еще в городе оставался, — говорил я сбивчиво и сумбурно. — Отец у меня старший лейтенант...

— Сапер?

— Сапер! — почти крикнул я, подавшись вперед всем телом.

— Лысый такой, да? Высокий.

— Ну не такой уж лысый, — обиделся я за отца, — но волосы действительно редкие, особенно спереди.

— Ты смотри! — потрянул, как тряпкой, раненой рукой Чижики. — Вот так дела-делишки. Пока все сходится — и сапер, и старший лейтенант, и сын у него был...

— Почему был? — растерянно проговорил я, чувствуя, как внутри все холодеет.

— Вы не так поняли, — поспешил он успокоить меня.

— Так он жив, скажите? — молил я его глазами, боясь, что сейчас все оборвется, окажется очередной ошибкой «испорченного телефона».

— Думаю, жив. Скорее всего именно так.

— Но почему же от него никаких вестей? Уже полтора года!

— А вы не спешите, послушайте лучше, — сказал

Чижик и дотронулся до моего плеча. — Я войну встретил на польской границе в Западном Особом военном округе. Под Барановичами в окружение попали. Кое-как прорвались с остатками стрелкового батальона. Немцы уже Минск заняли. Так нам пришлось его с севера обходить. Шли лесными тропами, главным образом ночью. Уже перед самой Березиной встретили большую группу бойцов и командиров. Они также пробивались по тылам. Были среди них и саперы. Именно тогда я и познакомился со старшим лейтенантом Абросимовым...

— А потом?

— Что потом? — засмеялся Чижик, и безбородое лицо его покрылось сеточкой трещин, как старая резиновая грелка. — Потом долго советовались, то ли к своим пробиваться через линию фронта, то ли партизан искать. Выбрали первый вариант. Шли на восток больше месяца. Как шли, говорить не буду, и так понятно. Но форсировать Днепр на виду у немцев таким большим числом людей было рискованно — боеприпасов у нас почти не оставалось, и мы разделились на две группы. Абросимов с другой группой ушел. На юг. Больше мы не виделись. Если они не смогли тогда переправиться, то позже наверняка встретились с белорусскими партизанами.

— Но ведь и оттуда можно присылать письма, — с сомнением заметил я.

— Связь со многими партизанскими группами до сих пор затруднена. Там, брат, не до писем. Радисты не в каждой группе есть.

— А как вы расстались? — спросил я, все больше волнуясь, щеки мои горели. — Он ничего не говорил?

— А чего тут скажешь? Хлопнули друг друга по рукам, и все. Только и сказал, помнится: «Ну, будь!»

Забыв про чины и должности, я схватил его за плечи.

— Это его слово! — крикнул я, задохнувшись. — Товарищ старший лейтенант, это мой отец!

12 февраля на Кубани наши войска в результате решительной атаки овладели городом Краснодар, а также заняли районный центр и железнодорожный узел Тимашевская, районные центры и железнодорожные станции Роговская, Динская, Новотитаровская, районный центр Тохтамукай.

Из сводки Совинформбюро

13. ГАРНИЗОННАЯ СЛУЖБА

В училище пришло пополнение. Среди вновь прибывших много киргизов и казахов. Для них тут все начинается с нулевой отметки. Я с содроганием представляю, что было бы, если бы меня заставили пройти через все это снова. Душой мы уже не здесь, а на фронте.

Иногда я даю волю мечтам и рисую совершенно невероятные, фантастические картины.

Я представляю, будто наша дивизия прорывает фронт где-то в белорусских лесах. Нас встречают народные мстители — партизаны. Они обвешаны трофейным оружием. От них пахнет дымом костров и хвойными ветками. И вдруг среди них я узнаю отца. В разодранной телогрейке, со «шмайсером» на груди. Мы бросаемся навстречу друг другу...

А в воздухе уже чувствовалось приближение весны. Хвостами сказочных белых птиц распускались в небе перистые облака. Все вокруг начинало обретать острые, волнующие запахи, и шальная кровь стремительнее неслась по жилам.

Все это время младший лейтенант Зеленский выглядел каким-то настороженным. Я думаю, он ждал от нас ответной пакости и был несколько обескуражен оттого, что мы уступили ему ход и не стали жаловаться.

Когда настала очередь нашей роте идти в распоряжение коменданта города на патрулирование улиц, и взвод построился с оружием у казармы, младший лейтенант неожиданно обратился к нам с короткой речью:

— Я не умею носить камень за пазухой. Хочу, чтобы все было честно и откровенно. Тогда, на занятиях у водокачки, я был не прав. — Лицо командира взвода было бледнее обычного, он заметно волновался. — Сейчас я перед всем взводом приношу свои извинения Брильянту и всем остальным курсантам, кого это касается. — Я представляю, каких усилий стоило ему переломить свою гордость. За это его стоило уважать.

— Вы вправе спросить, почему я не сделал этого раньше, полтора месяца тому назад. Правильно. Но тогда вы могли бы подумать, что я испугался ответственности, наказания. Мои извинения тогда приобретали бы другой, скверный оттенок. — Он поднял голову, и обычная чуть надменная усмешка тронула его губы. — А я ничего не боюсь и хочу, чтобы вы это знали. А теперь — смирно! На пле-е-чо! Шаго-ом марш!

Мы втроем — Сашка, Витька и я — несем патрульную службу на вокзале. Нам дано право останавливать любого, кто покажется подозрительным, и проверять у него документы. Если документов у человека не будет, мы обязаны препроводить его в комендатуру.

Хотя население предупреждено, что паспорта и военные билеты необходимо постоянно носить с собой, нам удастся вылавливать нарушителей.

Смущенный, растерянный человек начинает трясушимися руками обшаривать свои карманы, пожимать плечами, бормотать что-то себе под нос. Опасаться за свое будущее оснований у него нет. Рано или поздно личность его будет установлена, и, если он не дезертир и не жулик, его преспокойно отпустят, восвояси, лишь для острастки, возможно, наложат небольшой штраф. И все-таки человек мечется, уговаривает нас, предлагает отвести домой, где у него есть все необходимые документы. Но наш старший патрульный Блинков непреклонен. Приказ есть приказ, и мы под конвоем ведем сгорающего от стыда горожанина по родным улицам, а прохожие, кто сочувственно, кто со злорадством, смотрят ему вслед.

— Шпиёна пымали, — говорит какая-то явно эвакуированная старушка и крестится. — Ишь куды вмазался, анчихрист...

Понемногу Сашка упивается своей властью. В этот момент мы вершим суд и расправу, решаем если не судьбу человека, то его ближайшее будущее. Пусть всего на сутки вперед, но и это не так уж мало. Иногда мне становится жаль очередной жертвы:

— А может, и правда, отведем домой, это же ближе, чем топтать через весь город в комендатуру?

Но Сашка уже вошел в роль, и остановить его трудно. По-моему, он просто играет в какую-то военную игру, хотя сам боится признаться себе в этом...

Через месяц с лишним Сашка примет взвод, в котором подавляющее большинство будут составлять старики. Он даже растеряется, как же воевать с такими, когда из них песок сыплется. Сашка все время будет ловить себя на мысли, что ему хочется назвать своего солдата «папашей». Но опасения окажутся напрасными; и старики не подведут. Конечно, получаться у них все будет не так скоро, как у молодых, зато обстоятельнее и наверняка.

А осенью будет десант в Керчь, бои за плацдарм на

крымской земле и первый приют в Аджимушкайских катакомбах. С простреленным плечом он не уйдет из боя. Он еще поднимется по грудам битого кирпича и штукатурки на второй этаж полуразрушенного дома, где будет расположен наблюдательный пункт батальона морской пехоты. От едкой известковой пыли станет щеко-тать в носу. Где-то неподалеку будут рваться тяжелые мины, а совсем рядом с ним, на стопке сложенных кирпичей, зуммерить полевой телефон. Здесь, у оконного проема, его найдет острый осколок, горячий, как капля солнечной материи. Он попадет ему в самый зрачок, этот крошечный кусочек металла величиной со спичечную головку. И в тот момент моему другу покажется, что в глазу его разорвалась шаровая молния, способная испепелить, расплавить, превратить в пар его мозг, тело, все его существо...

Но сейчас мы расхаживаем по длинному перрону, а люди смотрят на нас с уважением и опаской. После разговора со старшим лейтенантом Чижигом я непрерывно думаю об отце, о странном переплетении человеческих судеб. Мне приятно, что в роте к Чижику относятся с уважением.

Когда служба наша уже подходила к концу, у облупившегося газетного киоска, некогда покрашенного в веселый голубой цвет, я увидел девушку с двумя огромными чемоданами. У нее было нежное лицо с теплыми карими глазами, в которых я почувствовал растерянность и смятение. На девушке красовался синий берет, длинная коса была переброшена на грудь.

Не знаю, почему я остановился. Может быть, выражение детской беспомощности было воспринято мною как просьба о помощи...

— Ты, однако, погляди, — сказал наш помкомвзвода, кивнув в мою сторону, — вот это стойка! Сразу чувствуется порода. Глянь, шея вытянута, одна нога согнута в коленке, хвост, как струна...

— Трепло, — отвечаю я. — Не видишь, девчонке требуется помощь.

— Ну что ж, помогай, коли есть охота, — ухмыляется он.

— Давайте подойдем вместе.

Все втроем мы приближаемся к незнакомке.

— Проверка документов, — сухо объявил Сашка, поправляя красную повязку на рукаве.

Девушка пожала плечами и полезла во внутренний

карман пальто. Она достала паспорт и какие-то бумажки. Лицо ее слегка покраснело. Я давно заметил, что человек всегда краснеет, когда на людях у него слишком внимательно проверяют документы. Но паспорт Сашка даже не раскрыл.

— Фамилия? — спросил он.

— Там же все написано...

— Мало ли что. Мое дело спрашивать, ваше отвечать.

— Румянцева моя фамилия.

— Зовут?

— Валентина... Валентина Андриановна.

— Замужем?

— Да вы что, молодой человек...

— Издалека едете?

— Сейчас из Ташкента, а что?

— Да ничего. Цель приезда?

— Тут наш институт физкультуры. Эвакуированный из Ленинграда. Институт имени Лесгафта, может быть, слышали? Я на втором курсе. Пойдите, товарищи, а за кого вы меня принимаете?

— Не сердитесь, Валентина Андриановна, — шаркнул ногой Сашка, — это не проверка. Просто мой друг Женья Абросимов очень хотел познакомиться с вами и не знал, как это сделать.

— Не обращайтесь внимания на нашего начальника, — сказал я. — Власть портит человека, лишает гибкости ума и такта.

— Эх ты, — укоризненно покачал головой Сашка, — тактичный человек начал бы с того, что предложил поднести вещи.

Я попытался поднять один чемодан. Он был как конторский несгораемый шкаф с ручкой.

— Что у вас там? — удивился я.

— Книги, — засмеялась она. — В основном только книги.

— Никогда не думал, что мысли так много тянут, — изрек Витька, пробуя оторвать от земли второй чемодан. Он поставил его на место, шмыгнул носом и подтянул локтями штаны.

— А ведь я действительно не представляла, как добраться до общежития, — улыбнулась она облегченно. — Города не знаю, вещи тяжелые — не подтащишь. И оставить страшно. На вокзалах шпаны всякой развелось, ужас.

— С нами вы в безопасности, — заверил Сашка. — Если кто полезет, Женька стрельнет. Он у нас, однако, на сто шагов в червового туза... не попадает. Ну так как? — обратился к нам старший патрульный. — Поднесем девушке вещички?

— А как? — спросил Витька и похлопал по прикладу карабина.

— Все учить надо? Очень просто, в левую руку оружие, в правую чемодан. Я сзади с карабином на изготовку. Пусть думают, что хотят. Другого пути, однако, нет.

— Тогда вперед! — сказал Витька.

И мы двинулись. Ныло плечо, чемодан оттягивал руку, подросшие волосы вспотели под шапкой. Ведь мы уже начали заводить прически. А тут надо было показывать себя и ловким и сильным. Встречные перебрасывались короткими репликами:

— Ого, попалась пташечка! Спекулянтка, это точно.

— Чемоданы-то по два пуда. Не иначе — мука...

— Какая там мука. Соль!

— Подумать, такая молоденькая...

Кое-как доволокли мы эти проклятые чемоданы до общежития. Слава богу, искать не пришлось. Адрес был точный, и улицу эту мы знали. Возле общежития распрощались. Странно, но даже теперь, когда Валя была уже, можно сказать, на месте, выражение незащищенности не исчезло с ее лица. И губы у нее были такие детские...

— Спасибо вам, ребята, — сказала она, пожимая каждому из нас руки. Пальцы у нее были холодными. — Не знаю, что бы я делала без вас, честное слово.

— Я оставляю координаты, — сказал Сашка, — и, если вы захотите кого-нибудь из нас увидеть, приходите вечером к проходной. За нами пошлют.

Он записал на листке улицу и перечислил нас по очереди, начав, разумеется, со своей фамилии. Меня это все ничуть не волновало, но важен был принцип. Мало того, что он влез не по алфавиту, так еще дважды подчеркнул себя жирной чертой...

На следующий день, когда мы сидели за ужином, ко мне подошел кто-то из курсантов второго взвода, который раньше нас покончил с вечерней трапезой, и объявил во всеуслышание:

— Абросимов, дуй на проходную. Там тебя спраши-

вает девчонка. Коса вот такой толщины. — И он двумя руками обхватил свою ногу выше коленки...

15 марта наши войска после многодневных и ожесточенных боев по приказу Командования эвакуировали город Харьков.

Из сводки Совинформбюро

14. САМОВОЛКА

Над городом кружились розовые лепестки отцветающего урюка. В стеклянно-прозрачном воздухе распространялась терпкая горечь проснувшихся тополей. А клены на улице Великого акына были сплошь усыпаны карминными шариками лопающихся почек. Весна, пробуждающая все живое, вызвала бурное сокодвижение и в наших сосудах. Мы подолгу не могли уснуть, ворочаясь с боку на бок.

Неудивительно, что днем многих клонило ко сну. Теперь нас не очень контролировали, и кое-кому удавалось пофилонить даже в часы занятий. Прибывших новичков распределили по стрелковым батальонам. У нас пополнения до сих пор не было.

Та часть казармы, где прежде располагалась вторая рота, была чуть ли не до половины завалена стянутыми с коек матрасами. Иногда в них зарывался Сеня Голубь и, спеша воспользоваться последней возможностью, изо всех сил накапливал энергию. Как-то за этим занятием застал его старший сержант Басалаев, тот самый, что таскал на себе плиту полкового миномета. Сначала он хотел разбудить Сеньку и устроить ему хорошую накачку, но вид у того был настолько безмятежный, что Басалаев не выдержал, невольно зевнул, потянулся до хруста в суставах, зайдя с другой стороны, залез в самую кучу матрасов и уснул богатырским сном.

А тут, как назло, со всей своей свитой появился подполковник Лисский. Дежурный доложил по форме, что рота находится на занятиях. Начальник училища с обычной придирчивостью стал осматривать казарму, как вдруг увидел неимоверной величины ботинки, торчащие из-под матрасов где-то под самым потолком.

— Что это? — спросил подполковник. — А ну-ка, давайте сюда эти скороходы.

Дежурный полез наверх и потянул Басалаева за ногу, но тот только лягнул его, всем своим поведением показывая, чтобы его не беспокоили. И тут подполковник так рывкнул, что старший сержант скатился вниз, словно на салазках. Он стоял перед начальником училища в натянутой на уши пилотке, в опавших обмотках, в наброшенной на плечи шинели с отстегнутым хлястиком и очумело таращил глаза.

— Разгильдяй! — бушевал подполковник. — Филон, чертов лацюга! — Жаль, что мы так и не узнали истинного смысла этого слова. — На фронт дармоеда! Марш с моих глаз!

Мы как раз выходили из класса на перекур и видели, как здоровенный Басалаев, пригнув голову, точно собираясь кого-то забодать, кинулся прочь, и только топот раздавался в мертвой тишине казармы...

Именно в эти дни по училищу распространился слух, будто наконец пришел приказ о присвоении нам воинских званий. Откуда могли просочиться подобные сведения, сказать трудно, но в их достоверности никто не сомневался.

Все понимали, что у командования есть серьезные причины скрывать от нас до поры этот знаменательный факт. Если приказ был, но не было разнарядки для отправки нас в действующую армию, это грозило нежелательными последствиями. Попробуй удержать на казарменном положении сотню молодых, изнывающих от безделья лейтенантов. Ведь программа практически была исчерпана, и занятия проводились уже чисто формально по принципу: повторение — мать учения. Все в этих слухах было правдоподобно и убедительно.

За восемь месяцев нас буквально нашпиговали знаниями. Хоть буди среди ночи. Многие мы не только знали, но и умели применять на практике. От будущих командиров требовали военной грамотности и профессионализма. Конечно же, это не могло не утвердить в нас чувства самоуважения, тем более что достигнуто все было нелегким трудом...

Впоследствии я нередко задавал себе вопрос: что дало мне время, проведенное в училище? Как оно отразилось на моей фронтовой судьбе, на моем характере? Казалось бы, каким только влияниям не подвергался я позже, но то, что было заложено в течение тех восьми месяцев, сохранилось на всю жизнь. И все-таки из качеств, унаследованных мною от бывших моих команди-

ров, я выше всего ставлю умение подчиняться слову «надо» и в нужный момент выкладываться до предела.

На фронте мне повезло — я попал в артиллерию, о которой в шутку говорили: ствол длинный — жизнь короткая. Гвардейский истребительный противотанковый полк, где мне поначалу довелось командовать взводом, считался отдельной армейской частью. Командование попеременно придавало его то одному, то другому соединению. Чаще же всего полк «разбирали» подивизионно.

Те, кому пришлось воевать на Кубани весной сорок третьего, наверняка помнят, какие дожди лили в течение апреля, когда развернулось наше наступление по всему фронту. Поймы рек Абин, Адагум и их притоков превратились в непроходимые болота. Колеса орудий и повозок со снарядами вязли в липкой, раскисшей глине. О машинах и говорить нечего.

Батареи наши были вооружены в основном 76-миллиметровыми дивизионными пушками ЗИС-3, которые для артиллеристов были столь же дороги, как для сердца танкиста прославленная «тридцатьчетверка».

Незадолго до этого полк перешел на механическую тягу, и многие не без сожаления вспоминали верных лошадок, которые не единожды выручали людей в самых сложных ситуациях. Теперь же, когда тягачи увязали в раскисшем грунте, расчетам приходилось впрягаться в лямки и буквально на себе тянуть по грязи орудия весом в тысячу двести килограммов. Иногда нам помогала пехота, но чаще обходились своими силами...

В тот день, как и накануне, погода продолжала оставаться нелетной, немецкая авиация нас не тревожила. Однако мы были настолько измотаны, что совершенно не думали о ней. А командир дивизиона все торопил: давай-давай! Надо было догонять ушедшую вперед пехоту. В ход шли ветки кустарника и доски, кое-где уцелевшие на крышах токов и амбаров. Все это бросалось под колеса, чтобы протащить пушку вперед еще на десять-пятнадцать метров. Шинели набухли от влаги и стали тяжелыми, как средневековые доспехи.

Положение наше было нелегким. Общевоинские части требовали поддержки огнем, а гаубичная артиллерия безнадежно отстала из-за бездорожья. Мы были единственными, кто оказался под рукой и на кого в трудный момент могли рассчитывать.

Второй дивизион гвардии капитана Русинова насту-

пал в полосу вероятного появления вражеских танков. Наш боекомплект состоял главным образом из бронебойных и подкалиберных снарядов, и поддержать наступление стрелковых частей артиллеристы практически были не в силах.

Во второй половине дня мы выбрались наконец из низины. Колеса уже не вязли так сильно, но люди дошли до такого состояния, что, казалось, не смогут сделать больше ни одного шага. Мною начало овладевать тихое отчаяние. Колени дрожали от напряжения, спину разламывало, а кожу на ладонях саднило от жестких лямок. И вдруг в эту минуту мне представился мой бывший командир, идущий впереди колонны курсантов. Я вскочил с мокрой кочки, даже не догадываясь, откуда взялись силы, и схватился за ремни:

— А ну, навались дружно, с горки она сама пойдет...

Командиры орудий с сомнением качали головами, но, видя мое рвение, молча первыми впрягались в орудия.

К вечеру мы получили приказ окапываться. Стало известно, что соседей справа контратаковало около двадцати танков. Там грохотал бой. Трескотня автоматов, взрывы гранат и снарядов сливались с громом орудийной стрельбы. Судя по всему, на соседнем участке всю работу первый дивизион нашего полка.

Мы заняли оборону на танкоопасном направлении, и поэтому от нас требовалась хорошая маскировка. Сквозь кисею дождя невдалеке виднелись какие-то постройки, похожие на колхозную ферму. Там запоздало, но буйно цвела раскидистая груша. Казалось, опустилось и стало на прикол легкое белое облако.

Мы намечали ориентиры и расчищали секторы обстрелов, а потом вгрызались в землю весь остаток дня до глубокой ночи. К этому времени опустился настолько густой туман, что в двух шагах ничего не было видно. Когда в первом часу ночи капитан Русинов вызвал к себе командиров батарей и взводов, мы добирались на командный пункт чуть ли не ощупью.

В наскоро оборудованном блиндаже чадила коптилка из сплюсненной гильзы 57-миллиметрового снаряда. По необшитым стенкам с шорохом осыпалась земля. Капитан был кадровым командиром довоенной школы. Невысокий и сухощавый, он в любой обстановке умудрялся сохранять хладнокровие и умение лаконично излагать свои мысли.

— Товарищи командиры, к утру нас обеспечат осколочно-фугасной гранатой. Будем поддерживать матушку-пехоту.

— А как же маскировка? — спросил кто-то.

— Раньше десяти утра туман не поднимется.

— Но ведь наводчик не увидит даже дульного тормоза, а фонарей у нас нет, — заметил мой командир батареи. — Да и расчеты наши плохо подготовлены для стрельбы из закрытых позиций.

— Это не разговор. Стреляем по карте с сокращенной подготовкой. Укатала вас, братцы, прямая наводка, как я погляжу. Вам не из пушек, а из рогаток впору стрелять. До утра есть время. — Он обвел нас усталым взглядом из-под нахмуренных бровей и остановился на мне: — Тут у нас недавние выпускники. Лейтенант Абросимов, например. У него все свежо в памяти. Пусть соберет наводчиков и командиров орудий да позанимается с буссолью и панорамой часика три-четыре... А сейчас, комбат-один, слушайте боевую задачу. Как только поднесут снаряды, сразу же выдвигайтесь вперед для корректировки огня. Возьмете с собой слепую карту из новых...

Под «слепой» Русинов подразумевал полукилометровку, на которой не были нанесены наши боевые порядки и огневые позиции дивизиона.

Из-за переутомления голова была тяжелой. Где он, тот передний край, где свои, где немцы? Поди разберись в такой туман.

— Прошу развернуть карты, — продолжал Русинов. — Наиболее вероятно скопление противника в квадратах десять и одиннадцать. Для пристрелки необходимо выбрать надежные ориентиры. — Он снял наручные часы и положил на снарядный ящик. — А теперь, если нет вопросов, прошу сверить время.

Мне безумно хотелось спать. Все тело ныло от усталости. Но было слово «надо», великое слово, обретавшее на фронте силу закона. Скромный опыт, полученный в училище, подсказывал мне, что израсходован лишь основной запас сил, а внутренние резервы, которыми располагает любой человек, еще не тронуты. Надо пересилить, надо заставить себя...

Занятия пришлось проводить в полумраке блиндажа, куда набилась уйма народу. Мне хотелось говорить недлинно и толково. И вдруг я понял, что помимо воли пользуюсь теми же приемами для объяснения и даже

оборотами речи, какие слышал в свое время от лейтенанта Абубакирова.

— Сейчас все зависит от точности, — убеждал я ребят. — Точно расставить вехи, точно установить угломер и прицел, устранить влияние «мертвого хода» прицельных приспособлений и деления подводить к указателю всегда с одной и той же стороны. А командирам орудий проверить надежность крепления сошников, чтобы пушки не прыгали и не сдавали назад после каждого выстрела...

В пятом часу утра я вышел из блиндажа на воздух. Светало, туман заметно поредел. От духоты и напряжения меня слегка покачивало — кружилась голова, а глаза, казалось, были засыпаны песком.

Невдалеке слышались приглушенные туманом голоса и позвякивание металла. Я пошел на шум. Навстречу мне по мокрой тропинке двигались странные бесплотные тени с тяжелой поклажей. У одних мешки были брошены за спину, другие несли их перед собой. Сейчас люди казались серыми, все на одно лицо.

Когда шедшие впереди поравнялись со мной, я с ужасом обнаружил, что это просто усталые женщины — старые и молодые, обутые в разбитые, облепленные грязью сапоги, закутанные в платки и ветхие полушалки. В мешках каждая из них тащила по два снаряда. Наверное, это были работницы расположенного поблизости табаксовхоза, на днях освобожденного нашими войсками. До совхоза еще можно было добраться машинами, а дальше дорог просто не существовало. Вот и вызвались женщины подносить снаряды на огневую. Надо!

В начале восьмого мой командир батареи и старший сержант из связи, еще не успевший сменить треугольнички в петлицах на погоны, прихватив автоматы и одну из недавно полученных портативных радиостанций РБС, пошли на запад и тут же растворились в тумане. Через сорок минут они сообщили, что поднимаются на какую-то возвышенность. Нашей передовой не заметили. Либо не дошли, либо уже проскочили. При такой видимости — ничего хитрого.

Потом связь с ними надолго прервалась. Напряжение росло, хотя и тревожиться всерьез мы не имели оснований. Это были знающие, испытанные люди. Кроме того, их трофейные маскировочные костюмы с капюшонами, камуфлированные зелеными и бурыми раз-

водами, удачно подходили под общий тон местности. Заметив наблюдателей на расстоянии, немцы свободно могли принять их за своих.

К тому времени туман начал окончательно рассеиваться, моросью оседая на землю. Наконец в трубке радиотелефона послышался голос комбата:

— Мы в десятом квадрате на высоте двести тридцать пять. Сидим в какой-то яме. Старая воронка, что ли. Воды по колено. Здесь, на возвышенности, тумана нет. Видимость полкилометра. В северо-западном углу квадрата посадки. Оттуда слышен шум прогреваемых моторов. Основного ориентира, который нам указали, в натуре не существует. Сохранились остатки ветряка, отмеченного на карте. Триста метров восточнее — скопление пехоты. Похоже, выдают завтрак. Тут поблизости стрелковые ячейки. И ход сообщения...

— Слушайте приказ, — ответил Русинов. — Будете корректировать огонь своей батареей. Сначала дадим сосредоточенный по посадке, потом перенесем его к центру квадрата по пехоте. В паузе постарайтесь уйти. — И передав трубку связисту, капитан поглядел на меня: — Ну, Абросимов, не подведи! Ты старший на батарее...

В девять двадцать после недолгой пристрелки пушки открыли огонь по лесопосадке. Корректировщики работали четко. Я держал постоянную связь с комбатом и по всему чувствовал, что наши снаряды нащупывают цель. Наблюдателям было видно, как в воздух вместе с землей летели доски и обломки блиндажного наката, как что-то горело там и рвалось, как, ломая молоденькие деревья, из зоны артналета удирали бронетранспортеры.

Неожиданно комбат резко изменил прицел. Я посмотрел на карту и все понял: они вызывали огонь на высоту 235.

— Повторите данные! — закричал я в трубку.

— Все правильно, — ответил командир батареей. — Эти сволочи заметили нас. Прут — головы не подынешь. Да ты не сомневайся, свои снаряды нас не возьмут. Не зря наши бабы их на руках таскали.

Вероятно, нет командира, который бы внутренне не сопротивлялся такому решению, но в силу вступало железное слово «надо», и отвертеться от него не было никакой возможности. Теперь все зависело от наводчиков и старшего на батарее.

Не давая противнику прийти в себя, орудия перенесли беглый огонь к подножию высоты.

— Не нравится! — хрипел в трубке голос комбата. — Полезли по норам. Как крысы...

Я испытывал такое чувство, будто стреляю по самому себе. Это продолжалось до тех пор, пока огонь не был перенесен в центр квадрата.

Теперь в дело вступил весь дивизион. Заговорил бог войны! Дрожала земля, в ушах звенело, сладковатый пороховой дым щекотал ноздри, и от мокрых стволов пушек шел пар...

...Но все это случилось потом. Тогда же, в училище, в последние дни марта мы были озабочены исключительно вопросами личной свободы. Хотя бы на один-единственный денек.

— Никто не имеет права держать нас под замком, — кипятился Юрка Васильев. — Пусть немедленно дают увольнительные!

Но увольнительных не давали. И тогда первым по-настоящему взорвался тот, от кого мы этого меньше всего ожидали — наш помкомвзвода.

— Да гори оно все синим огнем! — стукнул кулаком по стене Сашка Блинков. — Я что, не человек? Мне что, в город не надо? Или, может, я набивался в помкомвзвода? В самоволку надо идти всем.

— Тогда вперед! — подхватился Витька Заклепенко.

— Посадить на губу могут одного-двух, — развивал свою мысль Сашка. — Трех от силы. Весь взвод, однако, не посадят. Места не хватит.

— Точно! — поддержал его Юрка Васильев. — Да и какая же это самоволка, если приказом наркома нам присвоены командирские звания...

Невдалеке от казармы глинобитная стена под колючей проволокой имела удобную седловинку. Ею, надо думать, пользовалось не одно поколение курсантов; потому что глина в этом месте была отполирована до блеска. Однако сейчас этот путь был для нас неприемлемым, через него могли уйти незамеченными один, от силы двое. Кто-то предложил отодрать фанеру на окне, которое выходило на боковую улицу. Попробовали — получилось. И даже не бросалось в глаза, если потом поставить фанеру на место. Эту операцию поручили дежурному по роте Боре Соломонику. Обратно уже по

одному можно было возвращаться и старым, испытанным способом.

В самоволку пошли даже те, у кого в городе не было ни дел, ни знакомых. Я очень хотел встретиться с Таней, но совсем не был уверен, что она обрадуется мне. Вот уже две недели, как я не заглядывал в санчасть.

Все получилось глупо до смешного. Когда вечером меня вызвала Валя Румянцева, и мы стояли, беседуя под деревом, возле проходной появилась Таня. Она шла на дежурство и, проходя мимо, сделала вид, что не заметила меня. Но я-то знал, что заметила. Возможно, не так все было бы обидно, если бы между мною и Валею и в самом деле существовал тайный сговор. Я уже с первых слов догадался: меня она вызвала только потому, что вот так, прямо и откровенно пригласить Сашку ей было неудобно. Ох, уж эта логика влюбленных! Ставить меня в дурацкое положение удобно, а позвать того, кто ей действительно нужен, — извините, нет. Но чего не сделаешь ради близкого человека!

— Все беру на себя, милая Валя, — пообещал я. — Вы завтра же встретитесь с моим другом Сашей Блиновым.

— Получается как-то нехорошо, — с сомнением покачала она головой, и ее теплые глаза все с той же растерянностью поглядели на меня. — Неудобно, что он обо мне подумает?

— Неудобно курсанту становиться в строй с зонтиком, — ответил я. — А все, что естественно, то удобно. Ведь только что, вызывая меня, вы совсем не думали об этом. А тут...

К моему неожиданному посредничеству Сашка отнесся снисходительно. Он засмеялся, по обыкновению вытянув трубочкой губы:

— Я это, однако, знал еще тогда...

— Когда тогда?

— А когда ты мчался к проходной, как спущенный со сворки гончак. Только что голос не подавал...

Таня вообще не захотела объясняться на эту тему.

— Что ты, Женечка, переживаешь? — сказала она, глядя куда-то в пространство. — Рано или поздно это должно было случиться. Просто я не думала, что все кончится так быстро.

— Таня, Таня, о чем ты говоришь! Все это не имеет

к нам никакого отношения, — вызвал я к ее благо-разумию. — Это все из-за Сашки Блинкова.

— Да, я не думала, что все пройдет так скоро, — твердила она, не в силах избавиться от своей навязчивой мысли. — Я не виню тебя. Ты совсем мальчик. Просто ты еще не дорос до настоящей любви. Об одном прошу, не приходи больше. Никогда...

И все-таки я не мог не пойти к ней в тот вечер. Если слухи верны, может случиться, что мы больше никогда не встретимся.

После проверки, когда старшина Пронженко удалился в свою каптерку, мы развернули скатки и уложили шинели под одеяла, по возможности, придав им очертания человеческой фигуры. Потом, переодевшись в чистое обмундирование, по одному попрыгали через открытое окно на улицу, а Соломоник быстренько замел следы — закрыл створки и поставил крашеную фанеру в оконный проем.

Опасаясь встречи с патрулями, я пробирался темными переулками. Из открытых дворов накатывал оглушающий аромат цветущих гиацинтов, и первые ночные бабочки роились возле редких уличных фонарей.

На мой стук Таня открыла не сразу. Наконец я услышал, как звякнула цепочка.

— Кто там?

— Телеграмма, — тоненьким женским голосом пропел я.

Она быстро отворила дверь и замерла на пороге все в том же своем халатике и шлепанцах на босу ногу. И все та же лампа, затененная абажуром, горела на столе. Какую-то секунду она колебалась, но потом лицо ее просветлело, она обняла меня и прижалась прямо на порожках всем своим сильным горячим телом.

— Ты сделал подкоп? — тихо спросила она и засмеялась.

— Нет, я пошел по другому пути — выломал окно.

— Дурачок, я сразу узнала твой голос.

Мы входим в комнату, и Таня усаживает меня рядом с собой. Ее чуть вздрагивающие пальцы касаются моего лба, моих бровей.

— Темно, — вздыхает она. — А я ведь так и не знаю, какого цвета у тебя глаза. Иногда мне кажется, что они карие, иногда — зеленые.

— Зеленые глаза у русалок.

— Вот едят: глаза — зеркало души. А если меняется их цвет, то, значит, и душа меняется?

— Ничего это не значит, — виновато улыбаюсь я. — Меняться может только настроение.

— Хорошо, если бы так...

В этот вечер все повторилось как в первый раз, и в то же время все было по-другому. Я никак не мог простить себе, что за все эти недели не сумел ни разу вырваться к ней. Все хорошее, что дремало во мне, вновь проснулось с невероятной силой. И лишь горечь при мысли о предстоящей разлуке слегка приглушала радость встречи.

Уже после полуночи мы пили настоящий чай, который Таня на что-то выменяла на базаре. Здесь он был большой редкостью. А настольная лампа накладывала деликатную ретушь на Танино помолодевшее лицо. Маленькая Наташка так и не проснулась опять, и я вдруг подумал, что мне уже, возможно, никогда не придется ее увидеть. Оба раза я заставлял ее спать...

Обратно в училище я пробирался через тот знаменитый лаз. Зацепился за колючую проволоку и слегка порвал на спине гимнастерку. При моем приближении Антабка зашевелился у себя в конуре, и я испугался, что он залает. Но пес узнал меня, и по глухому стуку я догадался, что он виляет хвостом.

Стараясь не скрипнуть дверью, я прошмыгнул в казарму. Было тихо, у столика дежурного привычно горела неяркая контрольная лампа. Но Боря Соломоник встретил меня несколько неожиданно:

— Женя, быстренько переодевайся во что похуже и беги на губу. Это распоряжение капитана Грачева. Караульный начальник сидит при часах и отмечает время явки всех, кто был в самоволке. Утром будет докладывать. Там-таки уже полвзвода насобиралось. — Боря горько вздохнул. — Мне приказано спуститься с мостика последним, хотя я совсем не капитан.

Я окончательно опешил:

— Скажи хоть, что тут произошло!

— А ничего не произошло, — уже потише стал объяснять Соломоник. — Пришел капитан в половине двенадцатого. Я доложил ему, сам понимаешь, шепотом, что рота отдыхает. Все благородно, курсанты спят, укрывшись с головой, и видят сны. И вдруг черт несет этого помкомвзвода Красникова. Идет на двор, так и в

одних кальсонах. Только шинель набросил. Ну, посторонился, чтобы пропустить капитана, а сам за одеяло рукой — цап! Качается, вроде сонный. И потянул... Тут уж вся бутафория, как на витрине. Роту подняли по тревоге, устроили переключку, и вот...

— Это же он нарочно, сволочь, — вырвалось у меня. — Мстит за бойкот.

— Нарочно — не нарочно, гадать нет смысла. Надо спешить.

Я быстро сменил брюки и гимнастерку на рабочие и помчался в караульное помещение. Там моему приходу не удивились и ни о чем не спрашивали. Начальник караула по-деловому отметил в списке против моей фамилии время явки, а разводящий, сняв с меня ремень, повел через коридор в камеру с зарешеченным окном, которое до сих пор я не имел удовольствия наблюдать изнутри.

Все это было ужасно глупо, разбирала досада, но обитатели гауптвахты приветствовали меня таким жизнерадостным ржанием, что от души сразу отлегло. Тут явно никто не собирался вешать голову. Вот она, сила коллектива!

Ребята как ни в чем не бывало делились своими впечатлениями о проведенном вечере. Все были возбуждены, и спать никому не хотелось. Угломонились только под утро. В довольно просторной комнате набилось столько народу, что караульные вынуждены были притащить из казармы несколько матрасов и расстелить их прямо на полу, потому что на нарах места всем не хватило.

Рано утром нас по очереди стали выдергивать на допрос к командиру батальона, который, точно в гоголевском «Ревизоре», тщетно пытался установить, кто же первый сказал «э!».

Потом нас поочередно посетили командир роты и лейтенант Абубакиров. Чижик выглядел очень расстроенным. Он все время сокрушенно качал головой:

— И как вас угораздило? Эх, дела-делишки...

Я давно заметил, что это любимое присловье в зависимости от обстоятельств могло иметь у Чижика множество всевозможных оттенков...

Абубакиров был, как всегда, непроницаем. Он выслушал наш рассказ, но искать инициаторов самоволки не пытался. Он только посмотрел на Сашку, который, потупившись, стоял у двери, и вздохнул:

— Ну и помощничка я себе выбрал...

— Так это же не его затея, — шмыгнув носом, вступился Витька.

— Виновных не ищу. Если бы мне удалось найти зачинщика, я бы считал, что вся моя наука пропала даром. За все отвечает взвод!

— Товарищ лейтенант, — обратился Соломоник, — а что же с нами дальше будет?

— Ах, это вы, — повернулся к нему Абубакиров, — в чужом пиру похмелье? Не знаю, не знаю... Будущее ваше туманно, господа...

На завтрак нам принесли бачок пустой каши. Начальник караула объяснил, что по распоряжению командира батальона мы находимся под строгим арестом и не будем получать ничего, кроме отваренной на воде пшенки и кусочка черного хлеба. На кухне уже предупреждены.

Сашка как старший по чину приготовился раскладывать по мискам кашу. Он запустил поглубже черпак, и вдруг на лице его отразилось крайнее изумление:

— Однако...

Под слоем пустой пшенной каши лежали здоровенные куски тушеной говядины, которая так и плавала в жиру.

Завтрак получился отменный, только ртов на один бачок было многовато.

К обеду караульные притащили нам шахматы и домино, а к вечеру две пачки бийской махорки. И мы могли спокойно курить, пуская дым через открытую форточку.

Все было бы ничего, если бы не мучила неизвестность. Сидим на гауптвахте и не знаем срока своего наказания. Только на третий день пришел Зеленский. Вел он себя сдержанно и сухо. По-моему, он обиделся на нас. Видимо, ему была хорошая накачка. Они вместе с начальником караула повели всех под конвоем к штабу. Вид у нас был неважнецкий. То ли пленных ведут, то ли толпу арестантов по Владимирскому тракту...

Без ремней и пилоток в окружении часовых с карабинами наперевес нас провели по плацу, с которым было связано столько всяких воспоминаний. Со всех сторон на нас глазели любопытные. Интересно, сравнивали Сашка в тот момент свое состояние с состоянием тех людей, которых мы еще недавно водили по городу в комендатуре?

Нас выстроили у штаба, и так мы простояли минут

двадцать, не меньше, пока на крыльцо не вышел начальник училища. У него был вид человека, которого по пустякам оторвали от дела.

— Лацюги! Разгильдяи с Покровки! — крикнул он и повернулся к начальнику караула: — Зачем пригнали сюда этих арестантов? Мне говорить с ними не о чем.

На крыльце появился майор Рейзер. Кивнув в нашу сторону, подполковник сказал:

— Всех до одного выпустить сержантами. Пусть кровью и потом зарабатывают золотые погоны...

Неожиданно мною овладело полнейшее безразличие. Я не испытывал никакого страха за свою судьбу...

— А пока нечего держать их на дармовых харчах, — объявил подполковник. — Сегодня же отправить на лесозаготовки! Пусть покатают бревнышки.

Он уже совсем собрался уходить, но вдруг остановился, видимо, вспомнив о чем-то, и, повернувшись к Зеленскому, спросил:

— Что это за гривы отпустили ваши молодчики? Младшим командирам прически не положены. Давайте парикмахера, и прямо здесь, — он ткнул перед собой пальцем, — всех до одного — наголо, под Котовского!

В течение 1 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.

Из сводки Совинформбюро

15. ОПЕРАЦИЯ «ЕЛКИ-ПАЛКИ»

Пыльная каменистая дорога, извиваясь среди серых скал, вползает в ущелье. Противоположный склон его негусто порос высокоствольной тянь-шаньской елью. Издали ее вытянутые островерхие кроны кажутся лилово-синими. На пологих безлесных скатах проклевываются первые огненно-красные тюльпаны. Прямо впереди величественным небесным престолом возвышается снежная вершина, возле которой курятся облака. Откуда-то снизу доносится приглушенный расстоянием грохот реки.

Не знаю, по какой причине, но группу нашу ведет сюда не командир взвода, а старший лейтенант Чижик. И хотя дорога временами довольно крута, мы по просьбе ротного сотрясаем горы его любимой строевой песней:

Белоруссия родная,
Украина золотая —
Наше счастье мо-ло-до-е
Мы стальными штыками оградим...

Полдня мы ехали поездом, ночевали в каком-то пустом станционном пакгаузе, километров двадцать подъехали с колонной попутных машин, которая шла на строительство железнодорожной ветки, и теперь вот уже четвертый час подымаемся все выше и выше к самому поднебесью.

Тут, наверху, становится настолько свежо, что Чижик на очередном привале приказывает развязать скатки и надеть шинели. Когда я по случайности оказываюсь рядом с командиром роты, он подмигивает и треплет меня по плечу. Мне этот человек стал очень дорог. Это пока единственное звено, которое связывает меня с отцом.

Любой подходящий случай я стараюсь использовать, чтобы выведать у него новые подробности.

— Ты когда-нибудь голубей держал? — спрашивает старший лейтенант.

— Пробовал. Даже голубятню строил.

— А бруски деревянные с бульвара приволок, из ограды повытаскал?

— Точно!

— А после милиционер приходил. Было такое?

— Было, товарищ старший лейтенант, — радуюсь я.

— Видишь, какая она штука — память. Вроде бы все из нее вышибло, а потом вдруг на тебе — всплывает. Да такая мелочь, что и запоминать-то ее не стоило б, кажется. Помню, как-то сушились вечером у костра. До того весь день болотами пробирались. А уже холодно. Отец твой что-то о доме вспомнил, о тебе, к чему-то эту историю с голубятней рассказал. К чему бы... Потом вдруг полез в карман и ключ достает. Обыкновенный ключ от английского замка...

— На цепочке?

— Может, и на цепочке. Не припомню. Удивительны, говорит, превратности судьбы. Сын неизвестно где, дома того, поди, уже и в помине нет, а ключ цел... Вот, брат, какие дела-делишки...

Уже во второй половине дня наш взвод добрался до места. На просторной площадке, у самой кручи, стоял то ли навес, то ли сарай без одной стенки. В углу возвышалась целая копна сена. Кругом валялась не-

убранная щепы, куски коры, и все остальные запахи забивал крепкий настой еловой смолы.

Встретил нас пожилой человек в засаленной ушанке и лоснящемся меховом жилете. Он показал, как надо скатывать кругляк, где его пилить и куда складывать. Издалека доносились удары топора, похожие на ружейные выстрелы.

Мне было жаль смотреть, как умирают эти сорокаметровые великаны. Огромный малахитовый конус, возниковавший почти у самой земли, сперва сотрясаясь всем своим могучим телом, по гибким ветвям пробегала дрожь, и ель начинала медленно валиться, подминая под себя молодую поросль. Дерево уже успевало упасть, а протяжный стон, издаваемый им при падении, только-только достигал нашего слуха. В ушах долго стоял этот странный резонирующий звук.

— Богатое дерево, — вздыхает бригадир лесорубов. — Поет, как живое. Из него, говорят, скрипки хорошие ладить можно...

— Были елки, стали палки, — отвечает Левка. — Пройдет лет сто, и кто знает, во что превратятся эти места. Может быть, в пустыню.

— А через сто лет нас не будет, — смеется бригадир в засаленной ушанке. — Никто не знает, что будет через сто лет. Может, люди на Луну переселятся. Там, говорят, холодина — ужас...

В этот первый день мы успели только набить сеном полосатые наматрасники, сколотить козлы для распиловки бревен и приготовить на самодельном очаге ужиин...

Повара из нас неважные, но нужда заставит, всему научишься. Тем не менее, если бы не помощь командира роты, мы бы, наверное, быстро протянули ноги. Он и готовить помогал дежурным, и на трелевке бревен организовывал работу, и пильщикам успевал давать дельные советы. И все с одной рукой. А то, кажется, на третий день сходил в дальний поселок и сам притащил полведра вершков с кислого овечьего молока, которые местные называли каймаком. Понятно, что здесь, в стороне от больших дорог, цена на продукты была относительно божеской, но за этот каймак Чижик отвалил, надо думать, не меньше трети своего месячного содержания...

Работаем мы весело, почти играючи. Между делом Брильянт и Соломоник успевают покачаться на лесине,

оседлав ее по краям, как детские качели, а Юрка Васильев, навалившись грудью на очищенную от веток верхушку, поводит ею из стороны в сторону, будто стволом орудия, и самозабвенно орет:

— По пулемету... гранатой... взрыватель осколочный, прицел восемьдесят шесть, уровень тридцать ноль-ноль... основное направление левее два десять, первому... один снаряд. Огоны!

Сорокин разбрасывает руки и падает на смолистые щепки, изображая убитого. Заклепенко в этот момент создает шумовой эффект — скатывает тяжелое бревно.

— Вперед! — призывно разносится его басистый голос, и сам он, обычно такой степенный, бросается вдогонку вниз по склону...

Перед сном у затухающего костра приятно послушать шум горной реки, погреть косточки, бездумно поглядеть на остывающие угли, где под тонким слоем пепла рождаются и умирают мерцающие искры да язычки синего пламени. В разговорах мы то и дело возвращаемся к тому злополучному дню, когда взвод наш так бездарно погорел на самоволке. Думаю, многие из ребят тяжело переживают утрату своих волос. Ведь плакать хотелось, когда они падали из-под машинки на землю такими плотными нерассыпающимися прямоугольничками, как лоскутики овчины.

— Как хотите, но предательство должно быть наказано, — сказал как-то Сашка Блинков. — Что бы с ним сделать, с этим мерзавцем Красниковым?

— Выкинуть из поезда, когда будем ехать на фронт, — предложил Заклепенко. — За руки, за ноги, и будь здоров.

— А может-таки, не стоит? — засомневался Соломоник. — Может, на фронте он хоть одного немца убьет, а? И то польза. А так ведь что получается — чистый самосуд.

— Не-е, братцы, — вскочил Сорокин, — вы Борьку не слушайте. Он интеллигент, аптекарь, одним словом. Выкинуть к чертям собачьим, и все!

— Прощать нельзя, — поддержал его Володька Брильянт.

— Голосуем! Я — за, — заключил споры Юрка Васильев. — Значит, решено и подписано...

Но когда настанет время, а оно уже близилось, охотников приводить приговор в исполнение не найдется. Все просто сделают вид, что забыли про этот вечер у зату-

хающего костра. И когда в штабе фронта Красникова первым куда-то заберут от нас, все мы вздохнем с облегчением. Один Сорокин посокрушается задним числом:

— Зря проявили бесхарактерность. Ведь если его не придержать, он к концу войны такого наделает... Полковником станет!

— Чтоб его больше в глаза не видеть, гада, — пожслю я. Впрочем, мое пожелание не сбудется. Встретимся мы спустя еще пять месяцев при неожиданных обстоятельствах.

Наполовину оглохшего, раненного в голову и руку на «Голубой линии», меня привезут из армейского госпиталя на санитарной летучке в город. После внезапной сентябрьской грозы сырой прохладный воздух будет напитан смесью озона и паровозного дыма.

С группой ходячих раненых, минуя лужи и наполненные водой воронки от бомб, я буду медленно брести по перрону краснодарского вокзала, от которого останутся одни задымленные кирпичные стены. Каждый неловкий шаг будет выстрелом отзываться в правом виске. На первом пути я увижу длинный военно-санитарный поезд, состоящий из одних пассажирских вагонов с красными крестами по бокам.

Внезапно я почувствую на себе чей-то пристальный взгляд. Я оглянусь и никого не увижу. А чувство, что на меня смотрят, все же не исчезнет. Я начну беспокойно смотреть по сторонам и вдруг совсем рядом за слегка затуманенным окном вагона увижу устремленные на меня глаза. Белое и круглое, как блин, лицо, а на нем два живых темных глаза.

В это время человек проведет рукой по запотевшему изнутри стеклу, и я сразу же узнаю бывшего помкомвзвода Красникова. Лицо его покровится в жалкой приветственной улыбке, и он поманит меня рукой, приглашая зайти внутрь.

В вагоне, насквозь пропитанном запахом гноя, который имеет обыкновение скапливаться под гипсом, и содержимого стеклянных «уток», задвинутых под полки, будет стоять одуряющая духота. На какой-то странной, подрессоренной койке, расположенной вдоль прохода, я наконец увижу Красникова, навалившегося плечом на подушки в неловком полусидячем положении. «И ты, дружок, словил...» — шевельнется где-то в сумеречной глубине сознания злорадная мыслишка.

— Ну чего? — небрежно спрошу я. — Куда зацепило?

И вдруг увижу, как в черных глазах, похожих на отверстия в простреленной мишени, сверкнут слезы и подбородок его задрожит часто-часто. Он сдернет рывком легкое серо-зеленое одеяло с двумя желтыми полосами по краям, и мне станет совсем не по себе. Вместо ног я увижу две толстые култышки, две куклы, заботливо запеленатые бинтами. На белой марле будут отчетливо видны ржавые пятна от засохшей сукровицы.

— Вот, — скажет он и заплачет.

— Да-а, — скажу я, потому что ничего другого сказать не смогу.

Во мне все сожмется от беспомощного, бессмысленного сострадания...

Работа на лесозаготовках нам досталась нелегкая.

— Мясца бы сейчас на вертеле, — ноет Сорокин. — Сколько кубиков перепилили, чем пополнять затраты?

Прошла неделя. Лесорубы сделали свое дело и подались в другое место. Нам остается скатывать сверху тяжелые стволы, пилить их и складывать поблизости от дороги.

— А почему бы не сходить на охоту? — сказал как-то вечером Юрка,

Оружия у нас с собой нет. Единственное, на что мы можем рассчитывать, это тульская малокалиберная винтовка, которую прихватил с собой старший лейтенант Чижик.

— Действительно, — поддерживает идею Витька, — тут же в горах козлы, эти, как их там, тау тэке, кажутся. Почти непуганые.

— Товарищ старший лейтенант, — канючит Сорокин, — отпустите Васильева. У него «отлично» по стрельбе. Он точно убьет.

— Козлятина — это, конечно, неплохо, — размышляет вслух командир роты. — Но ведь и козел, надо думать, не из отстающих. Его еще выследить надо. И потом, знаете, одного человека отпускать в горы опасно. Что, если заплутает в тумане или со скалы сорвется?

— Пошлите с ним Абросимова, — советует Сашка. — Вместо собаки. У него нюх...

— Ладно, — соглашается Чижик, и его лицо до-

бреет, как у старой кормилицы, — пусть сходят, если пятки до сих пор не набили. Только условие, чтоб за-темно — на месте.

Весь следующий день мы с Юркой Васильевым лазили по кручам, поднимались до самых снегов, но ни тэке, ни даже следов их так ни разу и не увидели. Дело уже шло к вечеру, а возвращаться домой с пустыми руками не хотелось. Я хорошо представлял, как нас встретят, заранее слышал шуточки взводных острословов и ехидные замечания. Кажется, никогда в жизни я не жаждал так крови.

— Пора возвращаться, — с сожалением сказал Юрка. — Что делать, если козлы попались такие несо-значательные.

— Ну давай хоть до тех скал дойдем, что ли, — предложил я.

Мы двинулись через кочковатую ложину, но в это время сверху на нас начал сползать языком плотный туман. Сразу сделалось сыро, неуютно и холодно.

— Все, поворачиваем, — решительно заявил Юрка, закидывая за спину малокалиберку. — Руки зябнут...

Спускались мы в сплошном «молоке». Неожиданно пошел снег. Густые мокрые хлопья тут же таяли на наших шинелях и пилотках, но на земле снег таять не успевал, и, когда мы выбрались на какую-то дорогу, все оказалось белым-было. Ноги проваливались по щиколотку, словно в мягкой перине. Снег настолько изменил все вокруг, что местность показалась нам совершенно незнакомой. Впереди дорога разветвлялась. Перед нами было два спуска. По какому из них идти?

А тут еще стали мерзнуть уши. Зря все-таки в гарнизоне поспешили с переходом на летнюю форму. Шапка-ушанка была бы сейчас весьма кстати. А вокруг удивительная тишина. Серебряные ели согнулись под тяжестью снега. Быстро темнело.

— Ну чего тут торчать без толку? — сказал я. — Не все ли равно, куда идти. И вообще, кажется, мы вышли не в то ущелье.

— Похоже, — согласился Юрка и прислушался.

Я тоже стал вертеть головой и вдруг явственно услышал собачий лай.

— Туда! — махнул я рукой.

Мы быстро зашагали по дороге.

Обмотки намокли, ботинки стали тяжелыми, но близость жилья вселяла в нас дополнительный заряд

энергии. Вскоре мы увидели висящий на тросах мостик, а за ним, как на старых рождественских открытках, виднелась заснеженная избушка, в которой янтарно евелилось окно. Над трубой вился сизый дымок.

Мы потоптались у крыльца, отряхивая шинели. Юрка постучал в запотевшее окошко. За дверью послышались шаги, скрипнули ржавые навесы, и нас обдало волной теплого воздуха. На пороге в наброшенном на плечи платке, едва не касаясь головой притолоки, стояла самая настоящая великанша. На ногах у нее были одни толстые вязанные носки.

Юрка не успел еще и рта раскрыть, а она своим низким мужским голосом уже обращалась к кому-то, кто оставался в глубине избушки:

— Марья, а ты, дура, горевала. Гляди, кого бог послал.

— Нам бы обсушиться только, — смущенно заговорил Юрка. — Мы, кажется, с дороги сбились...

— А вы заходите, заходите, — напевным басом приглашала хозяйка. Ей было, наверное, около сорока. Она оказалась на голову выше нас с Юркой, и мы проходили мимо нее не без опаски. Дверь в комнату была открыта. В сенцах стояли чьи-то сапоги чуть ли не сорок шестого размера.

А в комнатке, постреливая дровами, топилась русская печь. За непокрытым столом, опершись о него голыми локтями, сидела еще одна женщина, мало в чем уступавшая первой. Разве что помоложе.

— Ну, солдатушки, в добрый час забрели вы на наш огонек. День рожденья справлять собрались. Это вот сестрица моя Марья. С поселка пришла. А меня Прасковьей кличут. Ежели попросту — Пашей. Лесничиха я, самому лешему, говорят, снохой довожусь...

Пока мы стаскивали с себя мокрые шинели и разувались, Юрка шепнул мне:

— Слушай, а сестрицы эти не того, в котле нас не сварят?

— Мужики-то наши, считай, второй год как воюют, — продолжала хозяйка, набрасывая на стол пеструю клеенку.

Мы познакомились. У Марьи было широкое скуластое лицо и непорочные васильковые глаза. Она чинно поклонилась и протянула свою могучую руку:

— Милости просим...

А хозяйка тем временем метала на стол миски с ква-

шеной капустой и солеными огурцами, пластала громадным ножом принесенное из сеней холодное сало, выдерживала из печи парующую отварную картошку и резала большими ломтями ноздреватый пшеничный хлеб, прижимая каравай к груди. И откуда бралось такое!

— Чего сидишь, именинница? — прикрикнула на сестру Прасковья. — Доставай тую отраву.

Марья поспешно встала и принесла из сеней трехлитровую бутылку с мутным самогоном.

— Ну, чем не праздник, ежели мужик в доме, — радовалась хозяйка. — Знаю, знаю, где ваши-то стоят. Это вы обмишурились малость. Надо было левее брать. Ну да ничего. Обсушитесь, переночуете, а по видному тут и ходу-то полчасика.

Мы переглянулись. И действительно, куда мы пойдем плутать в потемках по заснеженным горам? К тому же после неудавшейся охоты мы были настолько голодны, что могли бы съесть того неубитого козла вместе с рогами и шерстью. И даже «отрава» казалась сейчас вполне уместной.

Марья скромно налила всем по граненому стакану.

— Ну и ладно, — присаживаясь к столу и потирая большие красные руки, сказала хозяйка. — Давайте по первой, за именинницу. Она у нас младшенькая...

10 апреля. Южнее Балаклеи происходили упорные бои. Противник, несмотря на тяжелые потери, понесенные им в предыдущих боях, стремится потеснить наши войска.

Из сводки Совинформбюро

16. ТОВАРИЩИ ОФИЦЕРЫ

Удивительно, но после такого угощения мы чувствовали себя совсем неплохо. Ближе к полуночи заботливые женщины постелили нам на теплом полу два больших овчинных тулупа, и мы с Юркой уснули под монотонный скрип сверчка, который сумел счастливо перезимовать за печкой. Утром путь до нашего сарая показался действительно недолгим.

Еще издали увидев наше временное пристанище, мы начали испытывать какое-то смутное беспокойство. Я не сразу сообразил даже, откуда оно исходит, и только

чуть позже догадался: мы не видели привычного дыма, не слышали переключки голосов и звящего пения пил. Все вокруг выглядело заброшенным, обезлюдившим. Очаг был засыпан снегом, и на белой ночной пороше ни единого человеческого следа.

С возрастающей тревогой бросились мы под навес, но, кроме двух наших матрасов и кучи перетертого сена, ничего не обнаружили. Только оглядевшись как следует, увидели, что в углу на опрокинутом ящике стоит котелок с остывшей гречневой кашей, а из-под него торчит клочок белой бумаги. Я нетерпеливо выхватил его и подошел к свету. «10.04.43 в 17.00 получили с нарочным приказ немедленно возвращаться в училище, — говорилось в записке. Слово «немедленно» было подчеркнуто. — Ждать вас не имеем возможности. Ужин оставляем. Добирайтесь самостоятельно любым способом. Ст. л-т Чижик».

Мы молча переглянулись. Товарищи наши ушли отсюда по меньшей мере пятнадцать часов тому назад. Не говоря ни слова, Юрка стал вытряхивать сено из наших наматрасников. А я вывалил на снег застывшую кашу. Птицы склюют. Котелок другое дело, это казенное имущество, и оставлять его нельзя.

Через десять минут мы уже шагали по знакомой дороге все вниз и вниз к теплым долинам, словно совершая стремительный бросок с севера на юг...

На станцию мы пришли только под вечер, валясь с ног от усталости. Последний рабочий поезд уже ушел, а следующий в нужном направлении ожидался только в час ночи. Одежда на нас была влажная, ботинки разбухли, но мы уже не обращали на это внимания. Найдя тихий уголок, завалились прямо на полу, подложив под головы свои тощие вещмешки и наматрасники...

...А когда в седьмом часу утра мы шли, все убыстряя шаг, по улице Великого акына, солнце уже вовсю шпарило в затылок, и от наших шинелей поднимался пар.

Первое, что мы слышали, появившись на проходной, это скороговорку дежурного:

— Быстрей! Бегом! За вами уже на вокзал посылали. Через три часа уходит поезд...

У родной казармы мы увидели что-то непривычное. Вместо потерявших всякую форму, побуревших от дождей и солнца байковых хламид в глаза бросалась новенькая форма людей, издали показавшихся нам незнакомыми. Навстречу нам бежали двое, и я с трудом узнал

Сашку Блинкова и Витьку Заклепенко. На них были крепкие сапоги, пахнущие швейной мастерской зеленые хлопчатобумажные гимнастерки со стоячим воротником и новенькие кожаные ремни. Но главное — на их плечах мы увидели погоны! Защитные фронтовые погоны лейтенантов с одним просветом и двумя серебряными звездочками. Значит, все-таки зря трудился парикмахер...

— Снимай шинели! — кричал Сашка. — Давай винтовку и вещмешки. Жмите в столовую, там все накрыто. После завтрака — на склад получать шмотки.

— Спокойно! Сухой паек мы на вас взяли, — объявил Витька, как будто сейчас для нас это было самым главным.

Мы ополоснули под краном свои физиономии, на ходу проглотили завтрак и помчались на вещевой склад. Там все уже было готово вплоть до отутюженных суконных пилоток. Каждому строго по размеру. Так что примерять почти ничего не пришлось.

— Погоны и петлицы к шинелям получите у старшины, — сказали нам на складе. — Счастливого повоевать, ребята!

В казарме царило необычное оживление. Кто-то подшивал к гимнастерке белый подворотничок, кто-то укладывал в вещмешок свое нехитрое имущество. Нас закидали вопросами.

— Где же козел? — спрашивал Сорокин. — Убили?

— Еще бы, — ответил я, продолжая заниматься делом. — Не зря же у Васильева «отлично» по огневой подготовке.

— И где же он?

— Петлицы на шинель пришивает.

— Я про козла! — крикнул Сорокин.

— Мясо съели, шкуру продали, рога променяли на спички. Такие, брат, дела-делишки...

— Трепло, — обиделся Сорокин.

— Держите, — и Левка протягивает нам погоны. — Пришивайте к гимнастеркам. На шинели уже не успеете. Потом в поезде. Да не так! Здесь же еще пуговица. Заклепенко, помоги ему, а я займусь Юркой.

Я пытаюсь вдеть нитку в игольное ушко, но руки трясутся. Кто-то вырывает иголку из моих рук.

— Скорее!

— Приготовиться к построению!

— Сапоги не велики?..

Я уже знаю, что вчера вечером всем выпускникам

был торжественно зачитан приказ о присвоении воинских званий. Даже начальник училища, не любитель длинных речей, произнес прочувствованные слова, будто забыл о нашей недавней провинности.

Ну вот, еще два-три стежка, и все, можно надевать гимнастерку. По проходу между койками идет старшина. «Сейчас будет снимать стружку», — мелькает привычная мысль, и я быстро откусываю нитку. Не доходя до меня нескольких шагов, старшина выстреливает пальцами по козырьку фуражки:

— Так що рота построена, товариш лейтенант, — смеется он одними глазами. — Жаль тильки, що без баньки. Дуже дорога дальня.

Он помогает мне расправить на плечах погоню. Я забрасываю за спину вещевой мешок и по примеру остальных беру шинель на руку.

У порога крутится, заглядывая в дверь, наш общий любимец Антабка. Когда я прохожу мимо, он пытается всучить мне свою искалеченную лапу. По-моему, пес понимает, что настал час нашего прощанья. Я нагибаюсь и целую его в морду. Прощай, Антабка! От него пахнет псиной, но мне ни капельки не противно!

Сопровождать нас на фронт будет старший лейтенант Чижик. Безбородое лицо у него сейчас отрешенное и твердое, как у половецкой каменной «бабы». Итак, я еду в действующую армию на Кавказ. Абубакиров проходит по рядам, прощается с каждым из нас за руку.

— Товарищ лейтенант, — вырывается у меня, — мы вас никогда не забудем!

Абубакиров с удивлением смотрит мне в глаза.

— Меня, между прочим, зовут Николай Степанович, — смеется он. — Пишите, Абросимов, я буду рад.

— Сорокин, — толкает соседа Витька Заклепенко с плутоватой улыбкой, — макуху жрать будешь?

— А пошел ты со своей макухой! — огрызается Гришка, не принимая юмора.

Сейчас и вправду совсем не до шуток.

Для прощания с нами отдельно построены новички. На левом фланге занимает место музыкальная команда. По плацу, поглядывая на часы, прохаживается подполковник Лисский, тяжело переминается с ноги на ногу замполит Чурсин. Я пристально смотрю на обитую желтым дерматином дверь санчасти. Никого. Пусто. Неужели Таня ничего не знает? Впрочем, вчера она могла не быть на дежурстве. Значит, я так и не увижу ее. Звучит

команда «равняйся!». Майор Рейзер в последний раз берет бразды в свои руки.

— Училище, сми-ирно! — И после короткой паузы: — Товарищи офицеры!

Это уже нам.

— Напра-а-во! Правое плечо вперед, шаго-ом марш!

От грома духового оркестра с деревьев срываются испуганные воробьи. Наши командиры, перед которыми мы трепетали все эти восемь месяцев и которых по-своему любили, берут сейчас под козырек.

Я смотрю на своих товарищей и не узнаю их. Неужели это те самые мальчишки, что всего три месяца назад охмырялись в столовой и таскали в противогазах мерзлую редьку? Лица суровы, обветренны и загорелы даже у таких неисправимых блондинов, как Белоусов и Юрка Васильев. Чуть нахмуренные брови, возле губ решительная складка. Откуда такая перемена? Но тогда мне никто не мог подсказать, что это тень предстоящих сражений уже упала на их лица.

Вчерашние мальчишки идут на войну. Перед ними дорога в семьсот шестьдесят фронтовых дней и ночей, и ни один оракул, хоть бей его головой о стенку, не сможет сейчас сказать, кому же из них суждено пройти эту дорогу до самого конца. Увы, немногим. Очень немногим!

Справа, рядом со строем, спешит по привычке старшина Пронженко. Мы оборачиваемся в последний раз. Посреди опустевшего плаца растерянно и одиноко сидит осиротевший Антабка.

Человек носит в своем сердце не одну жестокость и жажду мщения. Даже в годы самых тяжелых испытаний в нем остается место для нежности, и нет большой беды в том, что немалую часть ее мы отдавали собаке.

— Старшина, — зовет Белоусов, стараясь перекрыть оркестр, — берегите пса! Слышите!

— А як же ж, — смеется черноглазый красавчик Пронженко. — Будэ сполнено!

— Старшина, — предупреждаю я, — мы серьезно. В этой собаке бессмертная душа нашего батальона!

В ответ Пронженко подносит пальцы к козырьку фуражки. Он понимающе кивает.

Грудной голос валторны тонет в медном звоне труб.

А дверь санчасти по-прежнему наглухо закрыта. Мы уже подходим к проходной. Ворота распахнуты на-

стежь. И вдруг возле старого тополя, в стороне от дорожки, я замечаю белый халат.

Ну конечно же, это Таня! Глаза ее мечутся по шеренгам. Я вижу ее мокрое покрасневшее от слез лицо и распухший нос. Она мнет в пальцах носовой платок, а потом, встретившись со мной взглядом, вскидывает его над головой, как белый флаг, как сигнал капитуляции. В ответ я ободряюще киваю ей и поднимаю на уровень плеча сжатую в кулак руку.

Сейчас я мог бы сказать ей о многом, но мешает оркестр, да она и без того все хорошо знает.

Отчего-то начинает щекотать в носу...

Держись, Таня! Солдатам нельзя унывать.

Мы проходим, бóхая тяжелыми сапогами, словно вколачиваем гвозди в мостовую. Дежурный на проходной отбрасывает винтовку по-ефрейторски на караул...

Но вот промелькнули окованные железом ворота, и все осталось позади. Все! Как же так, неужели уже ничто не вернется? Не может быть, чтобы Таня безвозвратно ушла из моей жизни, как сейчас из ее жизни ужу я...

Ничего не поделаешь, в ту пору я не знал простейшей истины: все, что уходит, уходит безвозвратно, и ничто не может повториться, как не повторяются прожитый день и прожитый час.



ТРОЙНОЙ ЗАСЛОН



1

В пихтовом лесу стоял зеленоватый дымный полумрак. Солнечные лучи раскаленными спицами прожигали толщу густого лапника. Здесь было торжественно, сумрачно и пахло ладаном, как в старом кафедральном соборе.

По узкой, битой тропе шли семеро: двое уверенно шагали впереди, четверо, изрядно поотстав, вели под уздцы тяжело навьюченных лошадей, а замыкающий придерживал за ремень висевшую не по-военному, стволом вниз, самозарядную винтовку с оптическим прицелом. Кроме него да еще одного бойца, что тащил на плече ручной пулемет Дегтярева, весь отряд был вооружен автоматами. Тропа круто забирала в гору, и люди шумно дышали. Сказывались и затяжной подъем, и непривычка к высоте. К тому же все были обвешаны туго набитыми вещевыми мешками, скатками, гранатами и котелками.

Старший лейтенант Истру, невысокий, по-девичьи изящный, старавшийся идти в ногу с рослым проводником, задумался. Это не мешало ему, однако, внимательно следить за тропой, за ее замысловатыми серпантинами. Он слышал, как спотыкаются уставшие лошади, но не спешил с привалом, ждал, когда кончится этот угрюмый лес, поросший голубым лишайником. Оттуда, с опушки, можно будет наконец оглядеть местность на много километров вокруг.

На старшего лейтенанта была возложена не совсем обычная задача. Предстояло подняться на перевал, завалить обходную тропу, сделать ее недоступной даже для вьючного осла, не говоря уж о лошади. Там приказано было оставить троих наблюдателей, обеспечив тем самым надежную связь. Но как ее обеспечишь, если от заставы до перевала около десяти километров напрямик, как говорится, по птичьему следу, а в его распоряжении нет и метра телефонного кабеля? Все давно расписано и роздано. Зрительная связь на таком расстоя-

нии да еще при туманах, которые теперь, в конце лета, наверняка участятся, тоже не внушала надежд. Неожиданно выручил инженер Радзиевский, присланный к нему из полка. Мужик оказался не просто изобретательным. Это был гений, новоявленный Эдисон! Во всяком случае, как считали в штабе, круг его интересов и познаний не имел границ.

Строго говоря, пастушью тропу там, на высоте двух тысяч семисот метров, назвать перевалом можно было лишь с определенной натяжкой. На карте-двухверстке он был обозначен как труднопроходимый и официально именовался Правым Эки-Дарским, по названию ущелья, где стояла сейчас рота. Местные охотники и пастухи окрестили его по-своему — Вислым камнем. Разведчики доносили, что там, над тропой, нависает огромная гранитная скала.

В те дни военная обстановка на Северном Кавказе складывалась как нельзя хуже. Перевалы, по сути дела, не были подготовлены к обороне. А те немногочисленные укрепления, которые в начале года сооружали в горных проходах, снесло первым же паводком. Недальновидность вышестоящего начальства раздражала Истру. Он был грамотным кадровым командиром и понимал многое из того, о чем прямо не говорилось в приказах командования и официальных сводках. Еще до вторжения гитлеровцев на Кубань все оборонительные усилия были направлены на защиту береговой линии. Опасность высадки вражеского десанта с моря казалась тогда наиболее вероятной. Но когда наши войска попятились к Ростову, разве не самое время было подумать о том, что Кавказский хребет должен стать для врага непреодолимой преградой?

Еще в конце июля им зачитали приказ Верховного Главнокомандующего, строжайший приказ — «Ни шагу назад!». Вот тогда-то из резервных частей, из строительных батальонов, из народного ополчения, черт знает из чего еще, нужно было наскрести людей и организовать по-инженерному грамотные работы. Не теряя ни одного часа! А занялись этим только теперь, почти месяц спустя, когда вверх по долинам отходят последние измотанные части, когда враг наступает на пятки, когда на подступах к главным перевалам уже завязываются бои.

Разумеется, старший лейтенант понимал и трудности, возникшие перед командованием армии.

Фронт растянулся на полтора километра от Белореченского до Клухорского перевала. Части недоукомплектованы людьми, оружием, боеприпасами, туго с продовольствием. А тут еще того и гляди полезут турки. Один знакомый командир, вернувшийся недавно из Кутаиси, рассказывал под большим секретом, что там бродят слухи, будто на границе, за Чорохом, сконцентрировано около двух десятков турецких дивизий. Так что курок взведен, и остается только гадать, когда же современные янычары надавят на спусковой крючок.

Рота старшего лейтенанта Истру насчитывала всего тридцать семь человек. Она расположилась на лесном кордоне, как раз там, где долина одного из притоков Бзыби разделяется на два ущелья — Левую и Правую Эки-Дару. В народе это место называли метко, хотя и довольно прозаически — «Штанами». Штаб полка находился в восемнадцати километрах от кордона, в древнем полуразрушенном монастыре.

Полевой Эки-Даре, одолев два крутых отрога, можно было выйти к Цегеркеру и Туманной поляне, а оттуда тропами вдоль хребта уже оставалось рукой подать и до Санчарских перевалов. Это направление считалось наиболее опасным, и поэтому Истру вынужден был направить туда основную часть людей.

Среднему комсоставу не были известны директивы Ставки, однако «солдатский телеграф» работал исправно, и для большинства командиров не составлял особого секрета тот факт, что на ряде важнейших горных перевалов командование намеревается создать прочные узлы обороны и защищать их любой ценой, на другие выслать крупные вооруженные отряды, а все эти Науры, Анчи, Эки-Дары взорвать, завалить возможные к ним подступы.

И вот теперь люди шли к Вислому камню, в заоблачную высь, чтобы рвать скалы, валить лес за хребтом на северном склоне и потом оставить на водораздельной седловине заслон, который мог бы сообщать вниз о любых изменениях в обстановке и на худой конец не дать вражеским разведчикам и диверсантам проникнуть в наш тыл. Для этого из штаба полка прислали взрывчатку и гения пиротехники — лейтенанта Радзиевского, мрачноватого, неразговорчивого человека, у которого на левой руке сохранилось всего два крючковатых пальца — большой и мизинец. Серые глаза его тяжело и холодно смотрели из-под сдвинутых бровей. Ранен лей-

тенант был, по всей видимости, давно, в начале войны. Об этом можно было судить по тому, как ловко с такой рукой он научился крутить сигарки...

Наконец впереди между стволами деревьев забрезжил свет, и отряд как-то совсем неожиданно оказался на опушке. Сержант Шония, выполнявший роль проводника, стащил через голову ремень автомата:

— Привал, товарищ старший лейтенант?

Истру утвердительно кивнул и, прислонив свой автомат к дереву, скинул вещевой мешок, расправил узкие плечи.

Впереди, врезаясь в синюю высь, четко вырисовывались снежные вершины. Их ослепительная белизна лишь кое-где была обезображена осыпями и пятнами «сколков». Слегка тронутые осенней ржавчиной простирались альпийские луга. Невдалеке от опушки отдельными кустами рос горный клен, строением кроны напоминавший средиземноморскую пинию, знакомую по картинкам в школьных учебниках географии. Созревшие плоды окрашивали его верхушки ядовитой, режущей глаз кинноварью. Этот неожиданный отчаянно-красный цвет порождал у Истру ощущение смутной тревоги.

Совсем рядом забряцали удила, слышались тяжёлая поступь лошадей и прерывистое дыхание.

— Веселей ходи! — крикнул Шония. — Привал влево! — Он лег на спину, подложив под голову вещмешок и задрав ноги на сырую замшелую колоду.

Запахло примятой травой, кожей и влажными конскими потниками.

Истру вытащил из потёртого чехла бинокль и поднес его к глазам. Торная тропа, по которой они шли все это время, сделалась менее заметной, и проследить ее даже при шестикратном увеличении было довольно трудно. Она вилась по левому берегу ручья, промывшего глубокое каменное ложе, потом перемахивала на другую сторону и начинала круто взбираться вверх по краю полей плотного фирнового снега на затененном склоне. А там, у самой седловины, где камень выпирал из земли наподобие исполинских надгробий, тропа окончательно терялась из виду. Это было дикое нагромождение скал, первородный хаос! Что-то подобное ему доводилось видеть в Крыму на Кара-Даге, когда перед началом войны они с женой ездили отдыхать в Судак. Это был его последний отпуск. Где теперь тот Судак, где милая сердцу Одесса, в которой он родился и вырос, где его

жена и трехлетняя дочь Юлька? С октября прошлого года он не получил от них ни единой весточки. Удалось ли им эвакуироваться, живы ли они?..

Хотя Истру и чувствовал себя неуютно в незнакомых ему горах, но сейчас, глядя на свой маленький отряд, расположившийся на короткий привал среди дикой природы, он не мог подавить успокоенности, возникшей в его душе. Это особенно бросалось в глаза после суматошной, лихорадочной обстановки, что царила в тылу, в прибрежных городах и поселках, где днем над мастерскими не угасали молнии электросварки, а в кузницах сутки напролет стучали и звенели по наковальням тяжелые молоты...

— Харчи берегты трэба, — слышался рядом голос старшины Остапчука. — О так, хлопче.

Истру оглянулся и увидел красноармейца Силаева, который неохотно опускал кинжальный штык, жадно занесенный над банкой сгущенки.

— Режим экономии, — поучал старшина. — Тэрпи трохи пока...

— Пока что? — прищурился боец Другов. Это они с Силаевым и Шония входили в тройку наблюдателей, которым предстояло остаться на перевале.

Лейтенант Радзиевский бросил на парня испепеляющий взгляд.

— Пока не кончится война, — резко, с железными интонациями в голосе заметил он. — Вот так: пока не кончится.

Истру подошел к своему ординарцу со странной фамилией Повод и знаком показал, чтобы тот убрал сухари, которые боец начал было выкладывать на плащ-палатку.

— Внимание! — поднял руку старший лейтенант. — Отдыхаем четверть часа. Груз оставить на выюках, подпруги не отпускать. Силаеву вести наблюдение за тропой. Пока можно попить. До перевала пять тысяч метров по горизонтали и около тысячи вверх. Это последний рывок. Осилит горушку — будем отдыхать, будем обедать. Все, в том числе и кони. — Он перевел взгляд с ручного пулемета на щуплую фигуру Другова и добавил: — Пулемет пристройте на выюках. В нем добрых полпуда, а подъем слишком крут.

Другов взял маленькое брезентовое ведро и побрел за водой. Зачерпнув из ручья, он сделал несколько

глотков, мотнул головой, замычал: «Лед!» Выплеснул, снова набрал и подошел к лошади.

— Бильш однией цибарки нэ даваты! — крикнул Остапчук. — Кони зморэни, аж у мыли.

Повод снова уложил продукты в мешок, нехотя поднялся и, забрав у Другова ведро, пошел к ручью, чтобы напоить остальных лошадей. Другов тут же повалился на жесткую колючую подстилку из сухой пихтовой хвои рядом с Шония и Силаевым, который приглядывал за тропой. Так и отдыхали двумя группками, только Радзиевский уединился на отшибе. Он снял сапоги и перематывал портянки.

Истру подсел к Остапчуку и с удовольствием вытянул ноги в хромовых сапожках, служивших, кстати говоря, предметом постоянного зубоскальства. Что и говорить, тридцать седьмой размер обуви — случай далеко не обычный в солдатской среде. Таких кирзовых сапог и не подберешь. Вот и приходится шеголять в хrome.

Старший лейтенант оглянулся на Радзиевского, который старательно разглаживал складки на портянках, потом перевел взгляд на бойцов заслона и усмехнулся про себя. Разве не странно, что эти ребята, прибывшие несколько дней назад и не успевшие даже свести настоящего знакомства, уже жмутся друг к дружке. Что же их сблизило теперь? Приказ оставаться на перевале? Единство поставленной перед ними задачи? Нет, видно, сама судьба уже обособила этих людей, предчувствие того общего, что ждет их в будущем, чего не поделишь — это твое, это мое. Теперь у них все спаяно — и жизнь и смерть, все неделимо, все на троих.

2

Вчера на сторожевую заставу Истру прибыли майор — начальник штаба полка, его помощник по разведке капитан Шелест и лейтенант Радзиевский. Весь личный состав построили в одну шеренгу под разлапистым дубом. Нужно было обеспечить связь с далеко разбросанными группами, отобрать людей на Правую Эки-Дару и проследить, чтобы это ответственное задание было выполнено точно и в срок.

Майор быстрыми шагами обошел небольшую шеренгу, коротко, в упор вглядываясь в лица бойцов. Движения у него были резкими, стремительными. Потом он вскинул голову и посмотрел на командира роты:

— Товарищ старший лейтенант, как же фамилия вашего проводника?

— Шония, товарищ майор, — вытянулся Истру. — Сержант Константин Шония.

— Пусть выйдет из строя.

Шония сделал два шага вперед. Над верхней губой его темнела бархатная полоска по-юношески мягких усов.

— Шония... Грузин? — спросил начальник штаба, разглядывая классический профиль высокого загорелого сержанта. По всему чувствовалось, любит парень похвастаться.

— Мингрел, товарищ майор.

— Ну, это все равно. Дети есть? — неожиданно спросил он.

— Двое, товарищ майор.

— Когда же ты успел? Тебе ведь, пожалуй, лет двадцать с небольшим. Так?

— Двадцать три, товарищ майор, и у меня двойня, — ослепительно улыбнулся Шония, а вместе с ним заулыбались и остальные.

— Ничего не скажешь, расцвет творческих сил! — гася усмешку, проговорил начштаба. — Горы здешние знаешь?

— Так точно! До войны инструктором по туризму работал в этих местах. — Он говорил почти без акцента, чуть нажимая на первый слог и растягивая в нем гласную. — Горы — моя родина.

— Что ж, это дело, это то самое, что нам нужно, — удовлетворенно кивнул начальник штаба. — Будешь старшим в заслоне, сержант.

— Есть, товарищ майор!

— Все инструкции получишь у моего помощника — капитана Шелеста.

...И вот теперь Константин Шония легко шагает в голове отряда, будто вовсе и не вздыбившаяся тропа перед ним, а гладкая ровненькая дорожка, будто и нет за спиной тридцатикилограммового мешка, на шее автомата, а на плече скатки. Истру, шедший за ним, видел, как уверенно и свободно ставил он ногу, словно пританцовывал: носок — пятка, носок — пятка. Врожденная походка горца.

Тропа была настолько крутой, что страшно было остановиться хотя бы на миг, особенно с лошадьми. Казалось, прерви это поступательное движение, эту инер-

цию взлета, и не удержишься, покатишься вниз до самой границы леса. Но сейчас и люди и животные дышали в едином ритме. Это было тяжелое, прерывистое дыхание. Пот застилал глаза, ныла спина от груза, и кровь пульсировала в висках, отдаваясь в барабанных перепонках.

Фирновые поля оставались слева от тропы. Ноздреватый, изъеденный солнцем снег сверкал кристаллической солью. На фоне синего неба надвигавшаяся на них гранитная стена вздымалась мертвым оскалом камня...

Для всех, кроме Константина Шоня, это был хотя и величественный, но чуждый мир, полный враждебности, где каждый куст, каждый камень таили в себе угрозу. Только он чувствовал себя в родной стихии. Здесь парили орлы и рождались облака, здесь начинали свой бег стремительные реки. Торжественный покой гор, прозрачный воздух и светлые потоки, падающие с ледников, очищали душу, настраивали мысли на возвышенный лад. Недаром же древние, побывав в горах, давали им такие поэтические названия, как Поднебесные горы и Крыша мира.

Кавказ был его родиной и родиной его предков. Здесь блистал Эльбрус — обитель солнца и льда, поднявшийся над землей выше всех вершин старой Европы. Здесь, в верховьях Риона, недалеко от селения Амбролаури, был прикован к скале Прометей, грузинский Амирани — античный титан, бросивший вызов богам Олимпа. Здесь и больше нигде в спокойствии и мудрой простоте люди могли прожить две и три обычные человеческие жизни.

Дед Ираклий называл эту землю священной.

Для Кости земля Кавказа тоже была священной, но вовсе не потому, что два тысячелетия назад некие гипотетические старцы в длинных хламидах, опираясь на посохи, бродили босиком по здешним каменистым дорогам, а потому, что эта была его земля, горячая, как стручок огненного перца, и терпкая, как плоды терновника, земля, где холод талых вод соседствовал с оранжевым теплом побережья, где дворы пропахли бараниной, жарящейся на мангалах, и ароматом ткемали — острой приправы из слив и семян. Потому что в Очамчире жила его Нана, родившая ему двух близнецов — Тариэла и Автандила.

Очамчира... Лохмотья коры, свисающей с эвкалиптов, черные покрывала на головах у пожилых женщин

с коричневыми веками, наборные ремешки, опоясывающие тонкие станы седобородых старцев, звуки зурны и бубна, доносящиеся со двора, где вторую неделю подряд гуляют свадьбу, и многоголосье гармонически слаженного хора, что изредка доносит ветерок душной и темной ночью. Это его родина!

Когда Костя уходил из дома, Нана положила ему в сумку красный шерстяной шарф, который связала в последние дни. Сейчас он бесполезно лежал на дне его вещмешка. Слишком не по уставу выглядел бы сержант в таком наряде даже здесь, высоко в горах. Но так ли уж бесполезен он был? Ведь стоило дотронуться до шарфа, и вместе с прикосновением руке передавалось тепло пальцев его Наны. В нем еще жил родной домашний запах. И так ли уж важно, что его не намотаешь на шею? Костю согреет горячая кровь и мысли о молодой жене. А мальчишки, которым совсем недавно исполнился год? Все соседи твердили, что сыновья похожи на него. Какие они теперь? В этом возрасте человек меняется каждую неделю.

Вчера командир роты посмеялся:

— Везет тебе, Шония, одним махом двух пацанов подарил миру. Без брака сработал. А у меня, понимаешь, одно-единственное дитя, и то девчонка.

— Э-э, товарищ старший лейтенант, вам, наверное, кто-то наврал, что на Кавказе девочки не в цене, — ответил Костя. — Наш поэт Руставели сказал: дорог льву его детеныш, будь он львенок или львица...

И вот теперь настал час, когда этому доброму миру грозят разрушение и гибель. Поколеблен извечный покой и попорана мудрость. Люди в серо-зеленых шинелях, оснащенные самым совершенным оружием и первоклассным снаряжением, идут сюда, в его горы, неся с собой неволю для близких и позор родительскому очагу. И кто они, эти люди? Здесь где-то рядом проходит стык двух наступающих вражеских соединений — четвертой горнострелковой дивизии, укомплектованной тирольскими стрелками, для которых горы — привычная стихия, и первой альпийской дивизии со звучным названием «Эдельвейс».

Никогда не встречавшись с врагом, представить его себе трудно. Живых немцев Костя видел только однажды, года три назад. Еще школьником он занимался скалолазанием и альпинизмом, мечтал участвовать в штурме одной из самых труднодоступных вершин Кавка-

за. Уже тогда ему приходилось водить по маршрутам группы экскурсантов. А тут его вызвал в Сухуми начальник республиканского профсоюзного управления по туризму и сказал:

— Шония, ты молодой, но благоразумный человек. Поезжай в Теберду. Поведешь через Клухори пятерых немецких туристов. Пойдешь в паре с местным тебердинским инструктором. Обеспечь, я прошу тебя! И чтобы все было хорошо. Запомни, у нас теперь с Германией дружеские отношения. Это, понимаешь, наши дорогие гости...

Немцы как немцы. Такими он их себе и представлял: отлично экипированные, собранные, аккуратные. Двое были художниками. Только рисовали они не красками, а карандашами на красивых планшетах. Умели делать наброски прямо на ходу.

— Краски — это дома, — говорил темноволосый приземистый крепыш Отто Планечка, единственный из пятерых, прилично объяснявшийся по-русски. — Краски всегда живут здесь, — и он постукивал себя по широкой груди. — Если это делать так, нах дер натур, получится фото. Цветное фото. «Экзакта», понимаешь?

Аппараты фирмы «Экзакта» Костя уже видел у двоих из этой группы. Одного звали Карл Глюкенау. Имя свое он произносил чуть нараспев, проглатывая букву «р». Получалось очень забавно. Другой был Эдмунд. Имена остальных и вовсе не задержались в Костиной памяти.

Уже в Сухуми Эдмунд подарил ему книжку с прекрасными иллюстрациями. Это была «Песнь о Нибелунгах» в переложении для детей и юношества. Но поскольку книжка была на немецком языке, она так и осталась нечитаной. Восхищали только картинки, изображавшие героев древнегерманского мифа. И если маленький рост, опрятная борода и кустистые брови делали Планечку похожим на карлика-нибелунга, то Карл Глюкенау, высокий, голубоглазый, аристократически подтянутый, вполне мог сойти за самого Зигфрида.

На прощанье Отто вручил Косте карандашный набросок его портрета. Но дома сказали, что Костя там не очень похож на себя, и рисунок в конце концов затерялся. Карл обещал прислать фотографии, однако так и не выслал. Видимо, забыл за делами.

Группа тогда шла медленно. Часто останавливались, фотографировались, наблюдали в бинокли за турами,

которые словно бы нарочно выставляли себя для обозрения на голых вершинах отдаленных скал. Немцы делали беглые зарисовки и дневниковые записи. Народ в общем-то оказался покладистый, доброжелательный, и идти с ними было одно удовольствие.

И вот только теперь, совсем недавно, у Кости стали возникать сомнения, действительно ли эти дотошные немцы были всего лишь невинными путешественниками. В ту пору по Кавказу бродило немало таких групп, особенно среди альпинистов. Немцы ходили по Лаббе, Марухе и Зеленчуку. Ходили и по другим рекам. На Эльбрус поднимались. И многие из них, как выяснилось потом, были художниками. Неужели же немцам в такое тревожное время нечего было делать дома? А может быть, под видом туристов в горы Кавказа проникали шпионы-топографы? И кто поручится, что там, за перевалом, эти тирольские части не ведет сюда новоявленный знаток Кавказа немец чешского происхождения Отто Планечка или выходец из Восточной Пруссии белокурый красавец Карл Глюкенау, так и не приславший обещанных фотографий?..

...Скальная стена темно-пепельного цвета уже подступила вплотную, подобно громадному экрану зашторив небесную синеву, заслонив полмира. Слева на пологом склоне виднелось какое-то деревянное сооружение и сложенные штабелем бревна. Отставший от Кости старший лейтенант протянул туда руку:

— Что это?

Шония уже выбрался на широкую площадку у самого подножия скал, усыпанную черным пластинчатым щебнем, и отдыхал, не сбрасывая со спины груза.

— Армянский балаган, — ответил он, — жерди и дранка.

Истру, по-прежнему взбравшийся по тропе, хотел спросить еще о чем-то, но ему не хватило дыхания. Костя заметил это и пояснил:

— Здесь раньше летом армяне барашек пасли. Там внизу много армян, целый колхоз.

— А что за лес сложен? — наконец выдохнул Истру, показывая глазами на ошкуренные бревна.

— Загон для скота строить собирались, — ответил Шония. — Или, может быть, сыроварню. Кто их знает?..

Легкий ветер с ледников быстро сушил взмокший лоб. Он нес знобющую свежесть и запах талого снега.

— Ну, кто там еще? — спросил майор после того, как Костю назначили старшим в заслоне.

Капитан Шелест протянул начальнику штаба серую картонную папку. Майор открыл ее, пробежал глазами.

— Красноармеец Силаев, — он резко вскинул голову, — два шага вперед — марш!

Из строя вышел круглолицый розовощекий парень лет восемнадцати. Сдвинутая на ухо пилотка обнажала левую сторону головы, позолоченную щетинкой подросших после «нулевки» волос. Как у большинства блондинов, кожа его почти не изменила своего цвета под лучами южного солнца. У него были широко расставленные серые глаза, а вздернутый нос пересекала едва заметная поперечная морщинка.

— С пополнением прибыл? — спросил майор, приглядываясь к бойцу. — Откуда родом?

— Сибиряк.

— Сибирь велика, братец.

— Ну, в Енисейске учился, потом работал. — Силаев говорил медленно, растягивая слова. — Отец-мать в тайге живут, фактория там...

— Отец твой охотник, так? Промысловик?

— Ну-у.

— Что это еще за «ну»? — возмутился помощник начальника штаба.

— Стрелять, стало быть, можешь? — спросил майор.

— А чего хитрого?

— На язык ты не больно горазд. У вас что, все там такие?

— Да вроде.

— Дать бы ему снайперскую винтовку, — сказал начальник штаба.

— Винтовка есть, товарищ майор, — приложил ладонь к козырьку Истру.

— Добро, пусть дерзает. Думаю, это будет именно то, что надо...

Возражать Силаев не стал, да и духу у него не хватило б. Не мог же он вот так прямо признаться, что родившийся в тайге сын охотника-промысловика не только в глаза не видел оптического прицела, но и нарезное оружие держал в руках лишь при стрельбе из малопульки в небольшом школьном тире. Была у него берданка шестнадцатого калибра. В конце лета ходил

он с ней иногда на болото бить уток, но баловался ружьишком нечасто, потому что, когда через их места валом шла перелетная птица, гнездовавшаяся в таймырской тундре, ему уже пора было уезжать к бабке Феодосии Федоровне на Культбазу. При фактории, где жили родители и две замужние сестры, никакой школы не было.

Да и где было заниматься серьезной охотой? На промысел отец уходил в начале зимы, когда таежные речки и мари сковывал крепкий лед. Брал с собой двух рыжих эвенкийских лаек — Тайгу и Яра, а на горб — мешок муки да котомку с солью. Уходил далеко на зимовья. Бродил на лыжах по кедрачам, по еловому краснолесью с винтовкой, промыслял белку, куницу, а иногда и соболя. Правда, в последние годы соболь попадался все реже, и отец побаивался, как бы этот ценный зверь вскорости и вовсе не перевелся в тамошних исконных местах.

До окончания четвертого класса Федя Силаев каждую зиму проводил на Культбазе. Потом перебрался к дядьям в Енисейск, учился в семилетке. Звезд с неба не хватал, считался тугодумом. Из-за этого дважды оставался на второй год. Но уж если что входило в его сознание, то задерживалось там прочно. А летом, когда Федя приезжал домой на каникулы, отец охотой не занимался, помогал матери по хозяйству. Вместе с отцом Федя чинил крышу, ладил новый забор, ездил на старую речную заимку косить сено для пегой коровы Насти.

На сенокос обычно выезжали затемно. Там кипятили на костре чай, ждали рассвета. Иногда Федя уходил по косе к самой лесной окраине. Как обычно, увязывалась за ним общительная и отзывчивая на ласку Тайга. Взрывая когтями сырой песок, она мчалась впереди, остроухая, с поднятым по ветру носом. Возбуждаясь, Тайга отрывисто взлаивала, как щенок, играющий в верховую слежку. Потом садилась и нетерпеливо ждала Федю, шевеля прижатым к бедру серповидным хвостом.

...Медленно текло время. Светлая полоска на востоке начинала постепенно зеленеть, делаясь похожей на тихую заводь. Одна за другой гасли звезды. Казалось, они не гасли, а таяли, как тают весной хрупкие льдинки. Топкое моховое болото, подковой огибавшее заимку, превращалось в округлое озеро, до краев напол-

ненное парным молоком. Старые осины, словно фигуры рыболовов в огромных накомарниках, замерли по поясу в странной молочной воде. Легкие перистые облака подкрашивались бледно-розовым брусничным соком. Зудел над головой докучливый гнус. Туман, прежде лежавший на болоте плотным покровом, теперь начинал клубиться, принимая самые причудливые очертания. Отдельные клочки его воровато перебежали через косу и прятались за кустами. Бесшумно скатывались с листьев капли холодной росы. Пахло торфяником, речной свежестью и дымком отдаленного костра.

На душе было празднично и светло. Начало нового дня Федя воспринимал как собственное рождение. Чувство это усиливалось еще и тем, что по складу своего характера он ни с кем не мог разделить его. И вообще Федя был необщительным и малоразговорчивым парнем. Возможно, эта замкнутость была унаследована от предков-охотников. Ведь у них умение молчать шло по одной цене с сухим порохом, твердой рукой и верным глазом. Однако все это не мешало пареньку живо чувствовать свое единение с окружающим миром. Он даже несколько раз пытался писать, передать на бумаге свои ощущения и мысли, но пока ничего путного из этого не получалось.

В отличие от большинства людей он воспринимал окружающее не целиком, не панорамно, а в деталях. Бабушкин дом на Культбазе был не просто бревенчатой избой-пятистенкой. Прежде всего это были запахи. Уютный дух сдобного теста, лампадного масла и сохнувших на печке катанок — особый запах мокрой шерсти. А кедровник на увале невдалеке от фактории, куда огольцами они бегали выбивать из шишек орехи, Федя восстанавливал в памяти через звуки, хотя запахов в нем было хоть отбавляй. Лес этот никогда не шелестел в отличие от березняка или осинника. В острых хвоинках, в мощных колоннах стволов ветер тихо посвистывал, а иногда звенел примерно так же, как звенит в туго натянутых телеграфных проводах. Даже снег, как ни странно, был связан у него именно со звуками: с хрустом под ногами в мороз, с дробным постукиванием о стекло во время пурги и с мелодичным треньканьем в первые дни апрельской капли.

После седьмого класса Федя не захотел учиться дальше, но и возвращаться в факторию не имело смысла. Маленький Енисейск казался ему тогда единствен-

ным окошком в огромный неведомый мир. Он поступил учеником слесаря в судоремонтные мастерские, подрабатывал грузчиком на речной пристани.

В местах, где прошло раннее детство Федора Силаева, надолго задержались старые, оставшиеся от дореволюционной поры названия. Все эти фактории, заимки и зимовейки, мало что говорящие жителю города или выходцу из Центральной России, были естественны для коренных сибиряков, особенно в глубинке. Когда-то факторией называлась торговая контора, обычно иностранная, куда эвенки и русские промысловики сдавали пушнину в обмен на продукты, порох и мануфактуру. Теперь это название применялось по отношению к кооперативным заготовительным пунктам и к небольшим, возникшим вокруг них поселениям.

В борьбе с суровой природой обитатели факторий обособлялись в изолированные сообщества людей, обладающих хладнокровием и отчаянной решимостью в критических ситуациях. И если судьба отрывала такого человека от родных мест, качества эти нередко задерживались в его потомках вплоть до третьего поколения...

...Федя Силаев выбрался на площадку последним. Шония, старшина и ординарец Повод уже развьючивали лошадей.

— Студэнт, чога рассився? — прикрикнул на Другова старшина Остапчук. — Понабрали сачкив, доси обмотки мотать не навчився.

Другов сидел на кочке и бинтовал тощую голень побуревшей от солнца и пыли трикотажной обмоткой.

— Ладно, — примирительно махнул рукой командир роты, — пусть сходит к тому балагану, посмотрит, что там за бревна. Может, труха одна.

Покончив с обмотками, боец легко вскочил с кочки и едва удержал равновесие. Груз, который в течение всего пути отчаянно тянул его назад, приучил Другова чуть сгибаться, уравнивать силу тяжести. И теперь, освободившись от ноши, он ощущал себя словно бы в невесомости. Казалось, оттолкнись посильнее, и воспаришь над долиной Эки-Дары подобно птице.

— Да не валите все в кучу, — подошел к лошадям Истру. — Продовольствие отдельно, боеприпасы отдельно. Силаев, помогите лейтенанту развьючить гнедого. Там взрывчатка. Коней потом отвести на поляну и стреножить.

— С теми переметными сумами поосторожней, — предупредил Радзиевский, — там детонаторы.

Истру дотронулся до плеча Шония.

— Что это за пик справа от перевала? — спросил он, показывая на величественную остроконечную пирамиду, возвышавшуюся над остальными вершинами. Ее белизна слепила.

— Пшыш. Ближайший четырехтысячник, — ответил сержант, разгибая спину. — Почти четырехтысячник. Считают, метров двести недобрал.

Мешки, набитые желтыми брусками тринитротолуола, похожими на печатки хозяйственного мыла, Силаев волоком тащил к тому месту, на которое указал ему Радзиевский. Истру вытягивал из-под выюков тяжелые ломы, пилы, топоры, кирки и лопаты. Шония снял с лошади какую-то непонятную штуковину, отдаленно напоминающую миномет — обрезок четырехдюймовой трубы, у которого с одной стороны был приварен стальной фланец.

— Что это? — спросил Костя. — Новое секретное оружие? — Его желтоватые, чуть навекате глаза с недоумением уставились на диковинный предмет.

— Самовар системы Радзиевского, — усмехнулся старший лейтенант, — заменяет рацию и полевой телефон. В обращении прост и надежен, как кувалда.

Радзиевский, уловивший в словах командира роты легкую иронию, тоже усмехнулся. Но что это была за усмешка! Вымученная, как гримаса боли. Странный все-таки человек этот лейтенант.

Вернулся Другов. Подбежал к командиру роты, вытирая на ходу лоб вывернутой наизнанку пилоткой.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите доложить: бревна как новенькие, только почернели немного.

Истру молча кивнул, и Другов тут же бросился помогать Силаеву. Вдвоем с Федей они подтащили третий мешок с толом к неширокому проему в скальной гряде, образовавшемуся от выветривания и размыва вертикальных пластов черного сланца. И тут Кирилл Другов остановился, чуть не задохнувшись от восторга.

На северо-западе, врасая в поднебесье, сверкал вечными снегами Аманауз. А здесь, рядом, выпирающие из седла скалы тускло светились красными и коричневыми мхами. Только Вислый камень одиноким останцем маячил чуть в стороне. Площадка возле него, на

которой стоял Кирилл, обрывалась тремя большими уступами в пологую воронку ледникового цирка. Глубокая промоина под косым углом рассекала все три скальные ступени. По дну ее сбегала вниз едва заметная тропинка, терявшаяся в пестроте альпийского луга. Там густо росли только травы-карлики, и от этого луг напоминал недавно подстриженный газон. Гребень хребта, двумя крыльями охвативший чашу цирка, ошетинился толстыми изломанными плитами сланца, образуя что-то вроде естественного парапета. С левого крутого склона длинным языком сползал трещиноватый ледник.

Плотный слежавшийся снег забил узкую теснину в скалах, и из-под его заледеневшей толщи неслышно отсюда вырывался буйный поток, кипевший среди баранных лбов и в небольших водопадах.

Дальше виднелось кривое редколесье, а за ним темно-лиловой, почти черной гранью вставал оком хвойных лесов. В горизонте здесь не было привычной акварельной размытости. Это создавало ощущение прозрачности и глубины. Очертания хребтов, переходы цветов и оттенков воспринимались четко и резко, как на детской аппликации.

— Не люблю оци горы, — вздохнул за спиной Другова старшина. Он отдыхал, по примеру Шония скинув ремень и расстегнув гимнастерку. — Зажало тэбэ, як у том гробу. Ниякого простору душе. — Его коротко подстриженные рыжеватые усы презрительно топорщились. — Ото стэп... Грудь сама дышет!

— Ничего ты не понимаешь, Остапчук! — сказал Костя. — Я в вашей степи чувствую себя маленьким и несчастным. Равнина, она, понимаешь, пугает, как бесконечность. Ночью в небо смотрел, да? Страшно было?

— Страшно? — Остапчук расхохотался громко и искренне. — Страшно... Страшно, колы ведмидь на тэбэ прэ, а у тэбэ колун або полино замість винтовки. Силаева спытай, він знае... А нэбо што, там зирки, як свечечки, и мисяць, як той рожок.

— Рожо-ок! — Костя даже сплюнул с досады. — Темный ты человек, Остапчук.

— Но-но, сэржант Шония! — Старшина расправил плечи и даже как-то горделиво избоченился. — Не забывай, с кем говоришь. — Он пощелкал по своей петлице с четырьмя треугольничками. — И ворот застегни. Тоже той... начальник караула, примэр бойцам подаешь...

В этом споре Другов разделял точку зрения сержанта. Степь всегда нагоняла на него скуку. Горы выглядели куда разнообразнее и красочнее. В них была объемность, высота и глубина — то самое третье измерение, которого не знали равнины.

После обеда и короткого отдыха принялись за дело. Радзиевский не спеша обошел нависающую над тропой скалу, то и дело останавливаясь и что-то прикидывая в уме. Он оглаживал скалу ладонью, словно ваятель нетронутую глыбу мрамора, отмечая что-то кусочком сланца на ее шероховатой поверхности.

— Это не гранитная скала, — заметил лейтенант, как бы рассуждая вслух. — Типичный порфирит, тоже крепкий орешек. Наша седловина образовалась из-за того, что сланец гораздо податливее этой породы и больше подвержен разрушению.

Приступив к своим обязанностям, Радзиевский наконец обрел дар речи. Истру молча, с уважением наблюдал за его действиями. В темных глазах командира роты можно было прочесть живое любопытство.

— Взрывчатки хватит? — спросил он осторожно, точно боясь спугнуть мысли сапера.

— Не в этом дело, — ответил Радзиевский. — Скалу надо положить так, чтобы она загродила тропу, легла на первый уступ. Иначе, если махина эта разлетится вдребезги и скатится вниз, работа наша не будет иметь никакого смысла. Все три места, где надо бить камеры для зарядов, я пометил.

Истру собрал весь небольшой отряд:

— Слушай приказ! Лейтенант Радзиевский, Остапчук и Силаев будут долбить ниши в скале. Я и Повод отправимся к балагану. Надо разобрать его и перетаскать сюда бревна из штабеля. Что-то сгодится для блиндажа, что-то на дрова пойдет. Через два часа мы подменим Остапчука и Силаева. — Истру посмотрел на часы: — До захода солнца больше семи часов. За это время Шония и Другов разведывают долину на север отсюда. Необходимо найти места, удобные для лесного завала. До этого мы не сможем взорвать скалу. После взрыва лошади в долину не пройдут. Не на себе же тащить весь инструмент. Пойдете налегке. С собой ничего не брать, кроме оружия. Задача ясна?

— Так точно, — вытянулся Шония, эффектно вскинув руку к пилотке. — Разрешите выполнять?

— Другов, возьмите автомат Повода. Если судить

по карте, настоящий лес отсюда в десяти-двенадцати километрах. Не забудьте, что в горах быстро темнеет. А впрочем, — махнул рукой Истру, — не мне вас учить, Шония горы знает.

...Пять человек стояли у Вислого камня и смотрели вслед двоим, спускавшимся вниз по узенькой тропке. Они были уже далеко, и фигурки их казались отсюда неправдоподобно маленькими. Пологий северный склон стелил им под ноги пестрое многоцветье альпики, словно бесценный ковер.

4

— Ну и кто же третий? — спросил начальник штаба, щуря и без того узкие глаза.

Все молчали. Майор вздохнул, передал картонную папку своему помощнику по разведке и отступил на шаг. Капитан Шелест исподлобья взглянул на бойцов:

— Кто-нибудь из вас занимался альпинизмом?

Коротенькая шеренга по-прежнему молчала.

— Стало быть, никто и представления об этом не имеет? — спросил Шелест, и в его глазах с воспаленными веками нельзя было прочесть ничего, кроме смертельной усталости.

— Красноармеец Другов. Разрешите? — Высокий нескладный парень поднял руку. — Вообще-то я увлекался...

— Выйдите из строя, — приказал капитан.

— Увлекался еще в Москве, в университете.

— Кем готовились стать?

— Учился на филологическом, кончил два курса.

Старшина Остапчук одобрительно покачал головой: башковитый! Хотя парню, судя по всему, было уже под двадцать, в долговязой фигуре его отмечалось что-то еще не сложившееся, не оформившееся до поры, как в стати стригунка-жеребенка. Голенастые ноги с большими ступнями, длинные руки с широкими красными кистями, острый кадык, от волнения перекатывающийся под горлом. Некоторую несуразность в облике молодого бойца подчеркивала не по размеру подобранная гимнастерка: слишком короткие рукава и слишком просторный ворот.

— Мое увлечение альпинизмом носит скорее платонический характер, — как бы оправдываясь, добавил красноармеец.

— Как это понимать? — поднял брови майор.

В строю засмеялись.

— Ну, хватит! — нетерпеливо махнул рукой начальник штаба. — Короче, какое отношение к этому делу вы имеете?

— Интересовался. Читал, — смущенно пожал плечами боец. — На лыжах ходить умею...

— Что делать, других у меня нет, — вздохнул Истру.

— Пойдет, — поддержал его помощник начальника штаба по разведке, или ПНШ, как его называли сокращенно. Ему, видимо, надоела вся эта процедура.

— Будь по-вашему, — согласился майор, все еще не спуская оценивающего взгляда с долговязой фигуры красноармейца.

Излишне пристальный взгляд светлых голубоватых глаз Кирилла Другова был достаточно мягок, даже добр, но в нем сквозила едва заметная лукавинка, которая почему-то злила майора.

Вряд ли Кирилл смог бы объяснить достаточно определенно, почему он добровольно вызвался идти на Правую Эки-Дару. Скорее всего виной была его романтичность и чрезмерная впечатлительность. В какую-то минуту Другову стало до чертиков жаль этого немолодого капитана с покрасневшими от бессонницы глазами. Затянутый в боевые ремни, выглядевший таким молодцеватым, таким уверенным в себе, помощник начальника штаба вдруг неожиданно смутился, когда добровольцев не оказалось, и Кирилл заметил на его лице что-то похожее на растерянность. Парню тяжело было видеть любое проявление нерешительности в поведении бывалого фронтовика, гимнастерку которого украшали два боевых ордена. И Кирилл поднял руку.

— Другов, вы комсомолец? — неожиданно спросил майор.

— Так точно!

— Ну что ж, пусть будет так, как будет, — еще раз подтвердил свое решение начальник штаба и, запустив пальцы за ремень, разогнал складки на гимнастерке. — Все трое пройдете инструктаж у капитана Шелеста. Короче, ребята, мы вас не в пекло посылаем, хотя пост этот и считаем ответственным. Там сейчас тихо, даже слишком. Но необходимо быть начеку. Тишина не должна расхолаживать. Вы в заслоне, так? — Он снял фуражку и вытер лоб. — Был я недавно внизу, у моря.

В райкомах люди не спят уже несколько суток. Положение серьезное. Мы полагаемся на вас.

— Еще бы, — улыбнулся Истру, — не хлопцы — орлы!

— Тем лучше. Трое таких чудо-богатырей — да ведь это же тройной заслон!

...Трава на альпийских лугах была низкорослой и сбитой так плотно, так густо стоял стебелек к стебельку, что дерновина пружинила под ногами, как волосяной матрац. Тут и там мелькали бледно-лиловые и розовые безвременники. Августовское солнце жгло затылок и шею, но временами порыв ветра приносил с собой зябкое дыхание снега. Из темных расщелин тянуло сыростью замшелого погреба.

Шония и Другов шли по широкому лугу, где из земли, точно шляпки грибов-исполинов, выпирали гранитные валуны, потом по кочковатому плато. Они то и дело обходили нагромождения морен с острыми, еще не обкатанными камнями и заросли кавказского рододендрона с глянцевыми темно-зелеными листьями и войлочными коробочками созревших плодов. Его прочные гибкие ветви поднимались на метр от земли, изгибаясь в дугу, наподобие ловчих петель. Иногда под ногами хлопала вода.

Перейдя через мощный снежник, из-под которого с шумом вырывался поток, они ступили наконец на твердую почву речной террасы. Слева рос сквозной, похожий на лесопарк ельник, откуда доносилось мерное постукивание дятла. Где-то прозвенел и оборвался голосок неведомой пичуги.

Тишина действовала на обоих умиротворяюще. Шли под гору легко и свободно, и, не будь позади трудных километров, можно было бы подумать, что вышли они на увеселительную прогулку. Только иногда их тревожила одна и та же мысль. Там, на перевале, остались свои, которые в любую минуту могли бы предупредить об опасности, прийти на помощь. Там легче заметить врага за многие сотни метров и успеть подготовиться к обороне. Здесь же им не на кого было рассчитывать. Но эта минутная тревога быстро проходила: слишком мирным выглядел окружавший их пейзаж.

Шония и Кирилл отмахали уже добрый десяток километров. Ручей, принявший в себя несколько притоков, которые ребятам приходилось переходить где вброд, где по кладкам, превратился в настоящую реку. Неожидан-

но впереди открылась просторная поляна с высокой, с человеческий рост, травой, а за ней реденький лесок с тощими искривленными деревцами. Кирилл остановился и потрогал тугой ребристый стебель девясила с тремя крупными огненно-желтыми цветками.

— Смотри, — сказал он, — макет настоящего солнца! Жалко, не пахнет...

Огненный цветок девясила был действительно прекрасен в этом запоздалом цветении. Покоряли его простота и наивная вера в то, что еще долго не наступят холода и он в неумной щедрости своей успеет уронить в землю семена новой жизни.

— Курить хочется, — сказал Костя, снимая с груди автомат. — Тут тихо, давай покажем.

— Не курю я, — усмехнулся Кирилл. — Не курю. Тетя не велит. Посидеть можно. После таких суворовских бросков ноги гудят — сил нет.

— Гудит, дорогой, только пароход. А ноги ерунда. Назад пойдем, у ледника помоем. Не вода — огонь! Все ка-ак рукой снимет. — Он сел на траву, достал из кармана замшевый кисет и вытряхнул на бумажку щепоть мелко нарезанного листового табака. — Прошлогдний. Жена привозила, когда в Сухуми стояли. Дед сажал. У меня хороший дед, понимаешь? Ираклий зовут. В Зугдиди все знают... — И вдруг ни с того ни с сего запел тихонько с фальшивой слезой в голосе, утрируя кавказский акцент:

В одним маленьким клэ-эткам
Па-апугай сидит,
В другом маленьким клэ-эткам
Его ма-ать плачйт.
Она ему лубит, она ему мать,
Она ему хочет крэпко обнимать...

Кирилл улыбнулся, глядя, как у сержанта в такт песенке подрагивают плечи.

— Ну вот, дорогой, — рассмеялся Костя. — А то, понимаешь, слишком серьезный ты сегодня, даю слово. — Он легко вскочил и одернул гимнастерку. — Все! Покурили, и хватит. В разведке курить не положено.

— А сам куришь. Ай-яй-яй, как нехорошо, — с ехидцей прищурился Кирилл.

— Здесь я не в тылу у врага, дорогой. Здесь я дома. А дома все можно. Можно петь, можно курить, даже голым ходить можно.

Не успели они сделать и нескольких шагов, как в зарослях послышался быстро нарастающий шелест. Шония остановился и вскинул автомат. Другов невольно втянул голову в плечи и тоже изготовился к бою...

На небольшую площадку, устланную вытоптанной травой и поверженными стеблями гигантского борщевика с пожухлыми листьями, выбежала молоденькая серна.

Длинная шея с аккуратной головкой была настороженно вытянута. От основания заостренного уха к уголку рта, пересекая блестящий глаз, шла узкая темная полоска. Такой же ремешок тянулся по хребту до самого хвостика, остро нацеленного и дрожащего от напряжения.

Костя негромко засмеялся и опустил автомат. В ту же секунду, подброшенная в воздух высокими сильными ногами, серна исчезла в траве, стремительная и невесомая. Только на мгновение мелькнул желтоватый подбой на ее груди.

— Клянусь, жалко такую красоту оставлять фрицам! — воскликнул Костя.

У Кирилла от волнения даже пот выступил на лбу.

— Тьфу ты, скотина! — вырвалось у него. — Это ж надо так перепугать человека...

Чтобы снять с себя напряжение, необходимо было отвлечься, переключиться на что-то другое, постороннее, и Кирилл, принаравливаясь к шагу сержанта, стал вспоминать Москву.

Кроме тетки, родных у него не было. Отец погиб в Туркестане от пули басмача, мать умерла от сыпняка годом позже. Кирилл их не помнил. От них остались одни выцветшие фотографии и рассказы тетки. Всю свою жизнь он прожил на Малой Бронной, где у поворота яростно скрежетали трамваи. Они с теткой занимали небольшую комнату в коммунальной квартире. Потолок в коридоре почернел от примусной копоти. За долгие годы копать так глубоко въелась в штукатурку, что у нее появилось свойство самопроявляться. Никакая побелка не могла придать потолку изначальный опрятный вид.

Кирилл вспоминал друзей по двору, с которыми гонял футбол — старую покрышку от мяча, туго набитую тряпками. Он любил свою улицу, любил зеркальную тишину Патриарших прудов в прохладные утренние часы и легкую золотистую дымку тумана над Садовой, где на углу продавалось сливочное мороженое в круглых вафлях по двадцать копеек за порцию.

Он был дитя своего города и не мыслил себя отдельно от него.

Но было в парне что-то, чему он сам не мог подыскать названия, какой-то неясный зов, который заставлял его ночи напролет читать книги о полярных исследователях и покорителях знойных пустынь. Он коллекционировал марки, хотя дух собирательства был чужд его натуре. Марки, эти крошечные миниатюры с кораблями Васко да Гамы, трубящими слонами и китайскими пагодами, волновали его сами по себе. Он упивался названиями: Либерия, Ньяса, Танганьика... Они поселяли в нем такое же смутное беспокойство, как книги Лондона, Арсеньева и Миклухо-Маклая. Он и на филологический-то согласился пойти только потому, что увлекся топонимикой — наукой о происхождении географических названий. Это сулило возможные экспедиции в будущем.

Тетя Оля работала в Ленинской библиотеке. Возможно, именно поэтому в их доме царил культ книги. Книг было много. Практически они занимали в комнате большую часть жизненного пространства. Кирилл рано начал читать.

Тетка умело направляла и развивала его интересы и увлечения. Единственно, что было неподвластно ее контролю, это отношения с Галкой Стеблиной.

Он познакомился с ней на первом курсе. Сидел сзади, через стол от нее, и не уставал часами смотреть на ее белую шею, на розовую мочку уха, на завиток волос.

Однажды, когда у них оказалось «окно» — заболел преподаватель, — его сокурсницы, не стесняясь присутствия ребят, затеяли разговор о мужских достоинствах, мнимых и подлинных.

— Господи, — потрянула Галка своими коротко подстриженными волосами, — ну зачем мужику красивая физиономия? В первую очередь ему нужна светлая голова и интеллект. Если бы мне предложили выйти замуж за смазливое, но пустое парня, я бы отвергла его с презрением, — и она бросила на стол тетрадь с лекциями, — вот честное комсомольское! Я бы вышла замуж за Другова. Галина Другова! Звучит? — Галка отыскивала взглядом Кирилла. — Никто ничего не понимает, — с серьезной миной продолжала она. — Вы даже не представляете, каким потрясающим мужчиной он будет в сорок лет. Ведь у него от природы правильные

черты лица. К тому времени он слегка полысеет, и лоб его от этого станет светлее и выше. Но в глазах, заметьте, все та же живая мысль. — Она драматически прикрыла глаза рукой. — Если ему каждый день скармливать стакан сметаны, результат не замедлит сказаться...

После этой сцены Кирилл уверился, что Галке наплевать на него и что для него она потеряна. Но дня через три она подошла и как ни в чем не бывало протянула два билета.

— Это в зал Чайковского. От тебя, видно, не дождешься.

А потом... Он навеки запомнил огромные потемневшие глаза Галки в минуту прощания на Казанском вокзале, когда она с силой оторвала от него рыдающую тетку и почти крикнула:

— Кирилл, ты должен вернуться! Ты обязан, слышишь? Я люблю тебя. Я всегда буду ждать тебя... Всегда...

...Шония остановился, потому что едва заметная тропка теперь и вовсе оборвалась. За это время они миновали редколесье и уперлись в самый настоящий завал. Старые березы и грабы были повалены на громадном пространстве от обрывистых утесов просторного каньона до самых заплесков бесноватой горной реки. Стволы, беспорядочно наваленные друг на друга, находились в неустойчивом равновесии. Стоило наступить на один край, как другой тут же начинал задираться вверх, а нога — проваливаться куда-то, точно в пустоту прогнившего колодезного сруба. Здесь не то что на лошади, пешком не пробиться.

— Откуда такое? — спросил в недоумении Кирилл. — Кто это наворочал?

Шония покачал головой.

— Лавина сошла. Лавина! Совсем недавно. Может быть, этой весной.

— Что же, сержант, похоже, делать тут нечего, — повеселел Кирилл. — Сама мать-природа нам подыграла, а?

— Ничего не скажешь, дорогой, хорошо подыграла, — согласился Костя. — Такой полосы препятствий, клянусь, ни в одном штурмгородке не найдешь. Тут ни пехота не пройдет, ни бронепоезд не промчится.

— Выходит, назад топаем? — с облегчением спросил Кирилл.

Костя не ответил. Его внимание привлекло что-то желтевшее в траве. Он сделал несколько шагов, подобрал с земли скомканную бумажку и стал разглаживать ее на колене. Это оказалась пачка из-под сигарет.

— Немецкие, — сказал Костя глухим голосом. Его ноздри слегка раздувались.

Кирилл с волнением принялся разглядывать пустую желтую пачку с полустертым названием.

— «Плугатар» или «Плукатар», — прочитал он и, пытаясь разобрать что-то написанное мелким шрифтом, добавил: — Сигареты скорее всего румынские. Но откуда тут румыны? О них ничего не было слышно.

— Немцы всякие сигареты курят: и румынские, и французские, и турецкие. — Костя понюхал пачку. — Клянусь, еще свежим табаком пахнет...

Кирилл в последний раз оглянулся на завал, на просшую сквозь него траву и поехал. Эти мертвые деревья, ставшие пищей древоточцев и короедов, вся эта дичь и захламленность навевали мысль о кладбищенском запустении. Было во всем этом что-то недоброе. И кто теперь мог поручиться, что тут, совсем рядом, не находится враг, тот самый фашист, натянувший на себя жабыю шкуру серо-зеленой униформы с тусклой пряжкой, на которой выбито кощунственное: «С нами бог!» Может быть, вот сейчас, в это самое мгновение, он берет Кирилла на мушку? Ахнет выстрел, и все кончится, и он перестанет существовать!

Другов прибавил шаг. Он шел теперь не оглядываясь, а сырой могильный ветерок все дул ему в спину.

5

Горы вздрогнули, и почва заколебалась под ногами, как во время землетрясения. Вислый камень, эта немая громада, выплюнул из своего нутра три желтоватых дымных фонтана, смешанных с огнем, словно три ствола крупного калибра дали одновременный залп. Концентрированная энергия направленного взрыва качнула порфиритовую скалу, какое-то время удерживая ее в состоянии мнимой устойчивости, но удар раскаленных газов уже сделал свое дело — сдвинул глыбу с естественного постамента, и она рухнула, подняв тучу сланцевой пыли.

Расчет Радзневского оказался точным. Вислый камень, расколовшись на два громадных монолита, упал

на первый уступ, прочно закупорив ту единственную ложбинку в материковой породе, по которой сбегала тропа. Человек мог здесь пролезть без особых усилий, зато ни горную пушку, ни тяжелый миномет, ни продовольствие на выюках противник через седловину не перетащит, даже если ему и удастся разобрать лесной завал в долине реки.

Люди вставали из-за укрытия, слегка оглушенные, отряхивая с себя мучнистую пыль и каменную крошку. В воздухе носился тошнотворный запах жженого тола.

— Блиндаж поставим здесь, — сказал Истру, и собственный голос показался ему глухим. От взрыва заложило уши. — Вот она, естественная выемка. Ломом и киркой тут немного поработаешь. А главное — обзор. Надо соорудить амбразуру. Какое перекрытие делаем? — обратился он к Радзиевскому.

— В один накат. От дождя, — ответил сапер. — Артиллерией здесь не пахнет. А насчет амбразуры, так разве что для света, вместо окошка. Не получается вертикальный угол обстрела...

К вечеру блиндаж был почти готов. Стены его и потолок сложили из почерневших пихтовых бревен, а кое-где в ход пошли жерди и даже дранка от разобранного балагана. Перекрытие засыпали землей, предварительно законопатив сухой травой щели, а сверху нагребли побольше щебня. Единственный выход, обращенный к югу, завесили плащ-палаткой. Туда же вывели колено трубы от самодельной «буржуйки». Печки эти клепали полковые оружейники из столитровых железных бочек. А когда притащили из бывшего пастушьего приюта не успевшее сопреть прошлогоднее сено пополам с кукурузной бодылкой и уложили на нары, блиндаж принял жилой и даже по-своему уютный вид.

— Санаторий! Ну чистый санаторий, — восхищался ординарец Повод. — И название я придумал — «Подснежник». Ребята тут, можно сказать, под вечными снегами...

— Еще бы фрицы не тревожили, — вздохнул Другов, разминая красные натруженные кисти. — Тогда б санаторию этому цены не было.

— А вы хотели бы и невинность соблюсти, и капитал приобрести? — с некоторым раздражением заметил лейтенант Радзиевский. — Такого не бывает.

Даже командир роты посмотрел на сапера с недо-

умением, настолько от его слов веяло неприкрытой враждебностью. И чего он цепляется?

Истру подошел к обрезку трубы, похожему на миномет.

— Шония, Другов и вы тоже, — кивнул он в сторону Силаева. — Подойдите поближе. Вот этот знаменитый самовар, который вызвал ваше любопытство, есть не что иное, как увеличенная во много раз ракетница.

Истру подбросил на своей изящной ладони увесистый шар из папье-маше, похожий на ядро старинной пушки. Только обертка из газетной бумаги с проступающим сквозь клей порывевшим шрифтом нарушала сходство.

— А это снаряд, — пояснил он. — Вот торчит фитилек, мышинный хвостик. Он поджигается спичкой или папироской, и вся эта штука спокойно, без паники опускается в трубу, которую, разумеется, надо установить вертикально. Времени достаточно, около пятнадцати секунд. Выстрел — и ядро летит в небо. Я видел это средство сигнализации в действии, и, должен признаться, зрелище впечатляющее. Основной смысл заключен в том, чтобы в несколько раз увеличить радиус действия сигнала. Это достигается за счет двухмоментности взрыва. Такую вспышку непременно заметят на заставе. Для нас это сигнал тревоги.

— Теперь я понимаю, что значит «заменяет рацию и телефон», — пряча улыбку в шелковых усах, заметил Шония.

— Что делать? — развел руками Истру. — Рации в горах на большом расстоянии ненадежны, да и нет их у нас пока в достаточном количестве. Вот и пошли на одностороннюю связь. Оставляем вам десяток таких снарядов. Берегите, это только на крайний случай.

— Их надо держать в сухом, — вмешался наконец Радзиевский. — Там артиллерийский порох. Он сырости не любит.

— Простите, товарищ лейтенант, вопрос к вам есть. Разрешите? — спросил Костя. — Вы на гражданке химиком были, да? Или строителем?

Этим вопросом сержант нарушал стихийный заговор молчания вокруг лейтенанта. Невинный вопрос, заданный Костей, занимал многих, но никто пока не отважился вот так прямо спросить его об этом.

— Химиком? — Радзиевский впервые рассмеялся, и только сейчас все заметили, что лицо его испещрено

мелкими синими точечками, как от близкого взрыва. — Нет, сержант, инженером я стал поневоле. Я окончил консерваторию в Ленинграде, — и он для чего-то пошевелил двумя изуродованными пальцами левой руки, похожей на большую красную клешню. — По классу рояля...

Наступило неловкое молчание. Наконец Истру прокашлялся.

— Вот, собственно, и все, — сказал он, чтобы хоть как-то прервать тягостную паузу. — Нам еще предстоит заминировать два участка, а к наступлению темноты мы должны спуститься хотя бы до линии леса, иначе наши лошаденки переломают себе ноги. Старшина, как там с продснабжением для ребят?

— Усе в порядке, товарищ старший лейтенант. Готово!

— Шония, кто примет у старшины сухой паек? — спросил командир роты, еще окончательно не оправившийся после неожиданного признания сапера.

— Паек? Красноармеец Другов примет.

— Тогда, Силаев, помогите лейтенанту поставить мины, — сказал Истру. — Я тоже пойду с вами. Это не отнимет много времени...

Старшина уже колдовал на разостланном брезенте. Он стоял на коленях, аккуратно раскладывая какие-то пакеты и мешочки.

— Соби мы ничего не визьмем, — объяснял он Другову. — Сам чуешь, с харчами не густо. Вот манка, сухари, хлиба дви булки...

— Ясно. Только не хлебом единым жив человек.

— Розумию, розумию, товарищ студэнт. Вот вам яешный порошок, сало на за жарку.

— А чего за жаривать-то?

— Як чо? Ото тут дыкий лук по горам, — старшина загнул заскорузлый палец. — Черемша зветься. Сержант знае. Грибы...

— Грибы, это точно, — засмехался Другов. — Грибы я сам видел внизу. Сыроеги вот такие. Червивые, правда.

— Их в солену воду трэба. Воны, оци червяки, ураз выдыхають, сплынуть. А ты их черпачком, черпачком...

Остапчук с особой бережливостью пересчитал пяток банок говяжьей тушенки, придвинул к Кириллу кучку чесночин.

— Бачишь оцей ящик? — спросил он, кивнув на небольшую фанерную коробку. — Цэ макароны, той же хлеб. Можно у суп, можно и по-хлотски, з мясом, — и он шумно сглотнул. — Тушенку берегты трэба. А цэ хвасоля, музыкальный продухт.

— О-о, лобио! — обрадовался подошедший сержант и стал потирать ладони. — Лобио будем варить, да?

— Лобио! — передразнил Остапчук. — Кому шо, а курицы — просо. Ты ото лучше скажи, цинки с боезапасом у блиндаж оттягав, чи ни?

— Так точно! — весело ответил сержант.

— Хванэру бережить...

— Это еще зачем? — удивился Кирилл. — Мы этот ящик на растопку пустим.

— Зачем? — рассердился старшина. — Хрукту з Кавказу до дому пошлэшъ. Мандарыны! Чого рэгочишь? Прыгодыться... Не дай бог, убьють когось, будэ на чем хвамылюю напысать. Усе ж таки солдатська душа, не свыня якась. Розумиешъ? Усе по-хозяйски трэба...

И оттого, что говорил старшина о смерти таким деловым, таким будничным тоном, слова его принимались к сведению, но никого не страшили, ибо касалось это всех вместе и никого в отдельности.

Солнце уже клонилось к закату. В его сиянии оплавлялись острые хребтины гор, и воздух сделался прозрачно золотым, как некрепко заваренный чай.

Остапчук тем временем извлек откуда-то медную гильзу от сорокапятки и кусок шинельного сукна.

— Оцэ каганецъ хтось зробіть.

— Спасибо, товарищ старшина, — ответил Другов. — Коптилка у нас имеется. Мы об этом еще внизу позаботились. Заняли у связистов на время, до светлого дня победы.

Старшина погрозил ему кулаком и стал с трудом подниматься с коленей. Затекали ноги от неудобного положения. Денек выдался не из легких. И потом, что ни говори, пятьдесят лет — не двадцать...

Вернулись с лопатами и кирками Радзиевский, командир роты и Силаев. Они поставили по десятку противопехотных мин на двух участках: слева внизу, на удобных подступах к скальному порогу, и справа, на самом хребте, метрах в трехстах от блиндажа. Оседланные лошади переминались с ноги на ногу. Они были уже взнузданы и брезгливо жевали кислое железо

трензелей. Поклажа на выючных седлах была теперь невелика — кое-какой инструмент да вещевые мешки выступающих налегке людей.

— Ну что ж, орлы, задача перед вами поставлена, — сказал Истру, придерживая коня за повод. Он окинул прощальным взглядом залитые янтарным сиянием горы. В его бархатных глазах затаилась вековая бессарабская грусть. — Простимся. Вот она, ваша линия охранения. Следите строго, чтобы и мышь не проскочила. Не забывайте: впереди враг, за спиной Родина.

Истру пожал руки всем остающимся и, не оглядываясь, зашагал к крутому спуску. Закончив одно дело, он уже начал думать о предстоящем.

Следом за ним двинулись и остальные. Лошади ступали осторожно, то и дело поджимая круп, приседая на задние ноги и скользя на вытянутых передних. Они всхрапывали и настороженно косили глазами. Из-под копыт сыпалась мелкая щебенка.

Прошло совсем немного времени, а маленький караван уже казался далеким и недостижимым. Он уходил отсюда, из сурового царства камня и льда, в уютные тихие долины, где ощутимо дыхание теплого моря, где неподалеку зреют маслины, гранаты и миндаль, и трехпалые листья инжира в придорожных зарослях щедро присыпаны горячей известняковой пылью.

Красный диск солнца уже коснулся хребта, похожего сейчас на зазубренное лезвие. С севера по ущелью подкрадывался сырой холодный туман. На перевале становилось неудобно. И, может быть, именно поэтому оставшимся казалось, что люди, успевшие спуститься далеко вниз, уносили с собой частицу общего земного тепла, их право на общение с миром, незаконно присвоили нечто такое, что принадлежало им всем и что следовало делить поровну.

— Ладно, — сказал Костя, первым отрывая взгляд от долины, в которой уже сгущались вечерние тени, — в нашем карауле, как положено по уставу, три смены. Каждый наблюдатель стоит по три часа и шесть часов отдыхает. Первый раз эти шесть часов спит, второй не спит, занимается хозяйственными делами. Понятно? Сектор наблюдения — сто восемьдесят градусов: запад, север, восток. — Он задрал гимнастерку и вытащил из переднего кармашка штанов большие старинные часы на цепочке. — Первая смена заступает через час. Наблюдатель боец Другов. Вторую смену стоит Сила-

ев, третью я сам. Вопросы есть? Нет вопросов. Тогда, Федя, принеси из большой фляги воды, сольешь мне, дорогой. Надо умыться. Всем надо. Котелок не бери, он жирный. Набери воды в мою каску. Только ремешок не мочи.

Шония расстегнул ремень, стянул через голову гимнастерку вместе с исподней рубашкой.

— Ну и пушистый же ты у нас, сержант! — восхищенно произнес Другов. — Какой бы платок для моей тетки вышел!

— Э-э, дорогой, у нас на Кавказе этим не удивишь. А вот лапы такой, как твоя, здесь не найдешь, это точно. Дефицитная лапа! Сорок десятый размер, да?

— Лапа как лапа, — пожал плечами Кирилл, огорченно разглядывая свои порыжевшие башмаки, похожие на два громадных ржавых утюга. — Мужская, растоптанная...

— Такой лапе цены нет, — не унимался Костя, подставляя ладони под струю воды. — Такой лапой, понимаешь, только саранчу в колхозе топтать...

Вытирая спину и плечи белым вафельным полотенцем, Костя бодро побряхтывал. Потом швырнул скомканным полотенцем в Кирилла и, поднявшись на пальцы, кинул руки в сторону, как флаг по ветру.

— Хоу-нина, хоу-нина, нанина, нанина, — запел он, весело сверкнув янтарными выпуклыми глазами, — хоу, хоу-нина, нанина...

Даже обычно заторможенный Федя не устоял, расшевелился, стал прихлопывать, отбивая такт.

— Хорошая песня! — похвалил Кирилл. — Не так мотив, как слова.

Когда, умывшись, они откинули полог и зашли в блиндаж, Кирилл пропел:

— Бери ложку, бери бак, а не хочешь — лопай так! — Он достал из-под обмотки новенькую алюминиевую ложку. — Сигнал на ужин скоро будет?

— Ты скажи, Федя, — сержант подтолкнул Силаева плечом. — они что, эти худые, все такие мастера насчет пожрать, да?

Силаев снял пилотку и бережно положил на нары. От рыжеватой щеточки его волос в блиндаже даже как-то светлее стало.

— Ладно, голодающий, режь хлеб по фронтовой норме, — разрешил Костя и занялся коптилкой.

Кирилл достал из мешка буханку и спросил:

— Ты сержант, на передовой когда-нибудь был? Немца видел?

— На передовой? Э-э, как тебе сказать... — Он крунул колесико кустарной зажигалки, искусно сделанной из винтовочного патрона, и в блиндаже замерцало дымное сияние коптилки. Оно отбросило на стены громадные угольные тени. — Меня в полковую школу взяли, понимаешь? Немного не доучился — расформировали нас, бросили под Алагир на пополнение. Только в часть попал, туда-сюда — часть отвели с передовой, передали в другую армию. Резерв фронта называется. Вот звание присвоили. На передовой был, а немцев только до войны видел. Водил их тут по горам.

— Зачем водил? — придвинулся к нему Федя.

— Туристы!

— Ну и какие они? — спросил Кирилл.

— Люди. Все как у нас. Только арбуз ели не по-нашему. В Сухуми пришли, купили арбуз на базаре. Так они шляпку срезали, а мякоть, кланусь, ложками доставали!

— Любопытно получается, — усмехнулся и покачал головой Кирилл, — у меня почти все как у тебя. Нас сразу в прожектористы определили. Красота, все время в Москве. Раз в неделю дома, это как закон. А потом на наше место девчат прислали, ну а нас кого куда. Меня, например, в училище направили в Среднюю Азию. Короче говоря, прибыла наша команда в Ташкент, а в штабе округа выясняется: пока мы добирались, училище это на фронт отправили. Целиком, с потрохами. Курсантскую бригаду сформировали там, что ли. Вот так я и попал сюда, на мандарины...

После ужина, захватив с собой шинель, Кирилл выбрался из блиндажа и стал подыскивать место, откуда удобнее было бы вести наблюдение. Быстро темнело, но еще было видно, как снизу седыми космами выползал туман. Обширный ледниковый цирк, образованный отрогами северного склона, уже не вмещал его, и он переливался через край, подступая вплотную к перевалу.

Кирилл передернул плечами и стал надевать шинель. В такую муть, сколько ни таращи глаза, все равно ни черта не увидишь. Оставалось слушать. И он напрягал слух, но, кроме тихих голосов в блиндаже, так ничего и не услышал. Тишина настораживала. Из головы не шла пачка из-под румынских сигарет, найденная у лесного завала.

Время текло медленно, как капля за каплей. Ближе к полуночи, когда надо было будить Силаева, туман начал постепенно отступать. Наверху стали просвечивать отдельные звезды. От холода у Кирилла не попадал зуб на зуб. Спать не хотелось. Он присел на подстилку из сухой травы под самой скалой, засунул руки поглубже в рукава шинели, зажав между коленями автомат.

В этот момент из тумана до него явственно донесся тяжелый хриплый вздох и следом за ним протяжный трубный рев. Он состоял всего из трех-четырех постепенно повышающихся нот. Даже расстояние не могло ослабить его мощи. Но, прежде чем Кирилл успел вскочить на ноги, звук оборвался органичным аккордом.

Спотыкаясь, Кирилл бросился к блиндажу. Путаясь в плащ-палатке, которой был завешен вход, он крикнул:

— Вы! Вставайте! Здесь барс ходит.

— Дурак ходит, — слышался недовольный хрипловатый голос Шония. — Какой барс? Где ты тут барса видел?

— Не веришь? Ну честно, сам слышал, как рычал. Совсем близко!

Заскрипели нары. Сержант хоть и злился, что его разбудили, тем не менее решил встать. Поднялся и Силаев. Молча зажег коптилку, стал не спеша обуваться, накручивать обмотки. Костя остался в нижнем белье. Он только натянул сапоги и набросил на плечи шинель. Шея его была повязана красным шерстяным шарфом.

Все трое подошли к скале и остановились, прислушиваясь. Стояла такая гробовая тишина, что, казалось, слышно было, как пульсирует кровь в собственных жилах.

— Спать на посту не надо, — не выдержал в конце концов сержант. — А то, клянусь, не такое приснится.

Костя достал из кармана шинели кисет и стал вертеть сигарку. Однако не успел он еще поднести ее к губам, как из глубины провала снова долетел низкий раскатистый рев.

— Ну что? — зашептал Другов. — Я же говорил — барс.

— Э-э, сам ты барс, — и Костя прикурил, накрывшись полкой шинели. — Олень ревет! Дурной, молодой. Такой, понимаешь, как ты. Глаза вылупил... Умный олень только в сентябре реветь начнет.

— А чего реветь-то? — спросил Федя.

— Как чего? Ты охотник или не охотник? Свадьба у него, да? На свадьбе всегда много шума. Он, понимаешь, джигит, ему соперник нужен. Сейчас в ствол ружья задуди — ответит. У нас, когда звери с гор в леса сходят, олени даже на паровозный гудок откликаются.

— Северный олень не ревет, — пояснил Федя. — Похрапит, бывает.

— А этот красиво трубит, — заметил Кирилл. — Как в боевой рог.

— Грохнуть бы, однако, — вздохнул Федя. — И сами бы наелись, и вся рота была б с мясом.

— Жалко, — отозвался Кирилл. — Война и так, наверное, все зверье распугала.

Костя сходил за блиндаж, вернулся, плотнее запахиваясь в шинель. Подымил в кулак.

— На пост Силаев заступает, — объявил он. — Другов, ты свободен.

— Да здравствует свобода!

— Э-э, что ты, городской житель, понимаешь в свободе?

— Ладно, я пошел спать, — махнул рукой Кирилл.

6

Уже несколько дней стояла ясная безветренная погода. И это новое утро не обмануло их надежд. Не успел Кирилл сменить на посту Шония, как туман стал таять на глазах, устремляясь вниз по долинам. Остроконечный четырехтысячник справа от перевала как бы светился изнутри, словно исполинский кристалл, и только мерцающие льдистые грани его чуть розовели в лучах утреннего солнца. Блестели скалы от обильной росы.

Внизу раздавались звонкие удары и хруст. Это Федя Силаев колот дрова. У входа в блиндаж над жестяной трубой уже курился дымок. Значит, скоро завтрак и, стало быть, жить можно.

Заступать в наряд днем было одно удовольствие. Так или иначе северный склон все время оставался в поле зрения и просматривался достаточно далеко.

За завтраком, который на этот раз готовил сержант, а делал он это всегда с охотой, Кирилл спросил:

— Почему здесь ничего не пахнет?

— Что не пахнет? — поднял выцветшие брови Силаев. — Чему положено, то пахнет...

— Цветы, говорю, красивые, а не пахнут.

— Наверно, дорогой, вся сила ушла в красоту, — предположил Костя. — Два хорошо сразу не бывает, как говорит мой дед Ираклий. Если сапоги новые, они обязательно жмут, если девушка красивая, она чаще всего дура.

— Ну? — недоверчиво посмотрел на него Федя.

— Зачем уж так категорично? — возразил Другов. — Можно подумать, что жена у тебя не очень красивая.

— Хэ, она и красивая и умная. Но она не-е девушка, понимаешь? Она женщина!

— Не знал, что они умнеют после замужества, — усмехнулся Кирилл.

— Нет, они не умнеют, дорогой. У нас на Кавказе они становятся красивей. — Он положил руку Силаеву на плечо. — Федя, у тебя есть девушка?

— Не-е, — по обыкновению протянул Силаев и вытер нос рукавом шинели.

— Иногда не вытирай нос рукавом, — укоризненно заметил сержант. — Он у тебя и так обгорел, лупится. Здесь ультрафиолет, дорогой. Нос беречь надо.

— До восемнадцати лет дожил, и никого не было? — недоверчиво переспросил Кирилл. Себя он уже готов был выдавать за бывшего человека. — Ну хоть нравился кто-нибудь?

— Да вот тут... недавно ехал в машине с одной, — и он вздохнул. — Красивая тоже. Рядом сидели. Ей нехорошо стало...

— А ты бы пересел, — посоветовал Кирилл.

— Зачем пересаживаться? — не уловил подвоха Силаев. — Дороги такие, на любом месте укачает. Потом, сколько ехали, она как голову мне на колени положила, так и просидела до самого конца.

— Хорошо? — полюбопытствовал сержант.

— А чего плохого? Адрес оставила. В Хосте живет, в госпитале работает.

— Писать будешь?

— Написал. Еще на заставе.

— В стихах?

— Не-е, я стихов не пишу, — покраснел Федя.

— Теперь будешь, — пообещал Костя. — Обязательно. — Он закончил завтрак и лениво полез за

своим великолепным замшевым кисетом. — Закуришь?

— Ты же знаешь, не курю я, — покачал головой Федя и, помолчав, добавил: — Старшина обещал дней через десять с харчами приехать, может, письмо привезет.

— Может, и привезет, дорогой, — сказал Костя. — Почему не куришь? Этому тетя не разрешает, а ты что?

— Может, он из этих, из староверов? — предположил Другов.

— Не-е, — мотнул головой Федя и улыбнулся. Костя понюхал кисет.

— А цвет какой, да? Золотое руно!

— Эту, что в Хосте, Людой зовут, — сказал как бы про себя Федя. Ему не хотелось менять тему разговора.

— Мой совет тебе, Федя, — потрепал его по плечу сержант. — Ты эту девушку, понимаешь, сразу не балуй. Как там Пушкин сказал: чем меньше... тем больше, да?

— Тем легче, — поправил Кирилл. — Тем легче нравимся мы ей и тем ее вернее губим... Сам-то небось шарфик жены каждую ночь надеваешь.

— Ангины боюсь, дорогой, ангины. Подвержен, понимаешь?

Пока Федя собирал грязные котелки, Другов рассматривал спуск в долину Эки-Дары, тонувший в утренней дымке.

— Крутоват, однако, этот южный склон, — задумчиво проговорил он. — Пожалуй, раза в полтора круче, чем северный.

— Это по всему Главному хребту, — заметил Костя. — Так что, если прохлопаем перевалы, взять их потом, понимаешь, будет труднее, чем сейчас немцам. Ровно в полтора раза.

— Надо бы винтовку пристрелять, — ни с того ни с сего заявил Федя. — Сержант, я возьму пять патронов?

— А чего ее пристреливать? — удивился Кирилл. — Я же пулемет не пристреливаю...

— Ладно, принеси, — неожиданно согласился Костя. — К оружию привыкнуть надо, — объяснил он Кириллу, когда Федя вошел в блиндаж.

Через минуту Шония уже держал в руках самозарядную винтовку СВТ-40 с оптическим прицелом.

— Красавица! — искренне залюбовался он, протирая рукавом шинели дырчатую металлическую накладку на стволе, отливавшую вороненой сталью. — Прямо как девушка. И такая же, понимаешь, капризная. Так что береги затвор от грязи.

— А там, на заставе, один сказал, — вспомнил вдруг Федя, — она, мол, потому оказалась на месте, что никто из порядочных снайперов брать ее не хотел.

— Больше слушай! — строго заметил Костя. Он щелкнул «флажком» зажима и вытащил коробчатый магазин. — Оружие, дорогой, любить надо. Устройство объясняли тебе?

— Ну-у, — кивнул Федя.

Костя выбросил из магазина на ладонь один за другим пять патронов и сунул их в карман.

— Пять осталось, — сказал он. — Считаю, я подарил. Мы, дорогой, не так богаты, чтобы сейчас учиться стрелять. Нам, понимаешь, дали больше, чем могли. Не забывай: на шестерых в роте не хватает даже старых раздолбанных винтовок. Возьми вон пустую консервную банку и иди туда. — Костя кивнул на юг. — Чтоб немцы не слышали, а то, клянусь, перед ними стыдно будет...

...И потекли дни один за другим, похожие, как патроны в автоматном диске. На третью ночь пошел дождь, сея мелкую водяную пыль. Он не перестал и утром. Он шел весь день и всю следующую ночь не прекращаясь. Облака были под ними и выше их. Сплошная серая пелена нависла над горами. Все стало влажным и липким. Дрова не хотели разгораться, ботинки не успевали просохнуть, а в довершение к концу следующего дня ребята обнаружили, что стали плесневеть отсыревшие за это время сухари.

Лишь на шестые сутки их вынужденного одиночества облака поднялись выше и стал рассеиваться туман. Дождь перестал, но небо до полудня оставалось хмурым. Только после обеда стали проглядывать голубоватые окна. Было по-прежнему холодно. Из-за темного облака с оранжевой закраиной прорвался к земле огненный столб света. Он высветил дальние хребты, и все увидели, что прежде голые коричневые склоны покрылись белесым налетом — тонким слоем недавно выпавшего снега.

— Надо, понимаешь, с дровами что-то думать, — сказал Шония. — Этих надолго не хватит. Придется

заготавливать внизу, в пихтарнике, а когда приедет старшина, перевезти на вьюках.

— А я бы за грибами сходил, — отозвался Другов. — Эта проклятая манка уже в глотку не лезет.

— Откуда грибы, дорогой? Грибы далеко, туда нельзя. Теперь это, понимаешь, не долина реки, а нейтральная полоса.

— Ну тогда хоть этой, черемши поискать, что ли.

— Ладно, черемша близко, черемшу можно, — недолго поколебавшись, согласился Костя. — Я, дорогой, сам этой преснятины не переносу. Я же мингрел. А ты эту черемшу когда-нибудь видел?

— Где я ее видел? В Москве, что ли, на улице Горького? В магазинах ее не продают.

— Найдешь, дорогой. На южном склоне не ищи. Спустись туда, к валунам, — и он показал на север. — Ищи листики. Такие, как у ландыша, только поменьше. В середине трубочка. В пальцах потрешь — немножко луком пахнет, немножко чесноком. На конце шарик. Такой прижатый с трех сторон...

— Ладно, найду, — отмахнулся Кирилл. — Засиделся за эти дни, хоть подвигаться.

— Эх, сейчас бы в баньке попариться, — размечтался Федя, — с березовым веничком. А потом пельменей наварить. Ведро!

— Постой, куда, дорогой? — окликнул Другова Костя, заметив, что тот уже направляется к спуску. — Автомат мой возьми.

— Да я тут, рядом.

— Послушай, ты кто, боец или курортник? — Он встряхнул Кирилла за плечи. — Это передний край, понимаешь?!

— Все понял. Только трясти не надо, я же не половик.

Он сходил в блиндаж и вернулся с автоматом на шее, решительно одернул шинель и зашагал к первому уступу, где тропу преграждали массивные порфировые блоки.

— Наворочали на свою голову черт его знает что, — ругался он, съезжая по мокрому склону и хватаясь за острые обломки скалы.

Костя стоял на засыпанном щебенкой возвышении, где совсем недавно покоился Вислый камень, и откровенно смеялся, скаля ровные белые зубы, сидевшие плотно, как зерна в кукурузном початке.

Но Другов этого не замечал. Узкая теснина внизу, через которую они с сержантом еще несколько дней назад перебирались по снежному мосту, была сейчас скрыта в тумане. На склонах амфитеатра трава оказалась мокрой и скользкой, и Кирилл уже дважды припечатывался задом к земле. Каждый раз автоматный диск больно бил его под дых. Он проклинал и этот дождь, и собственную неловкость, а заодно и свою дурацкую затею. Мокрые, испачканные землей руки начали мерзнуть. Он останавливался, обтирал их о полы шинели, подносил ко рту, согревая частым дыханием.

— Давай, давай, ходи! — долетел до него голос сержанта, повторенный эхом.

Травы было много, трава была всякая, но той, что нужна, никак не попадалось. Только метрах в трехстах, возле самых валунов, он увидел что-то похожее. Опустился на колени, помял в пальцах — нет, не пахнет.

Где-то над самым ухом прожужжала оса. И тут же что-то щелкнуло по валуну, выбив из него, как дымок, тонкую каменную пыльцу. Запахло кремнем, как это бывает, когда по нему ударяют стальным кресалом.

«Что за шутки?» — подумал Кирилл и повернулся лицом к перевалу.

И снова жужжание, и снова недалеко от его ног брызнул фонтанчик раскисшей земли. Только теперь он услышал звук отдаленного выстрела. Кирилл не успел еще осознать, что происходит, а ноги уже сами подогнулись в коленках. Он присел за валун, прижавшись щекой к холодному мокрому камню. Сердце колотилось, и мысли путались в голове. Он все еще не мог поверить, что по нему стреляли.

Кирилл осторожно выглянул из-за валуна, напряженно вглядываясь в заросли рододендронов, где еще плавали клочья тумана. И вдруг каким-то боковым зрением у крутого склона он увидел троих немцев, явно пытавшихся незаметно обойти его слева. Еще немного, и это им наверняка бы удалось. Все казалось нереальным, как во сне.

Стащив с шеи автомат и став на одно колено, он дал по ним короткую очередь. До Кирилла и тут не сразу дошло, что стреляет он, не глядя, в белый свет, как в копеечку. Еще совсем недавно он и мысли не допускал, что может выстрелить в человека. Но сейчас на рассуждения времени не оставалось, он должен был

защищаться. Для того чтобы добраться до своих, надо было заставить эту троицу убраться или замолчать.

Вторая очередь ушла именно туда, куда следовало. Автомат, как живой, бился в его руках. Кирилл чувствовал его мощь, его убойную силу, и от этого начал обретать уверенность. Когда в ушах утих звон, он услышал где-то далеко позади отрезвляющий крик своего сержанта:

— Быстрее назад! Перебежками!

Голос этот, звучавший будто из совершенно другого мира, вернул его к действительности.

И Кирилл побежал, пригибаясь, петляя по мокрой пружинистой дерновине луга. Через каждые двадцать шагов он падал, полз по-пластунски, вскакивал и снова бежал. Он не сбивался с дыхания, не чувствовал усталости.

Добежав до последнего бараньего лба, обглоданного ледником, он снова растянулся, слыша, как наверху судорожно, захлебываясь, тарахтит родной «дегтярь». Он с трудом оторвал от земли перепачканное грязью лицо и увидел Шония, который во весь рост стоял на том же каменном постаменте и, прижав к боку приклад ручного пулемета, прямо из-под мышки рассыпал веер транслирующих пуль. И только когда Кирилл с невероятным усилием забрался на первую скальную ступень, сержант лег наконец и, поставив пулемет на сошки, стал поспешно заменять диск.

...Услышав автоматную очередь, Федя Силаев подумал сначала, что Кирилл стреляет по какому-то зверю, но команды, которые сержант выкрикивал во все горло, сразу же все поставили на место — началось!

Федя не торопясь надел каску, взял винтовку и вышел из блиндажа. Он увидел, как Другов мечется зигзагами по лугу, и понял, что по нему бьют из винтовок и автоматов. Потом его острые глаза различили далекие фигурки, перебегавшие от валуна к валуну. Он насчитал семь человек. Еще трое значительно выдвинулись по левому склону цирка, видимо, решив отрезать Кириллу путь к отступлению.

Чуть косолапя, Силаев подошел к каменному гребню и улегся поудобнее, прикидывая на глаз расстояние до ближайшей цели. По его расчетам, получалось что-то около шестисот метров. Под бок ему давил какой-то голыш, и он отбросил его в сторону. В этот момент Федя увидел бледного сержанта на высокой скальной пло-

щадке. «Вызывает огонь на себя, — решил он, — отвлекает внимание от Кирилла...»

Костя дал первую очередь, и желто-зеленый пунктир светящихся пуль прошил дымку тумана над конечной мореной.

— Ну, заразы, давай! Ближе давай! — выкрикивал он в каком-то исступлении. Было что-то героическое и в то же время чуточку театральное в его позе.

Грохот пулемета спугнул красноногих альпийских галок, которые поднялись в воздух и с криком закружились над перевалом.

Все так же тщательно, не спеша Федя поставил нужный прицел, прижал поплотнее приклад, поерзал животом и стал ловить цель в скрещенные паутинки. Поняв, что отрезать Кирилла им не удастся, эти трое слева тоже открыли огонь. Федя видел, чем это грозит. В поле его зрения попал наконец здоровенный немец в болотного цвета френче и такой же суконной шапочке с козырьком. Федя задержал дыхание и плавно нажал на спусковой крючок. Приклад отдал в плечо, в ушах зазвенело, но немец по-прежнему продолжал бежать, спотыкаясь и время от времени постреливая прямо от живота из своего маленького черного автомата. Вот он остановился и нагнулся, вытаскивая что-то из широкого раструба коротких кожаных голенищ. Наверное, это был запасной рожковый магазин.

Федя снова прицелился, так же аккуратно и обстоятельно, как на занятиях в школьном тире, и выстрелил, даже не моргнув глазом. Немец споткнулся и упал. Потом поднялся, проскакал немного на левой ноге, придерживая рукой правую ступню, и еще раз упал прямо лицом в траву. К нему подбежали двое, подхватили под руки, пригибаясь, поволокли через заросли рододендрона. За спиной у одного из солдат раскачивался гибкий прут антенны.

А Федя стрелял по-прежнему методично, с расстановкой, стараясь экономить каждый патрон. Он видел, что противник отходит, постепенно скрываясь в тумане.

Наконец Другов выбрался на седловину, держа в одной руке автомат, а в другой длинный конец распустившейся обмотки. Он опустил возле Феди на землю автомат и ругнулся:

— Сволочь, развязывается все время...

Поставив ботинок на камень, он попытался заново на-

крутить обмотку. Но нога противно подпрыгивала сама собой, и он ничего не мог с этим поделать.

— Со свиданьем, — тихо улыбнулся Федя, поднимаясь на колени. — Замерз, однако? Гляди, как тебя колотун бьет.

— Н-ничего, — с трудом выдавил Кирилл сквозь сухие побелевшие губы. — Ничего... Древние говорили... тот, кого любят боги, умирает молодым...

Подошел Костя, держа тяжелый пулемет за еще не остывший кожух.

— Убить нас мало — сколько патронов зря потратили.

— А почему сигнал не давали? — спросил Кирилл.

— Зачем сигнал? — пожал плечами Костя. — Какая-то там пятерка вонючих фрицев... Так у нас, дорогой, завтра ни одной ракеты не останется. Они только пощупали нас. Проверили на вшивость. Через пару дней наши придут, тогда доложим, если завтра снова не погребут. Кто-то из нас, по-моему, подстрелил одного. Наверно, ты, Федя?

— Ну-у...

— Молодец! Один — ноль в нашу пользу. Теперь со знайся, дорогой, страшно было? Боялся чуть-чуть?

— А чего бояться-то? — невозмутимо ответил Федя.

И Костя поверил. В широко расставленных глазах Силаева нельзя было заметить и следов испуга.

— Ну что ж, Федя, — протянул руку Кирилл, — поздравляю тебя со вступлением во вторую мировую войну.

— Одного не пойму, — в раздумье сказал Костя, — зачем они огонь открыли, если хотели тебя врасплох захватить?

— Ну, с автоматом я б им живым не дался. Это они понимали. Вот и спровоцировали на стрельбу, ждали, наверное, когда у меня патроны кончатся. А иначе зачем?

Первый страх прошел у Кирилла, и нервная дрожь уже не сотрясала поджилки, но он был все еще разгoryчен боем.

— А ты чего на пьедестал вылез? — повернулся он к Шония. — Памятник изображал? Стоит, как Пушкин на Тверском бульваре...

— Ты в армии не новичок, — погрози́л ему пальцем сержант. — Пора запомнить: подчиненные не-е обсуждают действия начальников. Но и ты, дорогой, хо-

рош, честное слово! Я любовался, когда ты прыгал, как тур, как настоящий горный козел.

— Бежал, как заяц, вспоминать стыдно, — махнул рукой Кирилл. Он не боялся принизить себя в глазах товарищей, поскольку знал, что в его положении так поступил бы каждый.

— Не-еверно, теперь ты настоящий горец, — крепко сжал кулак Костя. — Извини, дорогой, за тот разговор, но лапа у тебя подходящей конструкции. Площадь опоры и этот... крепкий голеностоп, как говорят альпинисты...

7

Ночью было особенно холодно. Облака наконец уплыли за горизонт, и земле ничто не мешало отдавать накопленное за день тепло. Остро сверкали близкие звезды.

Когда Кирилл сменял на посту Шония, тот спросил: — Мерзнешь? — И между прочим добавил: — Завтра отогреешься, дорогой. Ха-ароший день будет!

Костя не соврал. Погодка действительно выдалась на славу. С утра солнце сияло так же, как в первые дни. Еще до завтрака сержант объявил приказ:

— Всем помыться, побрить физиономии, почистить обмундирование и оружие. На исполнение — один час.

И ребята скребли пушок на подбородках, плескались, трясли шинели и приводили в порядок оружие. После завтрака стали набивать патронами пустые пулеметные диски. Костя распечатал цинковую коробку с непонятной маркировкой, вытащил винтовочный патрон, потрогал пулю с зеленой головкой.

— Другов! — крикнул он. — Тут один цинк трасирующих, да? На диск их должно идти восемь штук. Каждый шестой, понимаешь?

— Понимаешь, — ответил Кирилл, спускаясь в полутемный блиндаж и подставляя сержанту перевернутую каску. — Сыпь, не жмись...

Снаружи послышался крик Силаева:

— Эй вы, самолет!

Костя выскочил наружу, приложил ладонь козырьком к глазам:

— Где?

— А послушай — гудит.

— Быстро все вещи в блиндаж! — распорядился он. — Заливай угли!

Кирилл вытряхнул патроны на нары, набрал в каску воды из фляги и плеснул в топку. Печка шумно выдохнула струю пара, смешанного с белесым пеплом.

— Вон, — первым заметил самолет Федя.

— Ладно, не маши руками, дорогой, — попросил Костя. — Сиди и смотри. Маскировка нужна, понимаешь?

Они пристроились в глубине выемки, на ступеньках, у самого входа в блиндаж. Кирилл, откинув плащ-палатку, тоже следил за небом. Самолет шел вдоль хребта на громадной высоте, оставляя за собой белый инверсионный след, похожий на бесконечно длинного кольчатого червя.

— Рама, — сказал Костя.

— «Фокке-Вульф сто восемьдесят девять», — со знанием дела уточнил Другов.

— Какая разница, дорогой, как он там называется. Разведчик. Это для нас, понимаешь, самое главное. Сиди в норе, как мудрый хомяк, и молчи.

Самолет скрылся на юго-востоке, расползся, растаял в небе его облачный след.

— Не заметил, однако, — с облегчением сказал Федя, поднимаясь первым.

— Не должен был, — согласился Костя. — Сверху наш блиндаж — это куча камней и щебня. Даже в такой день.

— А ты молодец, — похвалил Кирилл, — погоду предсказал точно.

— Тут закон такой: ветер с моря — значит, дождь или снег, с севера или востока — жди ясной погоды.

Они снова принялись за прерванное занятие, время от времени поглядывая в сторону цирка. После вчерашнего бойцы заслона стали осмотрительнее.

— А откуда ты по-русски так хорошо знаешь? — спросил Федя сержанта.

— Русскую школу кончал, дорогой. Книжки читал. Потом, думаешь, зря я столько по горам лазил? Все время туристы. Ка-акие! Академики, профессора...

— Слушай, — сказал Кирилл, — ты что, так и ходил бы с туристами до глубокой старости, если б война не помешала?

— Зачем? Я уже документы в техникум послал, хотел медицинским работником стать, как мой отец.

— А он что, в больнице работает, — спросил Кирилл, — или в санатории? У вас ведь, куда ни плюнь, обязательно в санаторий попадешь.

— Он ишаков, лошадей, буйволов лечит. Он ветеринар. Уважаемый человек! В селе живет. Война кончится, приезжай вместе с Федей. Клянусь, дорогим гостем будешь. Вино, грецкий орех, гранат, мандарин...

— Мушмула, — подсказал, улыбнувшись, Кирилл.

— Она вместо заборов у нас, — пренебрежительно сказал Шония. — Ша-ашлык делать будем...

Солнце поднялось достаточно высоко и начало не на шутку припекать. Костя первым решил снять шинель.

— Что это? — сказал Федя, привставая. — Опять, что ли...

Костя двумя прыжками подскочил к торчащим сланцевым плитам, присел на колено, сверля глазами прозрачную дымку над далью альпийского луга.

— Точно — идут, — подтвердил сержант и уже другим голосом командовал резко: — Надеть каски! По местам! К бою! Силаев, живее, дорогой, живее...

Другов со своим тяжелым ДП подбежал к скальной площадке, на которой они еще в первый день выложили из крупных камней некое подобие бруствера, и стал устанавливать пулемет. Острые стальные сошники скользили по гладкой плите.

Повинуясь окрику сержанта, Силаев чуть быстрее, чем накануне, занял позицию для стрельбы лежа. Потом все-таки покрутился и, приподнявшись на колени, снял шинель. Он аккуратно сложил ее и подстелил под себя.

Костя выбрал удобный проем в плитах, напоминающий узкую крепостную бойницу, и с нетерпением поглядывал на Федю.

— Патроны беречь, без команды не стрелять, — распорядился Шония. — Подпустим на двести метров, до последних валунов. Тогда они будут все, понимаешь, как на ладошке. Тут мы их, как клопов, и подавим.

— А ведь их только четверо, — отозвался со своего места Кирилл. — Странно...

Действительно, у щебенчатого вала конечной морены, замыкавшей вход в обширную воронку древнего ледникового цирка, обходя крупные валуны, шли четыре человека. Двигались они гуськом, стараясь ступать след в след. Похоже было, что последний слегка прихрамывает. Он все время отставал, и те трое, что шли впе-

реди, вынуждены были часто останавливаться, поджидая его.

— Куда они прутся? — поднял голову Кирилл. — Прямо под пули. Может, затевают что?

— А шинели-то серые, — заметил Федя.

— Да ведь это же наши, — подскочил Кирилл. — Наши!

— Погоди, дорогой, спокойно, — нахмурился сержант.

Четверо неизвестных так долго тащились по лугу, что у Кирилла терпение лопнуло.

— Да что они, три дня не ели, что ли?

У первого, который был ростом пониже, что-то темнело на поясе, похожее на кобуру пистолета. Второй и вовсе, казалось, не имел при себе оружия. И только у двух последних из-за плеч откровенно торчали стволы карабинов. Длинная кавалерийская шинель отставшего целиком скрывала его ноги.

— Вторая-то баба, однако, — определил Федя.

— Какая баба, дорогой? — возмутился Шония. — Женщина. Жен-щи-на! Спокойно, спокойно, пусть подойдут ближе.

Когда незнакомцы добрались до самой подошвы гряды и поднялись ко второму уступу, Костя шагнул к краю обрыва и резко окликнул их:

— Стой! Кто идет?

Шедший впереди вздрогнул от неожиданности, и рука его машинально потянулась к поясу.

— Руки! — Костя вспрыгнул на торчавшую плиту и встал в живописной позе, держа автомат наизготовку.

— Свои, — обрадованно ответил первый, поднимая руки и показывая, что в них ничего нет. — Я младший лейтенант Киселев.

— Бросай оружие! — скомандовал Костя. — По одному навверх, живо!

Киселев неохотно вытащил из кобуры пистолет и продолжал нерешительно вертеть в руках. Боец, одетый в кавалерийскую шинель, послушно стащил карабин и откинул его в сторону. Предпоследний, что был выше всех ростом, немного помешкав, пожал плечами, но все же последовал его примеру.

— Бросай, я кому сказал, — с явной угрозой повторил Костя.

— Тут кругом камни, жалко, — ответил Киселев. — Щечки эбонитовые — разобьются...

— Я тебе покажу щеки!

Киселев нагнулся, положил пистолет на плоский камень и стал карабкаться по склону, хватаясь за острые края блоков. Когда он поднялся на седловину, сержант приказал Силаеву обыскать его.

— Послушай, — Киселев отступил на шаг, — я командир Красной Армии, младший лейтенант...

— Это с какой стороны посмотреть, — говорил Костя, пока Силаев ощупывал у Киселева бока и карманы. — Если с левой стороны, то вы действительно младший лейтенант, если с правой — рядовой боец.

Киселев покосился на свою защитную фронтовую петлицу и смущенно пожал плечами:

— Ты смотри, действительно. Потерял кубарь...

— Документы есть?

— А как же, удостоверение личности, — и он, сдвинув портупею и отстегнув крючок на шинели, полез в карман гимнастерки.

Костя придирчиво осмотрел удостоверение, бегло сличил фотографию с оригиналом. Он был еще очень молод, этот Киселев. От усталости или от голода у него заметно ввалились глаза и запали щеки.

— Командир минометного взвода, — укоризненно сказал Костя. — А где же ваши минометы?

На скулах младшего лейтенанта вздулись желваки:

— Мы из окружения вырвались. Минометы в реке утопили. Люди погибли. Все до одного. Даже раненых не осталось. Трудно представить, что там было... — Губы его задрожали. — Мы четверо суток ничего не ели...

— Это ваши люди? — кивнул в сторону Шония.

— Вот тот длинный, Володя Конев, пристал по дороге, а другой красноармеец мой. Ездовой Азат Кадыров. — Он покашлял в кулак. — Узбек. По-русски говорит плохо, но все понимает.

— А хромает почему? Ранен, что ли?

— Ерунда, натер ногу.

— А девушка?

— Была санинструктором в роте.

— Почему была? — спросил сержант.

— Потому что роты больше не существует, — помрачнел Киселев.

— Подымайтесь! — махнул рукой Костя остальным.

Девушка стала взбираться на кручу, а боец в длинной шинели все стоял в нерешительности, поглядывая на валявшиеся карабины.

— Пинтопка, брат? — спросил он.

— Давай! — разрешил Шония. — И пистолет командира подбери.

Девушка оказалась на полголовы выше Киселева. У нее было широкое открытое лицо, светлые глаза и потрескавшиеся губы. Стриглась она по-мужски.

— Военфельдшер Сулимова, — представилась она, все еще тяжело дыша. — Лина Сулимова. Документов у меня нет, — добавила она, — только вот комсомольский билет. Вы не представляете, мы так счастливы, что дошли до своих. Прямо не верится...

— Клянусь, мы счастливы не меньше, — улыбнулся Костя, взглядом окидывая девушку с ног до головы. — Сержант Шония, старший в группе заслона. Силаев! — крикнул он начальственно. — Доставай, что там у нас осталось. Надо, понимаешь, скорее людей накормить. Другов, прими у красноармейца оружие.

— Кто такой? — подошел Костя ко второму бойцу.

Тот был довольно высок, и на вид ему можно было дать лет тридцать. Щеки его обросли густой неопрятной щетиной, напоминавшей затертую сапожную щетку. Особенно бросался в глаза приплюснутый нос.

— Боец Конев, — вяло ответил он. — Служил в полковой разведке.

«Сломана переносица, — отметил про себя Костя. — Уж не уголовник ли?»

— Из окружения? — спросил он.

— Громче говорите, — подсказала военфельдшер, — он контуженый.

— Из окружения? — повысил голос Костя.

Красноармеец вздрогнул, как от удара, и зрачки его расширились.

— Нет! Не был я ни в каком окружении! — крикнул он с непонятным ожесточением. — Привыкли, чуть что — в плену, в окружении. На задании был. Выходили кто как мог. Кто уцелел, тот и вышел.

— А документы какие-нибудь сохранились?

— Чего-чего? — не расслышал боец.

— Документы, говорю, есть?

Конев шагнул к сержанту и, оттянув мочку уха, подставил ему голову:

— На, смотри! Кровь засохшую в ушах видишь? Вот это и все документы. В разведке мы были, поняли? Документы командиру взвода сдали. Порядок такой. Пора знать...

Костя только сейчас заметил, как лихо этих людей потрепала судьба. Оборванные полы шинелей висели бахромой, а у младшего лейтенанта возле самого кармана зияла дыра с обуглившимися краями. На разбитых кирзовых сапогах налипла в несколько слоев грязь.

У Кадырова вид был особенно жалкий. Большая, потерявшая форму пилотка была натянута до ушей, будто сырой пирог с маху надели ему на голову. Измазанная глиной кавалерийская шинель выглядела явно с чужого плеча.

— Что это он у вас одет как пугало? — спросил Шония у младшего лейтенанта.

— Свою шинель в бою потерял, — объяснил Киселев, — а это... Это мы уже с убитого сняли...

Прибывших накормили манной кашей, щедро выложив в нее последнюю банку тушенки, а вместо чая в кипяток налили побольше сгущенного молока из НЗ. О том, что люди несколько дней голодали, можно было догадаться и без расспросов.

Когда Киселеву дали ложку и придвинули котелок, рука его заметно дрожала. Он помял, помассировал горло. По всей вероятности, его мучили голодные спазмы. Конев, прежде чем есть, понюхал кашу. Жевал он угрюмо и сосредоточенно. Кадыров, напротив, ел шумно и быстро, низко наклонив голову, словно боялся, что у него отнимут котелок. И только Лина старалась не ронять достоинства, вроде бы очередной раз пришла на обед в тыловую военоторговскую столовую.

— Оружие нам вернешь? — уже допивая кипяток, спросил Киселев.

— Не положено, понимаешь? — смутился Костя. — Служба...

— А если немцы сейчас полезут?

— Другое дело, дорогой. Совсем другое дело. Думаешь, мы вам не верим, да? На, забирай свой пистолет! Не жалко. Но мне, понимаешь, неприятности будут. Завтра старшина придет, отведет вас на заставу, там все получите.

Кирилл всячески подавал сержанту знаки: отдай, мол, не видишь — свои. Но Костя отвернулся, будто ничего не замечает. Конев сидел нахохлившись.

— Винтовку бы почистить положено, — как-то невпопад сказал Конев младшему лейтенанту. Он явно не слышал его разговора с сержантом.

— Нельзя! — крикнул ему на ухо Киселев. — Отобрали у нас оружие.

— Совсем?

— До особого распоряжения. Говорят, проверят нас, тогда вернут.

— Опять за старое? Опять, суки, за старое?!

Костя побледнел и сжал кулаки.

— Володя, миленький, не шуми, — бросилась к нему Лина, — тебе покой нужен.

— Покой нужен им, — Конев ткнул пальцем в сержанта, — этим мародерам! — Он весь трясся, на губах белой пленкой выступила пена. — Вечный покой в братской могиле!

— Володя, ты что говоришь, опомнись, — уговаривала его Лина, держа за плечи.

— Пошла вон, стерва! — гаркнул он, сбрасывая ее руку. И уставился на Федю. — Глянь, морды понажрали...

— Конев, прекрати! — крикнул Киселев.

Но тот уже шагнул к Косте:

— Отдай винтовку по-хорошему, добром прошу.

— Не отдам, не имею права!

Глаза Конева побелели, плоский нос раздувался. Он был сейчас явно невменяем.

— Перестань, — снова крикнул Киселев, вставая между ним и сержантом. — Я тебе приказываю, слышишь? А то дождешься — свяжем.

— Это вы завели меня в ловушку! — повернулся к нему боец. — Только хрен у вас такой номер прорежет. Уйду назад, откуда пришел, и все тут.

Он оттолкнул Киселева и пошел к спуску. Костя загородил ему дорогу.

— Умом тронулся, да? — сказал он. — Хочешь, чтоб расстреляли как дезертира?

Конев присел, ощерился, точно зверь, готовящийся к прыжку, и вдруг выхватил что-то из-за голенища. На солнце сверкнуло лезвие финки.

— С дороги!

Костя отскочил назад.

— Остановись! — крикнул он. — Пристрелю!

Федя поднял винтовку и пальнул в воздух. Конев метнул на него взгляд и неожиданно, резко отпрянув в сторону, бросился бежать вправо по хребту.

Федя спокойно поднял ствол и стал ловить беглеца на мушку. Подскочил Кирилл, толкнул снизу винтовку:

— С ума сошел, он же больной, он контуженый! — И сам бросился вдогонку. — Стой, — закричал Кирилл, — стой! Там мины!

Услышал его Конев или нет, но он тут же рванулся влево, взлетел на сланцевый гребень, сорвался, повис на руках и спрыгнул на уступ. Кирилл даже зажмурился. Он был уверен, что Конев костей не соберет. Но тот уже мчался вниз. Упал, проехался на спине по щебнистой осыпи, вскочил и снова побежал к валунам, делая на бегу заячьи «скидки», ныряя между камней.

С площадки резанул пулемет. Это Костя с отчаяния решился на последний шаг. Кирилл бросился назад, размахивая длинными руками, как мельничными крыльями:

— Не стреляйте! Не надо!

Пулемет умолк. Сержант поднялся, бледный, вытирая со лба пот.

— Зря вы, ребята, — сказал Киселев. — У него это пройдет, и он вернется. Деваться ему все равно некуда. Не пойдет же он к немцам сдаваться.

— А черт его знает, — пробормотал Костя.

— День-два походит и остынет. Жрать-то надо. У него ведь, кроме этой финки, и оружия-то нет.

Все были взволнованы случившимся. Возбуждение проходило медленно. За что ни брались, все валилось из рук. Лина, расстроенная до слез, сняла шинель и разложила ее посушить на солнце.

— Может, помоется, товарищ военфельдшер? — предложил Костя. — Вода свежая, утром натаскали.

— Для начала бы вздремнуть полчасика, потом уж...

— Спускайтесь в блиндаж, там нары.

— Доконал девку Володька, — покачал головой Киселев.

— Все-таки откуда он взялся, этот псих?

— Да мы его только позавчера встретили. Ну, обрадовался он, предлагал вместе партизан искать. Я ему говорю, тут фронт, какие сейчас партизаны. Давай к своим пробиваться. А он: я, мол, к своим уже раз пробивался из окружения. В октябре сорок первого под Вязьмой. Потом шесть месяцев в сортир под конвоем водили. Проверяли все. Лина стала объяснять, что ему, дураку, лечиться надо. Кое-как уговорили.

Подошел Кадыров, тяжело волоча ноги, остановился, потупившись.

— Чего тебе? — спросил Костя.

— Давай пинтопка, назад пинтопка давай, — забубнил он.

— Не положено, Азат, — ехидно пояснил Киселев. — Не положено. Кто тебя знает, чем ты там внизу занимался. Может, ты немецкий шпион. Может, ты душу шайтану продал.

— Какой шайтан? — Красноармеец стиснул маленькие сухие кулаки. — Мой стрелял, мина бросал, — и он жестом показал, как опускал мины в ствол миномета. — Когда все убитый был, мой пинтопка не терял, один штык терял... — Лицо его вдруг искривилось судорогой, запрыгали губы, и по темным щекам грязными ручейками потекли слезы.

— Может быть, хватит на сегодня спектаклей! — вскочил Костя. — Ну чего разревелся? Пойди умойся. Другов, отдай им оружие. Клянусь, подведут меня под монастырь...

— Чего волноваться, там все равно ни одного патрона, — успокоил его Киселев, щелкнув затвором.

Получив пистолет, младший лейтенант заметно воспрянул духом. Он подробно рассказал, как их поредевшая в боях часть отходила вверх по горной реке. Его взвод — всего два батальонных миномета — вместе с остатками стрелковой роты был в прикрытии. Они отставали от основной колонны более чем на километр, подрывали и жгли за собой мосты, отбиваясь от наседающего противника. И тут впереди слышались взрывы гранат и трескотня автоматов...

— Это, верите, было полной неожиданностью, — рассказывал Киселев. — Стало ясно, что колонна нарвалась на засаду. Ущелье узкое, не развернешься. Видимо, немцы сумели каким-то образом опередить нас и зайти с тыла. Скорее всего они пропустили головную заставу, а основное ядро встретили таким шквальным огнем, что головы не поднимаешь. Их, сволочей, не видно, а мы — вот они, как на блюдецке. Сзади теснят, вперед не сунешься, кругом отвесные скалы да река...

Младший лейтенант вытер со лба пот и помолчал некоторое время. Он был совсем, совсем молодой. Может быть, чуть постарше Силаева.

— Закурить не найдется? — спросил он устало.

Костя с готовностью развязал кисет.

— Короче, никто не вышел, — сказал Киселев и шумно сморкнулся двумя пальцами. — Все там остались. Вы когда-нибудь видели бойню? Я не видел. Но

теперь знаю, что это такое. Лежат вповалку друг на дружке... У меня всех побил. Последние мины мы с Азатом уже вдвоем выпустили, последние патроны расстреляли. А тогда — минометы в речку и сами на тот берег. Местами-то с головой было. Азат чуть не потонул. Вода ледяная, об камни бьет. В тот момент ничего не чувствовал. Как выбрались на другую сторону, до сих пор не знаю. Помню только, в кусты нырнули, а тут, на счастье, сухое русло. Ложбина в горе промыта. По ней-то мы и пошли. Там вскорости Лину встретили. Она раненого на себе тащила. Тоже насквозь мокрые и оба в крови. Сели, воду из сапог вылили и дальше, дальше. Раненого по очереди волокли. Только умер он на второй день. В шею был ранен. Похоронили кое-как. Шинель его Азату досталась.

— А что, немцев так ни разу и не встретили? — спросил Костя.

— Вчера чуть было не наравались. Вовремя голоса слышали. Пришлось обходить, прятаться. Без патронов, с пустыми руками немного навоюешь. А карты нет — и вовсе как слепые. Шли вверх по ручьям, главный водораздел искали. На вас мы случайно вышли.

— А что за части у немцев, не слыхали?

— Эдельвейсы, черт их подери. Первая альпийская дивизия. Полк вот забыл, наши разведчики говорили...

— Ладно, отдыхайте, — сказал, поднимаясь, Костя, — набирайтесь сил. До вечера времени много. Это мне теперь глаз не сомкнуть.

Силаев отозвал его в сторону.

— Оружие ты им, однако, зря вернул, — шепотом заговорил он. — Помнишь, о чем капитан говорил?

— Ты что, за шпионов их принимаешь? — рассмеялся Костя.

— Да не-е, я не о том. Инструкция... Для чего же нас тут поставили? И Кирилл твой чумной какой-то. Долбанули бы этого дезертира, и делу конец. А теперь думай...

После ужина Силаев заступил на пост. Погода начала портиться. Костя спустился в блиндаж. Киселев о чем-то возбужденно рассказывал Кириллу. Остальные тем временем разжигали огонь в печке. Снаружи доносились резкие порывы южного ветра. Похоже было, что снова дождя надует.

— Лина у нас героическая девушка, — говорил Киселев. — Представляешь, одна раненого через речку...

— Надо же, — засмеялась санинструктор. У нее были покатые округлые плечи и широкие в кости крестьянские руки.

— Я серьезно, братцы. Жертвенность в характере русской женщины. Война — ее призвание.

— Что ты, — встrepенулась Лина. — Война — это прежде всего беда. Если у меня и есть настоящее призвание, так это доить коров. Мне корова сроду давала молока на два литра больше, чем остальным.

— Выходит, слово особое знаешь.

— Это точно. У нас говорят: ласковое словечко и скотине любо. Еще девчонкой, помню, была, в хлеву приберу, все выскребу, соломки свежей постелю, занавески марлевые на оконце повешу. Цветы даже приносила. Дою коровушку, лбом к теплomu животу прижмусь, а сама песни ей напеваю. Молоко в подойник — цвирк, цвирк. Она слушает, ушами водит и глаз большой, выпуклый косит на меня. Ресницы вот такие...

— С коровой проще, — вздохнул Костя.

— Это точно, — подтвердил Кирилл, — не те проблемы.

— Сержант, про Володьку не думай, — махнул рукой Киселев. — Никуда не денется.

В трубе зашумело пламя, запахло горячей кирзой и распаренным сукном шинелей. Младший лейтенант, выпавшийся и теперь захмелевший от сытости, поправил на плече портупею и вдруг стал напевать простуженным голосом:

Пусть другой вернется из огня,
Снимет боевые он ремни...

Лина,

пожалей его и, как меня,
Нежно, крепко обними...

Сулимова потрепала его по голове.

Пихтовые дрова трещали, постреливая через открытую дверцу жаркими искрами. Железные бока печки раскалились до вишневого цвета, бросая на лица багровые отсветы.

8

Дав короткую передышку на один-единственный день, будто специально для того, чтобы люди смогли обсохнуть и воспрянуть духом, небо снова отгородилось

от них плотной завесой туч. Почти всю ночь не переставая резал косой дождь. При сильных порывах ветра он всплесками барабанил по натянутой плащ-палатке. Только утром дождь прекратился на короткое время, и, пользуясь этим, все выбрались наружу, чтобы помыть-ся и поразмять кости.

Временами на перевал наталкивалось одиноко блуждающее облако, и тогда все тонуло вокруг в белесоватой мути, словно в курной бане, когда там хорошенько нагладут пару. Облако мягко обволакивало, забивало легкие, и становилось трудно дышать.

Кирилл все время думал о Коневе. Где его носит под этим дождем? А может, он и вправду решил податься к немцам? В это не хотелось верить.

Лина закатала рукава выше локтя и широко расстегнула ворот гимнастерки. Азат сливал ей в пригоршни воду. Шея и руки у санинструктора были белые, не тронутые загаром. Защитную хлопчатобумажную юбку распирали мощные бедра, казалось, она вот-вот треснет по швам. Шония и Киселев украдкой наблюдали за ней, впрочем, делая вид, будто Лина их вовсе не интересуется.

Снова пошел дождь, и младший лейтенант направился к блиндажу.

— Как думаешь, — повернулся он к Косте, — меня сразу пошлют на передовую?

— Наверное, отдохнуть дадут.

— На кой черт мне их отдых...

— Наши идут! — раздался вдруг торжествующий возглас Кирилла. — Старшина и еще двое.

— Наш Остапчук никогда никуда не опаздывает, — сказал Костя. — По нему часы проверять можно.

Вместе со старшиной на перевал пришли политрук роты Ушаков и молчаливый пожилой боец Саенко, которого в роте старались использовать на всяких хозяйственных работах. На нем красовалась кубанка с пысевшим каракулем. Поверх нее он натянул серый башлык, длинные концы которого были замотаны вокруг шеи. Саенко вел под уздцы навьюченную лошадь. Все трое тяжело переводили дух и с любопытством поглядывали на неожиданное пополнение. Их тяжелые, набухшие от дождя шинели стояли колом.

Слушая доклад сержанта о событиях последних дней, Ушаков только хмурился и кивал. Мокрая брезентовая фуражка с прямым козырьком не могла скрыть

смертельной бледности на его скулах и побелевшем кончике носа. Он хрипло дышал и держался за грудь.

Ушаков пригласил в блиндаж Киселева и его спутников, а бойцы заслона так и ринулись к старшине: больше всякого продовольствия они ждали писем.

— Нема, хлопцы, — развел руками Остапчук. — Оце, мабуть, ще пышать. Шось наша полева пошта плохо робэ. Ото з Мбсквы пысьма аж через той... Ташкэнт шлють, — кисло пошутил он.

— Ну это далеко — Москва, Сибирь, понимаешь? — возмущался Костя. — А я, дорогой, из Очамчыры письмо жду. Тут раз-два пешком дойти можно.

— Оце тобі, Шония, подарунок замисть пысьма, — запуская руку в карман шинели, объявил старшина. — Пэрчина! Горлодер. Щоб дома нэ журылысь.

— Спасибо, Остапчук, спасибо, дорогой. Живи сто лет! — обрадовался подарку Костя и тут же спросил: — А что с нашим политруком, болен он, что ли?

— Асма у його, — сердито махнул рукой старшина, — грудна жаба! А он у ци, у горы. Нэ вдержись...

Когда развьючили лошадь и заташили продукты в блиндаж, политрук уже заканчивал разговор с киселевцами. Судя по всему, результатами его он был доволен.

— Мне б и с вами троими потолковать, — подозревал он Шония. — За этим и шел. — Он повернулся к Остапчуку. — Прикажете Саенко, пусть побудет за наблюдателя, пока мы тут управимся.

Ушакову хотелось остаться с бойцами заслона наедине, но и под дождь выгонять людей было как-то не с руки. Народу в тесном блиндаже набилось так много, что стало душно и пришлось откинуть плащ-палатку. Свет, проникший через проем, сделал заметной густую сетку мелких морщинок на лице политрука.

Ушаков снял фуражку и пригладил редкие волосы.

— Когда мы шли сюда, — сказал он, — я все думал, с чего бы начать. Мне ведь по должности и по совести коммуниста положено поднимать боевой дух в подразделении. А задача эта сейчас не из легких: положение наше скверное, хуже некуда... Подумал, может, сказать какие-то общие слова о чести, о славе, об Отечестве. Вспомнить, наконец, о комсомольском долге, о героях-панфиловцах. Такие разговоры бывают нужны и полезны. Но не сейчас... — Он замолчал и полез в карман за табаком. — Сейчас нужно что-то другое, со-

всем другие слова, я бы сказал, ошеломляющие, как удар электрического тока. В конце концов, всем нам пора встряхнуться, заново осознать себя. И решил: нет ничего ценнее доверия к товарищу, нет ничего лучше правды.

Заметив, что политрук катает в пальцах свернутую «козью ножку», Костя поспешил чиркнуть зажигалкой. Ушаков прикурил и кивнул благодарно, разгоняя дым.

— На Сталинградском фронте немцы практически подошли к Волге, — сказал он. — Судя по всему, там развернутся серьезные сражения. Позавчера в дивизии был бригадный комиссар, член Военного совета армии... — Ушаков некоторое время колебался, нужно ли быть уж настолько откровенным, принесет ли пользу его обнаженная правда. Потом расстегнул воротник, словно ему не хватало воздуха, и вытер выступившую на лбу испарину. — Еще пятнадцатого августа противник занял Клухорский перевал, неделю назад сбил наши заслоны и прорвался на Санчаро, тут, рядом, а двадцать первого фашисты подняли свой флаг на вершине Эльбруса...

— Ва-ах! — Костя изо всей силы хватил кулаком по парам, сдавил лоб растопыренной пятерней, что-то бормоча на родном языке. Было неясно, шепчет ли он заклинания или матерится. — Сами водили, сами дорогу показали...

Политрук посмотрел на сержанта без осуждения.

Другов чувствовал, как у него от волнения холодеет кожа между лопатками. Федя Силаев сидел с открытым ртом, ловя каждое слово.

— И все же, — хриловатым голосом продолжал Ушаков, — неудачи я считаю временными. Ведь здесь, на Кавказе, на двоих наших приходилось до сих пор по три немца. Они имели двойной перевес в артиллерии. О танках и самолетах я уж не говорю, их у противника раз в десять, наверное, больше. И все-таки на Марухском перевале мы пока еще держимся. На днях к нам назначен новый командующий. Талантливый боевой генерал. Товарищи знают его по корпусу. На заставу пришло дополнительное подкрепление, человек двадцать. Всех отправили туда же, на Левую Эки-Дару. С ними старший лейтенант и весь комсостав роты. Там сейчас жарко. Вот такие, стало быть, у нас новости...

— Что же делать теперь? — как-то само собой вырвалось у Кирилла.

Ушаков жадно затянулся несколько раз подряд, бросил окурок в открытую печь и оглядел лица людей, расположившихся на скрипучих нарах, сидевших на корточках, подпиравших притолоку. Они были сосредоточенны и серьезны, как полководцы на военном совете. Он видел: они ощущают свою причастность к великим событиям.

— Сейчас наша главная задача, — сказал политрук, потирая ладонью левую половину груди, — выиграть время, удержать перевалы до первого серьезного снегопада. Зимой тут никто не пройдет. Даже туры, на что уж вечные обитатели поднебесья, и те с наступлением зимы спускаются в долины. Пока мы будем накапливать силы, подтягивать резервы, перегруппировываться для контрудара, в заслоне будут стоять губочайшие снега и горные лавины, трескучие морозы и такие метели, которые не снились даже альпийским стрелкам. Понятно, из этого не сделаешь военной тайны, и немцы знают все это не хуже нас с вами. Вот почему я уверен: чем ближе к холодам, тем отчаяннее будут их попытки прорваться на южные склоны, к морю. И если нам в ближайшее время удастся отбить Санчарские перевалы, фашисты начнут искать другие, обходные, пути, они полезут во все щели, как тараканы. Вот почему важно держаться, вцепившись в эту землю зубами, и стоять, не сходя с места, как межевой столб.

Политрук резко поднялся и надел фуражку. Сразу же со своих мест повскакивали остальные.

— Однако высокогато вы забрались, — хрипло засмеялся он. — Тяжко, дышать нечем... Продукты мы вам кое-какие подбросили, — добавил политрук после небольшой паузы, — боеприпасов много не обещаем, вы и так живете не по средствам. А дрова, о которых докладывал Шония, заготавливайте сами по очереди. Мы их в следующий раз перевезем на выюках. Старшина специально возьмет еще одну лошадь. С лошадьми тут проблема. Те, что пришли с равнин, в горы не идут, а местных не хватает. — И Ушаков вышел под дождь, где Остапчук с помощью Саенко уже приторачивал к седлу пустые выюки и переметные сумы.

Младший лейтенант шагнул к Шония:

— Я рад, Константин, что встретился с тобой, со всеми вами. Жаль, на войне трудно водить долгую дружбу. То ранили, то откомандировали куда, то еще

что. Ну, будем живы! — и он хлопнул рукой по ладони сержанта.

— Не забывайте военфельдшера Сулимову, — улыбнулась Лина.

— Сулимова, — как бы про себя повторил Костя. — Наверно, не русская, да?

— Почему не русская? — даже с некоторой обидой спросила Лина. — Рязанская я, из Солотчи.

— Фамилия такая. Киселев — русский, Ушаков — русский, Другов — тоже, наверно, русский...

— Ты, конечно, решил, что Ушаков происходит от слова уши, — не утерпел, чтобы не съязвить Кирилл. — Фамилия эта, товарищ сержант, татарского происхождения. Ушак — значит малый.

— Да ну?! — поразился Киселев.

— Если надо, могу продолжить. Тургенев, например, происходит от слова турген — быстрый, Аксак — от аксак — хромой, Кутузов — от кутуз — бешеный... Так что фамилия, как видишь, ни о чем не говорит.

— Откуда, дорогой, ты все это знаешь? — развел руками Костя. — Ну и голова!

— Об этом нам рассказывали на обзорной лекции, — небрежно заметил Кирилл, — еще в начале первого курса...

Все стали выходить из блиндажа.

— Выступаем, товарищ политрук? — оживился Киселев.

Дождь сеял ему в лицо, и он смешно морщил нос.

— Пора, пожалуй.

Азат Кадыров ощупал на животе пустые подсумки, убедился, на месте ли казенное имущество, потом поглубже надвинул на уши пилотку и, вопреки уставу, поднял ворот шинели. Винтовку он держал цепко, не спешил вешать за спину.

Лина потуже затянула ремень на шинели. Несмотря на внушительные формы, талия у нее была выражена отчетливо. Она пританцовывала, потирала руки, то и дело облизывая обветренные губы.

— Спасибо вам, ребята, за хлеб-соль, — помахала она рукой Косте, Кириллу и Феде, которые стояли у входа в блиндаж. — Вам это все зачтется... Азат, простись с ребятами, — подтолкнула Кадырова Лина.

Тот потоптался робко, сделал два шага вперед:

— Мой кзыл аскер, твой кзыл аскер, — дотронулся

он до звездочки на своей пилотке. — Каша давал, нара давал, пинтопка давал, спасибо-рахмат.

На этом, видимо, запас русских слов был исчерпан, и он только кивнул, приложив ладонь к сердцу.

— Товарищ политрук, — обратился к Ушакову Костя, — вы бы нам оставили военфельдшера. Нам санинструктор нужен.

Ушаков засмеялся:

— На такое мощное подразделение не положено. Санинструктор один на роту.

— Ну пришлите хоть маленького. Хоть в два раза меньше...

Ушаков отмахнулся от него, с легкой укоризной покачав головой. Костя огорченно поцокал языком.

— А губа не дура, — подмигнул ему на прощанье Киселев.

Когда отряд почти скрылся из глаз, густо заштрихованный строчкой дождя, шедшая позади Лина остановилась и прощально подняла над головой руку — молодая, рослая и сильная.

— Женщина! — не удержался Шония, глядя ей вслед.

— Куда уж, — покосился на него Кирилл. — Нашел божью коровку...

— Главное — душа, глупый ты человек! — наигранно воскликнул Костя, а подумав, добавил: — И фигура тоже...

Он демонстративно отвернулся и ушел в блиндаж, опустив за собой полог.

Федя жался под скалой, куда не так доставал дождь. Поверх шинели он накинул трофейную камуфлированную плащ-палатку, пожалованную заслону старшиной. Сейчас он окончательно успокоился. Все в его сознании встало на свои места. Федя был уверен, что выдюжит. Он понимал обстановку и знал свою задачу, а что еще нужно бойцу в его положении?

Другова не могла не подкупить откровенность политрука. Значит, им верили, на них полагались, и Кирилл пытался проникнуться сознанием собственной значимости. Он упорно убеждал себя в том, что именно здесь, через эту точку, проходит та воображаемая земная ось, вокруг которой все вертится. Ему необходимо было в это поверить!

Еще полчаса назад Кирилл был убежден, что все сомнения идут от лукавого, от излишних мудрствований,

что теперь они растают, как туман под лучами солнца. Но дневному светилу уже не хватало сил пробиться сквозь толщу облаков, и дождь все шел и шел. Дурная погода всегда скверно влияла на его настроение. Костя в таких случаях посмеивался, говорил, что плохая погода гораздо лучше хорошей, ибо оставляет надежду. После нее всегда бывает тепло и ясно, а на смену хорошей так или иначе приходят холода и дожди. Но сейчас казалось, что ненастью не будет конца. Невольно возникало чувство, будто померкли все краски земли. Остался один-единственный серый цвет — цвет безысходности и отчаяния.

9

Сменялись дни и недели. Шли затяжные дожди, грело солнце, случались ветры, грозившие сдуть их с перевала. Иногда, подобно отдаленному грому, докатывалась артиллерийская канонада или, может быть, отгослки жестокой бомбежки.

По ночам гневно ревели олени.

Мороз все чаще серебрил склоны. Днем южная сторона успевала оттаять и даже просохнуть, а на север от седловины снег уже не сходил, и странно смотрелись на нем вечнозеленые листья рододендронов.

Конев так и не вернулся, словно в воду канул. Тогда еще, на другой день после ухода Киселева и его товарищей, у ребят впервые произошел довольно резкий разговор. Обычно молчаливый Силаев снова стал упрекать Другова за то, что тот помешал ему стрелять в беглеца.

— Вернется он рано или поздно, — настаивал Кирилл. — Он просто в цейтнот попал, как говорят шахматисты. Натворил глупостей...

— А как не вернется? — допытывался Федя.

— Ну нельзя же так, никому не верить!

— Федя прав в одном, понимаешь, — вмешался Костя. — Слишком дорогой ценой приходится платить за такое доверие.

— Да поймите же вы, — злился Кирилл, — нет такой платы, которая была бы велика за веру в человека

— Когда из своего кармана платишь, — заметил Федя.

— Я не говорю, что его подослали специально, — продолжал Костя. — Ну допустим, что этот Конев пой-

дет сдаваться. Положение у него пиковое. С пустыми руками к фрицам идти рискованно, как еще встретят. Надо что-то с собой принести, какие-то сведения, что ли.

— А какие он может принести сведения? — усмехнулся Кирилл. — Что семьдесят один патрон в автоматный диск влазит?

— Зачем смеешься? Он знает, сколько человек в заслоне, — возразил Костя, — где расположен блиндаж, какое у нас оружие.

— Ты даже подсказал ему, где стоят мины, — добавил Федя. — Теперь в случае чего нас, как перепелов, пощелкают...

Кирилл обиделся, вспылил и целый день ни с кем не разговаривал. Первым пошел на мировую Федя. Он просто не мог жить спокойно, когда кто-нибудь из товарищей на него дулся.

Но немцы больше не тревожили бойцов заслона. То ли Правая Эки-Дара вообще не входила в их расчеты, то ли, не имея до сих пор данных о количестве ее защитников, они не решались зря посылать под пули своих солдат, тем более что в планах фашистского командования ей не могла отводиться сколько-нибудь заметная роль.

Острота впечатлений от первой встречи с альпийскими стрелками уже несколько притупилась, и все же эта единственная вылазка немецких разведчиков кое-чему научила ребят. Да и мысли о Коневе держали их в постоянном напряжении. Никто из них теперь не помышлял о прогулках по северному склону, а Шония уже не раздевался перед сном до нижнего белья. К тому же по ночам, когда не грела печь, блиндаж быстро промерзал и на бревенчатых стенах к утру оседал иней.

Дрова они заготавливали по очереди. Складывали метровые швырки у самой тропы на опушке пихтарника.

Первый раз после посещения перевала политруком Ушаковым старшина пришел на десятый день. Он подобрал на выюках часть дров, оставленных возле тропы. С ним был помощник начальника штаба храбрый капитан Шелест в сопровождении трех автоматчиков. Пока те спускались вторым заходом за оставшимися дровами, ПНШ осмотрел в бинокль окрестности, расспросил, откуда пришли немцы и как себя вели, сделал кое-какие пометки на своей карте и, уже засовывая ее в планшетку, дал несколько распоряжений по поводу маскировки. Ребят не покидало чувство, будто он не сказал чего-то

главного, все тянул, откладывая разговор под занавес.

Политрук сдержал обещание: дровами они теперь были обеспечены надолго. Но с продовольствием стало куда хуже. В этот раз им привезли одни сухари да манку. Значит, придется сокращать и без того скудный рацион.

— Нормально, вам тут не кирпичи таскать, — небрежно заметил ПНШ. — И так живете, как на курорте. Появись тушенка, все равно в первую очередь отдали б разведчикам. Это они день и ночь на брюхе ползают.

Капитан осмотрел позиции, поинтересовался, где расставлены деревянные противопехотные мины, и проверил состояние оружия. По всему было видно, что придраться ему не к чему.

— Ну а теперь поговорим по-серьезному, — сказал он наконец, устраиваясь на обломке скалы. — Сержант Шония!

Костя молча вскинул руку к виску.

— Скажите, зачем, по-вашему, я инструктировал группу перед выходом на перевал?

— Чтобы группа выполняла инструкции, — дернул плечом Костя.

— Тем не менее инструкций не выполнили. Вы не обезоружили людей, которые пришли к вам из расположения противника, дезертира упустили. Разгильдяи вы!

— У них документы были...

— Документы! — воскликнул капитан и непристойно ругнулся. — Документы могли оказаться липой. Вы никогда не отличили бы фальшивки от подлинного удостоверения. Фрицы на этот счет мастера. Такую тонкость могут установить только в особом отделе.

— Товарищ капитан, — не удержался Другов, — но мы же глаза их видели, там все написано...

Капитан усмехнулся и покачал головой:

— Только теперь вижу, как несерьезно подошли мы к отбору людей на такой ответственный участок. Глаза — это лирика! — почти крикнул он. — Если бы мы могли читать по глазам, незачем было бы держать военных дознавателей. Этих людей вы должны были обезоружить и арестовать до выяснения личности. Тогда бы и Конев не ушел.

Федя топтался, мучился, никак не удавалось высказаться. Даже капитан, заметив это, приумолк выжидательно.

— Вы тогда говорили, — начал Федя, краснея, —

что вроде можно поступать по собственному усмотрению... Когда в особых случаях...

— Особого случая не было! — резко оборвал его ПНШ. — Вы понимаете, что я имею право отдать вас под суд военного трибунала. С вас, сержант, как пить дать, посылают знаки различия и направят в штрафную. И это было бы только справедливо. — Он одернул шинель и поправил на плечах ремни. — Но я воздержусь на первый раз, возьму на себя такую ответственность. Может быть, вы когда-нибудь поймете, что такое особый случай...

После обеда Остапчук, капитан Шелест и сопровождавшие его автоматчики ушли, а ребята остались на перевале не в лучшем расположении духа.

— Я ведь говорил тогда, — упрекнул сержанта Федя, — не послушались.

— Помолчал бы ты, дорогой, — огрызнулся Костя.

— Я же не капитану, — стал оправдываться Силаев, — я ж тебе говорю...

Весь вечер Костя размышлял над словами помощника начальника штаба о так называемом особом случае. И что это за обстоятельства, когда им предоставлялось право поступать по своему усмотрению? Капитан этого так и не объяснил. Но случай такой, как часто бывает в подобной ситуации, не заставил себя ждать. Дня через три со стороны северного склона на перевал пришли еще трое. И нельзя было их ни арестовать, ни обезоружить...

На припорошенной снегом тропе Другов первым заметил совсем необычную процессию. Впереди шла, судя по всему, немолодая женщина с двумя связанными мешками, перекинутыми через плечо, и вела на веревке обыкновенную козу. Это было потрясающе! За ней шла вторая, закутанная в черную шаль. Она прижимала к себе большой сверток. А следом за ними тащился красноармеец с рукой на перевязи и с винтовкой, ствол которой выглядывал у него из-за спины.

Первой женщине было за пятьдесят. Вблизи у нее оказалось худое коричневое лицо и жилистые руки. Она сразу же по-хозяйски привязала козу к жерди, торчавшей из поленницы.

— Тутощня я, с верхнего поселка, — не дожидаясь расспросов, стала объяснять она. — Тетку Анисью спроси, любя собака знать. Мужик мой в лесхозе работал. Детей трое было. Старшой на фронт ушел, а младшень-

кий... Младшенького две недели тому повесили душегубы. — Она коротко всхлипнула и поспешно вытерла нос кончиком платка. — Не знаю, за что дажить. Как немец-то пришел в поселок, дома он, считай, не ночевал. Может, и точно нашкодил чего. Ктой-то, говорят, часового у околицы зарезал и автомат с его снял. А посля с того автомату мацеклистов каких-то посек на лесной дороге. Почуяло сердце, не ждать добра. Не о себе забота, я свое отгорбила. А вот Нюська, дочка моя, — показала она подбородком на молодую женщину, закутанную в шаль, — мужика в армию проводила. Мужик-то партейный. Одна осталась, а у ей рабеночек четвертый месяц. Не житье нам под немцем. Они все тама партизанов ищут. Вот и надумали мы до своих пробиваться. Брат у меня в Веселом живеть. Тропы тутошни знаю. Прежде-то, бывало, не раз ходили до самого Сухума. У нас тут недалеко до войны улики стояли и сенокос был добрый.

— Ну а как же немцы вас пропустили? — спросил Костя.

— Да кто ж их спрашивать станеть? Первый день верст десять не прошли вверх по Зеленчуку, встренули. У моста ферма. Стоять там, мост, видать, стерегут. Пришлось вертаться на перекат, бродом переходить. Добро, хочь вода невысока. В долине Иркиса друга ферма. Немца там нету. Три дня сидели, погоды ждали. Лепешки кукурузны были — кончились, беда прямо. А тут приходит один наш солдатик. Не ентот, другой. Пспрошал, что да как, сходил куда-то в лес, вертается. Принес добрый человек цельный бок свинячий.

— А что за солдат? — спросил Кирилл. — Красноармеец, что ли?

— Да знаю я его как облупленного, — с досадой заметил раненый. — Дезертир! По лесам скрывается. К своим возвращаться не хочет. Ходит с трофейным автоматом, скотину брошенную стреляет.

Ребеночек запищал, и молодуха стала его покачивать, легонько подбрасывая на руках. Глаза у Нюси были растерянные. Она молчала, очевидно, не верила, что все страхи и мучения позади. Кирилл предложил ей спуститься в блиндаж, где еще не остыла печь.

— А козу зачем за собой тащите? — спросил он у тетки Анисьи. Эта коза волновала его больше всего. Она внесла в их строгий военный быт неожиданный уют домашнего очага и какую-то особую доверительность.

— Как же без козы-то? — удивилась женщина. — Кормилица она наша. Рази ее бросишь? У Нюськи-то с тоски молоко пропало, а рабеночка кормить надоть. Сами-то мы и ягоду пожуюм, и грибы, и орешки, а нужда заставить, и желуди... Уже в долине Иркиса ентого ранетого встренули. Смекнул, голубь, что одни мы, сам из лесу вышел...

— Откуда? Кто такой? — спросил Костя.

Левая рука красноармейца была вся в бинтах, сквозь которые проступила черными пятнами запекшаяся кровь. Он прижимал руку к груди и нянчил ее с не меньшей бережностью, чем Нюся своего младенца. Боец назвал номер полка и свою фамилию:

— Рюмкин я, Рюмкин. От части отстал. Раненный вот. Две недели по лесам плутал. Дороги не знаю. В горах первый раз. Сухари кончились. А тут того плосконогого встретил. Свинью он в лесу подстрелил. Домашняя свинья, одичала только. Вот и кормился возле него первое время, пока не раскусил, что он за тип. Вижу, не компания мне. А тут еще рука сильно беспокоила, пухнуть стала.

— А фамилию этого дезертира знаешь? — спросил Костя.

— Фамилию не спрашивал, а зовут Володькой.

Ребята переглянулись.

— Героя из себя корчит, — продолжал Рюмкин. — Это, говорит, они Северный Кавказ сдали. Я его не сдавал. Мы еще, говорит, повоюем. Видели мы таких вояк. Подфартило мне, женщин встретил. Обещались до своих вывести. Бабка перевязала, травки какой-то приложила на руку, вроде полегчало малость. Мне б только до госпиталя добраться. А то загниет — оттяпают по самый локоток. Врачам разве жалко...

Раненый спешил, словно боялся, что ему не дадут до конца высказаться. Возраст бойца определить было трудно. Он сильно зарос, и лицо его выглядело таким же помятым, как болтавшаяся на нем шинель.

— А где еще немцев встречали? — спросил Костя. — План нарисовать сможешь?

— Недалече, — вмешалась тетка Анисья, — вёрстах в пятнадцати отсель. Где речка в Пшишонок впадает. Барак тама был. Так немцы на месте того старого барака землянки поставили. Живуть себе, на гармошках играют. Мы их ночью правым берегом обошли. Сперва хотели на Наур податься, но посла смекнули: тропа-то

там бита, хоть яечечко качай, значит, и немца того, что вшей в лиху годину. Мы-то полбеды, козу, мол, на барахлишко менять шли. Одно слово — бабы. А солдатику враз крышка. Оттого и подались на Вислый. Дорогу енту одни местные знают. Может, мы и раньше б сюды вышли, да на бурелом набрели, насили выбрались. Добро хочь немцы до половины завал расчистили да порасташили...

На пеленки для Нюсиного сына Кирилл пожертвовал новые портянки. Согревшись возле печки, молодая женщина сняла наконец свою траурную шаль. Волосы у нее были расчесаны гладко, на прямой пробор, и заплетены в косу.

Костя вскипятил воды. Он отдал весь свой небольшой запас марганцовки, который хранился в их аптечке, индивидуальный пакет и чистое полотенце, чтобы тетка Анисья могла сделать Рюмкину перевязку.

— А ведь он про Конева говорил, — сказал Кирилл, когда ребята остались одни.

— Я это, дорогой, сразу понял, — ответил Костя. — А винтовку у этого Рюмкина отбирать нет смысла. Шпиона с простреленной рукой в наш тыл не зашлют.

— О чем речь, — согласился Кирилл.

— Скажу по секрету, — добавил Костя, — я давно, еще с первых дней, зажал немного яичного порошка. Ну две-три горсти, как неприкосновенный запас. Женщины все-таки, ребенок, боец раненый — наш товарищ! Отдадим?

— Они, однако, через несколько часов в роту придут, — с присущей ему практичностью заметил Федя, — а нам службу нести.

— Раненый, понимаешь? — повысил голос сержант.

— Ты что, чурбан бесчувственный? — спросил Кирилл.

— Не чурбан я и не жадный вовсе, — ответил Федя. — Только морда его мне не нравится. Глаза прячет.

— Вот шарханут тебя, посмотрим, в какое место сам глаза втянешь, — разозлился Другов. — Помнишь слова твоего капитана? Глаза — это лирика. Я одно вижу — худо человеку.

— Понимаешь, дорогой, — уже спокойно обратился к Феде сержант, — нам так нельзя: лебедь — в облака, щука — в воду. Мы как альпинисты, все в одной связке...

Боец стонал, корчился от боли, пока женщина отмачивала, отдираала присохшие старые бинты. Рука у него распухла и покраснела. Ему действительно нужно

было скорей добраться до санбата. Закончив перевязку, тетка Анисья накормила Рюмкина и дала ему чаю. Потом посмотрела на Федю, на Кирилла и прерывисто вздохнула:

— О-хо-хох, господи, ну каки ж с вас вояки? — Глаза ее вдруг повлажнели, и она провела по ним жесткой ладонью. — Дети, совсем дети! Вам бы в казаки-разбойники играть.

— Что вы, тетушка Анисья, — серьезно возразил Другов. — Мы те самые три кита, на которых мир держится...

Женщины поели сами, перепеленали, напоили из рожка молоком ребенка и снова тронулись в путь. Коза, как собачонка, привычно плелась за ними на поводке. Эти женщины внушали ребятам какое-то сложное чувство. Им трудно сказать, чего тут было больше: удивления, жалости или восхищения...

...На этот раз приезда старшины ждали не без трепета. Может, и теперь ПНШ найдет к чему придрататься? Но все обошлось как будто. Капитан не подавал голоса. Остапчук привез письма Шония и Силаеву. Только Другов ничего не получил ни от Галки, ни от тети Оли. О том, что с ними могло одновременно что-то случиться, он и не помышлял, но скверная работа почты говорила о том крайнем напряжении, которое испытывал транспорт, и о долгом кружном пути, что предстояло проделать письму от Москвы до Кавказа.

Зато им доставили зимнее обмундирование: ватные штаны и телогрейки, еще хранившие запах интендантских складов, белые, похожие на комбинезоны, маскхалаты с капюшонами и матерчатыми чехлами для рукавиц, просторные «черчиллевские» ботинки с круглыми загнутыми вверх носами и теплые байковые портянки. Пилотки ребятам заменили на меховые ушанки, хотя и «БУ», но тем не менее вполне приличные с виду и главное — теплые. Для часового привезли овчинный тулуп до земли с громадным воротником и — чудо из чудес — валенки! Растоптанные, с новой подошвой, прошитой толстой дратвой. И где их только раздобыл Остапчук на этом благословенном юге?

Из специального снаряжения они получили старенький бинокль, метров пятнадцать страховочной веревки и, наконец, самое главное — фляжку чистейшего медицинского спирта.

— И закуска в мэнэ е, — похвалился Остапчук, до-

ставая завернутый в бумагу изрядный шмат солонины. — Вымочуваты трэба..

Но ни долгожданные письма, ни теплое обмундирование не принесли ожидаемой радости. Под конец старшина сообщил печальную весть: погиб старший лейтенант Истру. Около сотни автоматчиков прорвались по обходным тропам на южный склон со стороны урочища Загана. Возможно, они штурмовали отвесную скальную стену в районе ледника Грымза с намерением зайти в тыл одной из наших частей. Делая изрядный крюк, немецкие егеря натолкнулись на сторожевую заставу старшего лейтенанта и, не растерявшись, с ходу атаковали ее. Бой был тяжелым и неравным. Наши потеряли шесть человек убитыми и больше десятка ранеными. В числе раненых оказались ординарец командира роты Повод и красноармеец Азат Кадыров, Спасибо-Рахмат, как прозвали его ребята. Разрывная пуля раздробила ему плечо. Но понесенные потери были не напрасны — отряд немецких автоматчиков вынужден был отступить с большими потерями...

Гибель старшего лейтенанта подействовала на ребят удручающе. Стараясь их приободрить, старшина говорил о том, что командование ротой принял командир первого взвода лейтенант Кравец — отчаянная голова, что он, Остапчук, нюхом чует: выдыхаются фрицы.

Старшина и сам тяжело переживал гибель командира. Он все время с обидой и сожалением думал о том, что не уберег его, что, провоевав бок о бок со старшим лейтенантом около полугода и видя от него только доброе, в сущности, ничего не знал об этом человеке. Что он мог рассказать о нем? Что звали его Валентином Христофоровичем, что ему недавно исполнилось двадцать восемь, что он молдаванин родом из Одессы, что была у него жена и дочь Юлька, за которых он изболелся душой? Но это всего лишь мертвая анкетная справка. А ведь за ней еще совсем недавно стоял живой человек, такой непростой и такой уязвимый. И мысли у него были свои, и надежды, и планы. А теперь ничего нет. Только холмик сырой земли у подножия бука-великана в темном лесу, где даже весной не поют птицы...

10

Погода в тот день выдалась пасмурной, но мороз был не слишком сильным. Дул устойчивый юго-западный ве-

тер. С утра перевал притрусил снежком, и поэтому по-
верх телогреек и ватных штанов Костя приказал надеть
белые маскхалаты.

Настроение у всех было неважным. Все четыре раза
старшина приходил на перевал точно в назначенный
день без малейшего опоздания. Его «контора» продолжала
работать бесперебойно и четко. Он любил повторять:
если и старшины начнут совать спицы в колеса, значит,
дело гиблое... Но вот уже третий день, как его нет. Про-
дукты закончились. Осталось немного манной крупы да
по две горсти сухарей на брата. Что же все-таки могло
случиться на заставе? Почему подвел на сей раз обычно
пунктуальный в этих вопросах Остапчук?

Федя Силаев заступил на пост сразу после обеда.
Он до сих пор не мог привыкнуть к новым ватым
штанам. Теплая одежда делала его еще более непово-
ротливым, подчеркивая сходство с неуклюжим медве-
жонком.

Видимость была превосходной, но от постоянного на-
пряжения, от удручающей белизны снега у Феде начи-
нало поламывать в висках, и он нарочно выискивал
темные точки в однообразном пейзаже — куст рододен-
дрона, обнаженный валун, «сколок», мазком туши чер-
неющий на далекой вершине, — и это давало его гла-
зам хоть какой-то непродолжительный отдых.

Костя и Кирилл находились в блиндаже, когда до
них долетел голос Феде:

— Эй вы, однако, идут!

Шония отдернул плащ-палатку и оглядел примель-
кавшийся склон. Он ничего не увидел, и вынужден был
подняться по ступенькам. Федя сидел, прилепившись к
скале, но смотрел он вовсе не на южный склон, а куда-то
на север.

— Кто идет? — раздраженно спросил сержант. —
Может быть, немцы идут?

— Ну-у, а я чего говорю...

Всего несколько секунд потребовалось на то, чтобы
все заняли места на огневом рубеже.

Костя наблюдал за противником в бинокль. Цепочка
солдат, одетых, как и они, в белые маскировочные хала-
ты, численностью до взвода, двигалась в сторону пере-
вала. Их можно было бы легко принять за своих, если
бы не характерная форма «шмайсеров» с откидными
металлическими прикладами, болтавшихся на длинных
ремнях где-то возле самого пояса. Если же быть до кон-

ца точным, то маскхалаты егерей правильнее было бы назвать маскировочными костюмами. Отдельно куртка с капюшоном, отдельно брюки, стянутые у щиколоток ремешками. И тяжелые горные ботинки.

— Не многовато ли, по десятку на каждого? — проговорил Другов, тщетно пытаясь унять внутреннюю дрожь.

— Мы не одни, дорогой, за нами Кавказ. Камни помогут! — патетически воскликнул Шония и тут же скомандовал: — Силаев, ракету!

— У меня спичек нет, — с возмущительным спокойствием ответил Федя, устанавливая нужный прицел.

— А-а, черт! — Костя вскочил и в несколько прыжков достиг блиндажа.

Через мгновение он уже снова был наверху с тремя картонными шарами, которые так бережно прижимал к груди, словно это были не ракеты, а хрупкие елочные игрушки. Костя быстро свернул сигарку, не переставая поглядывать в сторону неприятеля, и прикурил ее. Сунув кисет и зажигалку под камень, он присел возле врытой в щебень трубы.

Зашипел, забрызгал бенгальским огнем серый мышинный хвостик. Отсчитывая про себя секунды, Костя осторожно опустил ракету в трубу и тут же, не дожидаясь выстрела, стал запаливать от папироски очередной фитиль. Самовар Радзиевского грохнул с такой силой, что Костя едва не потерял равновесие. Его толкнуло в лицо волной горячего воздуха. Казалось, что где-то возле самого уха лопнула толстая басовая струна. Он даже оглох на какое-то время. Спohватившись, Костя опустил в трубу второй шар, но на этот раз отскочил подальше и даже на всякий случай приоткрыл рот. Говорили, что так поступает оружейная прислуга, чтобы сберечь барабанные перепонки.

Оставляя за собой рваный огненный след, врезалось в небо первое ядро. На большой высоте оно сверкнуло искровым разрядом и лопнуло, разметав веер малиновых ракет. Но этого звука никто не услышал, потому что самовар грохнул вторично, и следующая трасса ввинтилась в нависающие над перевалом облака. А Костя уже поджигал третий фитиль...

Когда лопнуло первое ядро, Федя, смотревший в этот момент через оптический прицел, ясно увидел, как резко тормознула цепочка немцев, как застыли они на месте, задрав вверх головы. Потом один из них подал

знак, и отряд тут же распался надвое. Меньшая часть повернула влево и стала подниматься по склону к отвесному скальному гребню, охватившему обручем верхнюю кромку ледникового цирка, а большая, дробясь по два-три человека, развернулась широким фронтом и стала медленно приближаться к перевалу. Немцы шли, прикрывая лица от встречного ветра, который нес мелкую снежную пыль.

Только четверо солдат остались у дальних валунов. Они посбрасывали на землю что-то вроде плоских ранцев, стали утрамбовывать сапогами снег среди камней.

Теперь всю эту картину могли наблюдать и остальные. Костя тут же сообразил, что немцы притащили с собой ротные минометы и лотки с минами. Сразу стал ясен и нехитрый замысел противника. Ведь если немцам удастся подняться к самым обрывам и продвинуться вдоль них хотя бы на двести метров, они наверняка окажутся в мертвой зоне, где их уже практически не достанет огонь защитников перевала. И тогда им ничто не помешает подойти к седловине вплотную по верхнему уступу.

— Другов, — крикнул он, — как только фрицы поднимутся к скалам, открывай огонь! На темном фоне должны хорошо смотреться эти белые костюмчики. Бей короткими очередями, не давай им приблизиться.

Он вложил медные капсюли-детонаторы в ручные гранаты:

— Силаев, тебе видно тех четверых у валунов?

— Ну-у...

— Тогда работай! До цели семьсот метров. И чтоб им, понимаешь, головы не поднять возле своих минометов.

— А эти? — спросил Федя, показывая глазами на медленно приближающуюся цепь.

— Не твоя забота, дорогой. Пусть они тебя не смущают.

Кирилл слышал, как шелестят по матерчатому капюшону сухие снежинки. Ветер дул ему в спину и не мешал целиться.

— Ну-ну, ветрище, давай, — шептали его губы, — плюй им в шары, сволочам!

Сейчас важно было подавить волнение, справиться с дрожью, которая, помимо его воли, волнами прокатывалась по телу. Но столь же важно было не упустить момент и не дать немцам приблизиться.

Если на заставе заметили сигнал, к вечеру может подоспеть подкрепление. Втроем перевала им не удержать, нужно выиграть эти несколько часов. А если сигнала не заметили, что тогда? Кирилл знал, что не победит, не бросит товарищей, и от этого становилось еще страшнее.

Для Феди же самым удивительным было то, что противник не сделал еще ни одного выстрела. До сих пор война представлялась ему совсем иначе. А тут все напоминало немое кино. И шелест снега в складках маскхалата был удивительно похож на стрекотание проектора в клубной кинобудке. Даже жаль было нарушать эту тишину. Но в тот момент, когда прозвучал его первый выстрел, загрохотал и ручной пулемет Кирилла.

Федя промахнулся и сплюнул с досады. Видимо, тут в горах действовали свои особые законы баллистики, и к ним надо было принаравливаться. Однако пуля его, по всей вероятности, попавшая в камень, заставила немцев пригнуться. Теперь они уже не выглядели такими самонадеянными и спокойными. В их движениях появилась нервозность и поспешность, а это, по мнению Феди, было для начала не так уж мало.

Пулемет Кирилла заставил группу немцев залечь у подножия скал. Теперь на снегу они были менее заметны, и переводить патроны не имело смысла. Все равно поднимутся рано или поздно, не век же им лежать.

Костя выжидал. Он присел за каменной плитой, поглядывая на приближающуюся цепь через свою «бойницу». Перевернув прицельную колодочку для стрельбы с близкой дистанции, он поднял автомат и дал первую очередь.

Один из немцев широко взмахнул руками, ноги его подкосились, и он упал навзничь. Остальные залегли в снегу и открыли огонь одновременно и по «бойнице» и по площадке, где стоял пулемет Кирилла. Пули визжали, рикошетом отлетая от скал. Но Кости на прежнем месте уже не было. Пригибаясь за скалами, он бежал по широкой дуге к тому месту, где под обрывом притаилось около десятка егерей, остановленных огнем Кирилла.

Костя улучил момент, выглянул из-за гребня. Немцы лежали внизу, совсем близко. Он прикинул на глаз расстояние. До них было не больше сорока метров. Ближе не подобрешься. Костя выдернул из-за пояса ручные гранаты. Они были холодные, темно-зеленые,

одетые в ребристые стальные чехлы. Оттянув рукоятку и поставив первую гранату на боевой взвод, он широко размахнулся и метнул ее вниз. Следом полетела вторая граната. Он не видел, как они рванули. Опасаясь осколков, Костя присел за каменной плитой. Он видел только, как семь человек побежали, скользя и падая, вниз по склону, и для острастки послал им вдогонку короткую очередь. И тут же возле него запели, зацокали по камням пули.

Несколько автоматчиков с левого фланга залегшей цепи открыли по нему суматошный огонь. Но им сразу же ответил пулемет Другова. Дольше оставаться здесь не имело смысла. А то, что по нему стреляли, так это просто отлично. Надо почаще менять позиции. Пусть думают, что на перевале их больше, чем на самом деле. Нет, не зря его поставили старшим в заслоне. Пусть капитан говорит все, что угодно. Враг уже потерял несколько человек, а у него все целы и невредимы. Трое почти против целого взвода! И они держат оборону, и у них получается. Значит, можно их все-таки бить, гадов!

— Ну как твои четверо? — спросил он Силаева, повалившись возле него в снег.

— Их уже трое, — не поднимая головы, ответил Федя.

— Азбука войны, дорогой. Теряет тот, кто прет на рога, выигрывает тот, кто держит оборону. Честно говоря, я не хотел бы сейчас быть на их месте. Лезть на такие скалы, под пулеметный огонь... И снег, понимаешь, в морду.

В воздухе с легким подвыванием одна за другой прошелестели две мины. Они разорвались на обратном скате. Хлопок был негромким.

— У нас, понимаешь, пробка в забродившем вине громче стреляет, — пренебрежительно отмахнулся Костя. — Мина, клянусь, с чекушку величиной... А ты работай, работай! — И тут же, вспомнив о чем-то, он кинулся к блиндажу.

На правом фланге цепи немцы зашевелились вновь. Трое сделали короткие броски и снова залегли. Кириллу пришлось дать по ним еще одну очередь. Зеленая светящаяся трасса прочертила в снегу дымный след. Крайний немец как-то странно пополз в сторону, упираясь ладонями в снег и волоча за собой ноги.

«Кажется, одного зацепил, — подумал Кирилл. — Лиха беда — начало». И вдруг он впервые по-настояще-

му поверил, что они смогут держать перевал, пока есть патроны.

Опять прошелестели мины. Теперь они разорвались внизу у первого скального порога.

В эту минуту на седловине появился сержант. В одной руке он держал лом, а в другой красный шерстяной шарф. Жестом, более картинным, чем позволяла обстановка, Костя с размаху всадил лом в кучу смерзшегося щебня и ловко привязал к нему шарф за длинные кисти. Поток воздуха тут же подхватил его, и он взлетел, забился на ветру, как адмиральский вымпел.

— Хорош! — воскликнул Костя, довольный своей затеей.

— Зачем это? — повернулся к нему Федя. — Чтоб лучше видели, куда бить?

— Пускай! — крикнул Кирилл. — Это пролетарский стяг! Это наша последняя баррикада!

Федя безнадежно махнул рукой и отвернулся.

— Немец, понимаешь, от этого цвета сатанеет, как бык, — пояснил Костя с пафосом.

Кирилл привстал на локтях:

— У меня второй диск пустой!

— Работай, Федя, поспеши, дорогой, — подгонял Костя. — Диски я сам набью.

Он вынес из блиндажа начатую цинковую коробку с патронами и побежал с нею к брустверу, за которым лежал Кирилл. Внезапно острая боль обожгла ему левую ногу. Он швырнул цинк к пулемету и потрогал бедро. Боль притихла, но нога словно бы одеревенела. Сержант удивленно посмотрел на руку: пальцы были испачканы кровью.

— Они, понимаешь, не так уж плохо стреляют, эти гады, — сказал он с нарочитым спокойствием.

— Ты что, ранен? — припоялся Кирилл, заметив на пальцах сержанта кровь.

— Ерунда, в мякоть, наверное...

Кирилл не успел ничего сказать, вражеская цепь зашевелилась и сделала рывок вперед. Пулемет его рывкнул и смолк. На морозе остывающий вороненый кожух быстро покрывался прозрачным налетом с серебристо-дымчатыми узорами.

— Сам перевяжешь? — отрываясь от приклада, спросил Кирилл.

— Ерунда, — повторил Костя, — все сделаю сам. Вот только набью патроны. Пулемет не должен молчать.

— Послушай, дай-ка бинокль, — насторожился Кирилл. — Похоже, не к нам подмога подоспела, а к ним. — Он выхватил у сержанта бинокль, поднес к глазам, но тут же добавил с облегчением: — Слава богу, только один! С автоматом. Скорее всего связной...

Стоя на коленях, Шония протянул руку, чтобы передать Другову заряженный диск, но тут возле самого блиндажа взорвалась мина. Засвистели осколки. Кирилл прижал к камням голову. На месте взрыва осталась мелкая воронка, по краям которой дымился порывший снег.

— Такого уговора не было, — сказал сержант. — А ну-ка, закатай им хорошую порцию, дорогой. — Он сорвал с груди ППШ, вскочил и тут же почувствовал, как горячая кровь струйкой побежала вниз по ноге.

Однако Кирилл не стрелял. Он снова наблюдал в бинокль за странным немцем в перетянутой ремнем маскировочной куртке и таких же белых штанах. Связной уже не шел, он бежал к своим, на ходу стягивая через голову ремень автомата. Занятые делом минометчики не обращали на него внимания.

Костя поднял автомат и дал по залегшей цепи прицельную очередь. Одну, вторую...

Прямо перед глазами блеснул тусклый желтый огонь. Что-то хлестануло его как щепом. Костя отпрянул назад. Он услышал звон в ушах и почувствовал отвратительную, подступающую к горлу тошноту. Тело сделалось деревянным, руки больше не слушались его. «Не везет, — успел подумать он, — второй раз за день...»

Кирилл с недоумением смотрел на Шония, выронившего автомат, который тупо стукнулся прикладом о мерзлую землю. Костя медленно сгибался, словно переламывался пополам, держась за живот обеими руками. И вдруг завалился на бок, поджимая колени к самому подбородку. Правая нога его дергалась, ерзала по снегу, будто искала и не могла найти точку опоры.

— Федя! — закричал Кирилл. — Сержант ранен! Быстро перевяжи сержанта!

Пока Силаев занимался Костей, Кирилл еще раз поднял бинокль и не поверил своим глазам. Связной, не добежав нескольких шагов до минометчиков, вдруг остановился, вскинул автомат и открыл по ним огонь. Это было что-то невероятное! Он расстреливал их почти в упор. Со всех сторон к месту происшествия бежали егеря, строча на ходу из своих «шмайсеров».

— У них, кажется, один сошел с ума! — крикнул он Феде. — По своим бьет!

Далеко внизу взлетела в небо зеленая ракета. Достигнув вершины, она как бы зависла на короткое время и потом начала медленно падать, сгорая на лету. Немцы уже отходили, кто ползком, кто перебежками, подбирая на ходу раненых. На минометной позиции была настоящая свалка...

К своему стыду, Кирилл всегда боялся крови. Именно поэтому он и попросил Силаева перевязать сержанта. Федя перевернул Шония на спину, извлек из ножен штык и с треском распорол на животе маскхалат. Растегнул Костин ватник, подлез под гимнастерку, держа в зубах индивидуальный пакет.

— Ну, что с ним, крепко? — спросил Кирилл и снова почувствовал, как его начинает трясти злой малярийный озноб.

Федя выронил изо рта пакет и вытащил из-под гимнастерки руки. По запястьям они были в темной густой крови, и от них шел пар, срываемый ветром.

— Однако, помер сержант, — растерянно сказал Федя.

«Глупости, этого не может быть! — хотелось крикнуть Кириллу, и все-таки что-то оборвалось в нем с болью. — Костя просто потерял сознание, сейчас он придет в себя, сейчас...»

Кирилл опустился на корточки возле сержанта. Тот лежал, вытянувшись на спине. Лицо Кости было бледным, как гипсовая маска, и резче обычного выделялись на нем темные бархатные усы с капельками от растаявшего снега. Кирилл нагнулся ниже, чувствуя, как что-то сжимается в его горле, и увидел совсем близко приоткрытые желтые глаза. На них падали острые кристаллики снежинок. И только тут он отчетливо осознал, что все кончено...

С детства Кирилл панически боялся мертвых, но сейчас ему почему-то совсем не было страшно. Он прикрыл сержанту тяжелые веки и встал, опираясь рукой о снег. Постоял молча, подобрал Костин автомат и побрел к блиндажу на непослушных ногах мимо ржавой воронки, похожей в сумерках на диковинный цветок.

— Вот, — сказал Федя, подавая Кириллу кiset, сложенную гармошкой, чуть подмокшую на сгибах газету и зажигалку. Это он оставил под камнем, когда вошел с ракетами.

Кирилл сел на ступеньку, оторвал сухой кусочек газеты и стал неумело крутить сигарку. Руки его дрожали.

— Ты забери у него часы в маленьком кармашке, — глухим незнакомым голосом попросил Кирилл. — Нам без часов паршиво будет.

«Так и не прислали подмогу, — подумал он почти без сожаления и упрёка, точно речь шла о чем-то, не имеющем к нему никакого отношения. — А теперь уже все равно...»

— Тут одна цепочка, — донесся до него издалека голос Силаева. — Часы осколком разворотило.

Кирилл чиркнул зажигалкой, но ветер сбил пламя. Он нагнулся и, прикрываясь рукой, с трудом прикурил.

Неумело затягиваясь, Кирилл кашлял и, размазывая по щекам слезы, плакал втихомолку то ли от горького дыма, то ли от собственного бессилия.

11

Всю ночь, сменяя друг друга, они дежурили у каменной гряды. Сумасшедший немец, труп которого так и оставался лежать на минометной позиции, никак не выходил из головы.

Едва забрезжило морозное утро, Силаев и Кирилл положили твердое, негнущееся тело сержанта на трофейную плащ-палатку и оттащили под прикрытие скал.

Федя вытащил из кармана его гимнастерки документы, переложил в свой и накрыл сержанта полами плащ-палатки. Потом, не сговариваясь, они стали обкладывать его камнями. Но добывать их становилось все труднее, камни примерзли к скале, и Кириллу пришлось идти за лопатой.

Через час на этом месте уже вырос высокий щебенчатый холм. В основание могилы Федя воткнул шест. Он надел на него каску сержанта и проволокой прикрепил фанерку от макаронного ящика, на которой выжар раскаленным кончиком штыка: «Сержант Константин Шоня. Старший в группе заслона».

Как положено, они дали прощальный залп из винтовки и автомата, а потом помянули Костю, выпив по сто граммов разведенного спирта из драгоценного НЗ. Доели последние сухари, но манку варить не стали. Не было ни сахара, ни соли, да и есть им совсем не хотелось.

Спирт опалил внутренности и потек огнем по жилам, слегка ударяя в голову.

— А он нас в гости приглашал, — задумчиво проговорил Кирилл, дожевывая сухарь, и голос его дрогнул.

— Давай сговоримся и приедем к нему вместе, когда кончится война, — предложил Федя. — Не-е, не на море, а сюда, на Эки-Дару.

— Приедем, — согласился Кирилл. — В туманный день...

— А эта, из Хосты, — Федя вдруг улыбнулся с детским простосердечием, — приглашала, слышь?

— Слышу, не глухой, — ответил Кирилл и на всякий случай выглянул через амбразуру. — Потерпи, скоро заслон снимут, отведут на перестроировку, тогда и съездишь.

— А отпустят?

— Думаю, отпустят. Кого ж отпускать, если не тебя?

— На море сейчас тепло, — вздохнул Федя. — Поди, купаются еще. Знаешь, я вон, когда прибыли, целый день по поселку толкался, пока в монастырь не попал, а в море так ни разу и не скупнулся. Как оно там, в соленой-то воде?

— Нормально, — пожал плечами Кирилл. — Легче держаться, говорят. Вода плотнее...

— А знаешь, я схожу туда, к этому немцу, — неожиданно предложил Силаев.

— Ты что, контуженый? — уставился на него Кирилл.

— Не-е, — успокоил его Федя. — Надо сходить. Тут пять минут дела. Последишь в бинокль. В случае чего сигнал дашь — я вернусь мигом.

«А ведь он прав, — подумал Кирилл. — Если мы не выясним все до конца, потом не простим себе этого».

Они понимали друг друга без лишних слов.

— Винтовку свою не бери, — сказал Кирилл, — возьми на всякий случай автомат...

Время тянулось мучительно долго. Другов вглядывался до рези в глазах — не проглядеть бы чего. Но все вокруг как будто оставалось спокойным.

Федя вернулся примерно через четверть часа. Он был необычно сумрачен. Стянул с себя рукавицу и швырнул об землю:

— Так и знал, это он!

— Конев? — бледнея, спросил Кирилл, хотя и без того знал, о ком идет речь.

Федя ответил не сразу. Он долго молчал, сосредоточенно ковыряя носком плотный снег.

— Ты как сказал тогда, я сразу на него подумал, — наконец проговорил он.

— Я тоже, — признался Кирилл. — Но потом решил: откуда у него маскировочный костюм мог взяться?

— Какой костюм! — воскликнул Федя. — Он навыворот оделся, понимаешь! На штаны и гимнастерку нижнее белье натянул и ремнем подпоясался. Похоже получилось, если издали. А вот куда шинель подевал, не знаю. Немцы из него решето сделали, места живого нет.

— Вот такие, брат, дела, — в раздумье проговорил Кирилл, — вот тебе и Конев...

— Жаль, однако, сержант не узнал правды.

— А ты хотел парня ухлопать. Ведь ухлопал бы?

— Тогда-то? Запросто, — честно признался Федя.

— Похоронить его надо как человека, — заметил Кирилл.

— Сейчас нельзя. Подождем до завтра. Если все будет тихо, похороним...

До полудня их никто не беспокоил, и они смогли дозарядить пулеметные и автоматные диски, набить запасные магазины для винтовки. Автоматных патронов было достаточно, а винтовочные кончались. Осталось три пулеметных диска, столько же магазинов для СВТ, да десятка полтора патронов Федя рассовал по карманам про запас. Каждый взял себе по две гранаты, и еще штук шесть они разложили на нарах. Потом добавили камней в бруствер пулеметной точки и обложили сланцевыми плитками позицию, облюбованную Федей.

На этот раз немцы появились часа на два раньше, чем накануне. Они опять разделились на две группы, только меньшая повернула теперь не налево, а в противоположную сторону. Почти на том же месте расположились солдаты с минометами. Однако эти держались осторожнее вчерашних и старались пореже высовываться. Неподалеку Кирилл увидел в бинокль двух стрелков с винтовками, которые залегли среди камней. Однообразие тактики, избранной неприятелем, начинало внушать ему подозрение и даже некоторое беспокойство. Не такие уж они дураки, чтобы нахально работать под копирку, повторяя собственные ошибки. Ведь это же отборные егерские части!

После гибели сержанта с молчаливого согласия Фе-

ди командование заслоном как-то само по себе перешло к Кириллу. И чувство возросшей ответственности сделало его строже и собраннее.

Завидев немцев, они выпустили две ракеты — третья не сработала, видимо, отсырел порох — и так же, не мешкая, как вчера, заняли свои позиции. Однако немцы не спешили атаковать. С почтительного расстояния они постреливали из винтовок, выпустили шесть мин, которые не причинили вреда. Скорее всего после вчерашнего побоища к минометам приставили первых попавшихся. Им не хватало профессионального опыта.

Теперь, когда пули щелкали по скале или взрывали снег на седловине, Кирилл уже не прятал голову за каменный бруствер, как это бывало прежде. Он пытался постичь логику, руководившую поступками неприятеля, и ничего не мог понять. Почему группа слева от него медлит и не повторяет вчерашних попыток достичь непростреливаемой зоны с другой стороны? Почему те немцы, что растянулись цепью напротив седловины и залегли среди валунов, ведут себя так пассивно? Почему они тянут время, чего ждут? Его не покидало предчувствие, что все это неспроста и что-то непременно должно произойти.

Но вот наконец на правом фланге у немцев стало наблюдаться некоторое оживление. Солдаты в маскировочных костюмах, белые на белом снегу, начали редкими перебежками продвигаться вперед к выступу ледника. Одновременно усилился огонь с фронта. Пули все чаще попадали в бруствер, выбивая из него каменную крошку.

— Федя! — крикнул Кирилл. — На тебе цепь, слышишь? Я отсекаю группу слева от нас. — И, не дожидаясь ответа, он дал длинную очередь по перебегавшим солдатам. Снова запахло сладковатой пороховой гарью.

В спину порывами дул ледяной ветер. С тугим пробочным хлопком разорвалась еще одна мина.

— Эй, Кирилл, погляди направо! — предупредил Силаев. — Там опять фрицы!

Кирилл поднес к глазам бинокль и увидел совсем рядом, почти в упор, на том же карнизе, что и накануне, двух немцев. Каким образом они сумели туда вползти, он не знал, да это было и неважно. Просто он слишком увлекся той фланговой группой. Сейчас на фоне темной скалы солдаты были видны достаточно отчетливо. Да они особенно и не прятались. У одного из них был

наготове автомат, другой в левой руке держал смотанную в кольца веревку, а правой что-то быстро раскручивал в воздухе. Еще секунда, и темный предмет, привязанный к концу веревки, описав в воздухе навесную траекторию, упал по другую сторону скального гребня.

«Якорь! — молнией пронеслось в сознании Кирилла. — Железная кошка!» Вот в чем подвох. Они заранее выбрали место, где скальная стена не слишком высока, отвлекли внимание. А главное — егеря теперь оказались ближе того места, где на хребте были поставлены мины. Он же чувствовал: что-то будет!

Между тем немец подергал за конец веревки, но якорь, видимо, не смог хорошо закрепиться и перелетел обратно через гребень. Солдат отскочил в сторону, и кошка упала в снег прямо у его ног. Он тут же стал поспешно наматывать веревку на локоть, намереваясь повторить попытку.

— Федя, бегом за пулемет! — крикнул Кирилл, выползая задом на локтях.

Он подхватил автомат, приготовленный ими на всякий случай, и побежал, прыгая на своих длинных ногах. Только бы успеть!

Даже пригибаясь на бегу, Кирилл не мог не заметить, как кошка второй раз перемахнула через поставленные на ребро сланцевые плиты. Он был уже близко, он видел, как скребут по камню острые якорные лапы, как ищут они малейшую трещинку, малейшее углубление, лишь бы закрепиться. А он все бежал, оскальзываясь на прессованной английской подошве и прыгая козлом через запорошенные снегом обломки скал.

Якорь все-таки нащупал какую-то выбоину. Веревка подергалась и натянулась. Кирилл часто дышал, сердце неистово колотилось, когда он наконец добежал до места. Сейчас достаточно было ударить каблуком, и не очень надежно закрепленный якорь наверняка полетел бы вниз, но Кирилл продолжал стоять, как замороженный, глядя на прочную, по особому сплетенную веревку. Она чуть подрагивала и раскачивала якорь. Он не видел противника, и противник не видел его.

Там, на седловине, ударил длинной очередью и смолк ручной пулемет. Значит, Федя не дремлет. Стараясь не шуметь, Кирилл оттянул короткую рукоятку затвора. Она клацнула едва слышно. Из-за гребня отчетливо доносилось сопение и скрежет альпинистских триконой о шероховатую поверхность камня.

Наконец чьи-то мокрые побелевшие от напряжения пальцы ухватились за край плиты. Вот и вторая рука мертво вцепилась в острый излом. Кирилл отступил на шаг и поднял автомат.

Над краем скалы сначала возник капюшон, а за ним и лицо немца с узким кожаным ремешком на самом кончике подбородка. Белые округлившиеся глаза смотрели неотрывно в черный зрачок автомата.

У Кирилла нервно дернулась щека, и он надавил на спуск. Автомат рванулся у него в руках, и Кирилл с ужасом увидел, как лицо немца превращается на глазах в громадный дуршлаг с черными дырами. От его головы летели какие-то шмотья и осколки, похожие на фаянсовые черепки. Автомат грохотал, не переставая. Кусками отрывалась белая ткань капюшона, а побелевшие пальцы все еще впивались в края плиты...

Автомат умолк сам по себе — в диске кончились патроны, — но Кирилл по-прежнему продолжал давить на спусковой крючок, словно палец свело судорогой. Ему казалось, что это длилось вечность, на деле же прошло около пяти секунд. Только теперь руки немца разжались, и тело его тяжелым мешком шлепнулось на карниз. Кирилл все это время с такой силой стискивал зубы, что заболели скулы. Он спохватился и стал быстро выбирать на себя веревку, хотя, судя по всему, о ней уже никто не заботился.

Пробираясь на свою позицию, Кирилл видел, как с юга к перевалу подступает белая облачная стена. От нее еще больше веяло холодом и сыростью. Его слегка мутило, и он несколько раз вдохнул воздух полной грудью. Время от времени он слышал тарахтение пулемета...

Силаев с готовностью уступил ему место. Заметив, что Кирилл немного не в себе, он сказал:

— Я все-таки снял одного. Жаль, винтовка стала капризничать. Недосылает патрон. Снег в затвор попал, что ли?

— А ты его ладонью добивай, — посоветовал Кирилл.

Силаев всегда действовал на него успокаивающе.

— Попробуем, — кивнул Федя и, загребая ногами, пошел вразвалочку на свое место. — Диск я только поставил, — предупредил он. — Последний!

Рядом засвистели пули. Эти стрелки никак не успокаивались.

— Пригибайся, черт! — рывкнул на него Кирилл. — Гуляет как в парке культуры...

Но Федя уже укладывался за камнями на утрамбованном снегу. Кирилл на всякий случай сменил в автомате магазин, лег за пулемет и примерился к прикладу. Руки уже не дрожали. Значит, он преодолел что-то, перешагнул через немыслимое.

Кто-то из немцев высунулся из-за камня, и Кирилл снова заставил его залечь.

Рваные клочья облаков промчались над перевалом, в спину ударил снежный заряд, и тут же громадная воронка цирка стала тонуть в сизовой мгле. Ему показалось, что на левом фланге, у нижней кромки ледника, немцы начали подниматься из-за камней, наверное, решились воспользоваться плохой видимостью.

— Федя, работай! — крикнул Кирилл, не замечая, что повторяет любимое словечко своего сержанта.

Силаев не стрелял. «Наверное, опять клинит затвор», — подумал Кирилл.

Немцы окончательно осмелели. Цепь поднялась в рост, готовясь броситься на штурм каменного завала. Снег слепил их. Кирилл же мог еще кое-что различить, и он стал посылать в клубящуюся муть одну за другой очереди трассирующих пуль. Он бил прицельно и видел, как еще один егерь упал точно подрубленный.

Ветер усиливался, снег летел все гуще и гуще, а Федя все не мог управиться со своей винтовкой. В этот момент слева послышался взрыв — один, другой...

— Ура! Они нарвались на минное поле! — заорал Кирилл не своим голосом. — Федя, ты слышишь?

Силаев не отзывался, и он побежал на помощь, даже не пригибаясь. Кругом кипело сплошное «молоко», в трех шагах ничего не было видно. Ветер набрал такую силу, что трудно было устоять на ногах. Снег стегал, как мелкая дробь. Теперь немцы не сунутся, побоятся мин. Да и в такую заварушку своих от чужих не отличишь — и те и другие в белом.

Федя отдыхал, опустив голову на приклад винтовки. Снежная крупка с треском секла его по спине.

— Кончай ночевать! — крикнул Кирилл. — У нас теперь антракт на двадцать минут, как в хорошем театре.

Но Федя не отзывался и не поднимал головы. Кирилл схватил товарища за плечо и рывком перевернул на спину. Глаза у Феди были прищурены, а между рывке-

ватыми бровями, под самым обрезом каски, темнел сгусток, из которого едва заметно сочилась кровь.

Кирилл попытался приподнять Федю за плечи, но голова друга беспомощно мотнулась и откинулась назад. Снег под ней почернел и подтаял от горячей крови, ручьем бежавшей сквозь продранный на затылке капюшон.

Отчаяние и злоба охватили Кирилла. Он увидел рядом две гранаты, заботливо прикрытые плоским камнем, схватил их и, поднявшись, изо всей силы метнул одну за другой в мутный провал. Гранаты рванули где-то внизу, скупо озарив мглу желтоватыми всполохами. Потом он бросился за автоматом и, став у самого края обрыва, начал строчить длинными очередями в это клочущее вспененное «молоко», и только пульсирующее пламя отчаянно билось в пазухе дульного тормоза, на его косом срезе...

12

Расстреляв все патроны, Кирилл сел на обломок скалы спиной к ветру и обхватил голову руками. Что делать? Теперь он остался совсем один. Кирилл вдруг отчетливо осознал, что потерял очень близких людей. Всего остального сейчас просто не существовало.

Как поступать ему дальше? Еда прикончена, боеприпасы на исходе. Не может же он бессменно стоять в карауле — не есть, не спать, не отлучаться. И все-таки теперь, после всего, что было, разве он способен отсюда уйти? Раз уж тройной заслон, пусть и остается тройным до конца. Скорее он сдохнет от пули или от голода, чем сдвинется с места.

Снег, закручиваясь в вихри, хлестал его по лицу. Щеки горели.

«Камни помогут», — вспомнил он слова, быть может, случайно оброненные Костей. Но вдруг ему показалось, что все это было сказано не зря. Ведь он же своими глазами видел, как снег слепил фрицам глаза, как валуны выставляли им навстречу свои широкие обледенелые лбы, как противотанковыми надолбами ошетинились на их пути каменные утесы, а лавины устраивали лесные завалы. И разве самого Кирилла перевал не вознес на недоступную высоту? Значит, горы, родина его друга, были с ним заодно...

Кирилл поднялся, собрал все оружие и отнес в блин-

даж, потом, отворачиваясь от секущего снега, подошел к Феде, снял с его пояса ножевой штык, вытащил документы и переложил в свой карман. С трудом нашупал винтовочные патроны. Ровно пятнадцать штук. Про запас. Сделав штыком надрез на маскхалате, он оторвал капюшон. Следы крови под ним уже припорошило снегом. Кирилл снял с Феде каску, вытер чистым углом тряпки его бледное лицо с посиневшими губами и уже заострившимся носом, осыпанным крупными веснушками. На белой материи остались красные полосы, и он удивился, что не испытывает ни безразличности, ни страха.

Кирилл даже не заметил, как прекратился снегопад и стало видно далеко вокруг. Егерей внизу не было. Не заметил он и убитых. Может быть, немцы унесли трупы с собой, а может быть, их попросту замело снегом.

Окровавленным обрывком халата Кирилл обернул Федину голову. Потом он стал подбирать куски плитняка — до мелочи было уже не докопаться — и обкладывать ими мертвого друга, который, сам того не подозревая, облегчил ему работу, заранее натаскав камней в бруствер своей огневой. У Кирилла обледенели мокрые рукавицы, занемели пальцы, но он все выбивал каблуками смерзшиеся сланцевые плитки и таскал, таскал, не чувствуя ни усталости, ни обжигающего ветра, словно то, что он делал, было решающим в его судьбе, словно от этого зависела вся его жизнь.

Кирилл разогнулся только тогда, когда закончил работу. Он заметил, что уже вечереет, что снова, гуще чем прежде, пошел снег. Он сходил за винтовкой и дал прощальный залп.

— Вот и все, — сказал он вслух.

Вернувшись в блиндаж, Кирилл засветил коптилку, растопил печь и стал набивать пустые автоматные диски. Когда стало тепло, он стащил с себя маскхалат и снял каску. Потом повесил сушить рукавицы и принялся чистить Федину винтовку. Покончив с этим делом, он вставил в винтовку заряженный магазин и прислонил ее к стене рядом со своим пулеметом. Затем сунул запалы в оставшиеся гранаты и разложил их на пустом ящичке возле нар.

Действуя все так же, как заведенный, Кирилл набрал в котелок снегу и поставил на печь. Ожидая, пока закипит вода, чтобы бросить в нее последнюю горсть манки, он стал просматривать документы погибших друзей. Рядом с Фединой красноармейской книжкой ле-

жал сложенный вдвое треугольник. Письмо было написано на листке из ученической тетради в клеточку. Кирилл развернул его и прочитал: «Здравствуйте, Федор! Пишет вам ваша знакомая Люда из Хосты. Вы не представляете, как рада я была получить ваше письмецо прямо с передовой. Значит, вы живы и здоровы...»

Всю ночь он просидел на нарах, завернувшись в тулуп и держа автомат на коленях. Всю ночь, не переставая, лепил снег, хлестал ураганный ветер. Он дико завывал в жестяной трубе, яростно трепал и надувал парусом плащ-палатку...

...Только перед рассветом Кирилл забылся в недолгом и чутком сне. Проснулся он от холода, оттого, что перестал чувствовать собственные ноги. Дрова в печке давно прогорели, и ветер выдул из блиндажа остатки тепла.

К утру метель утихла, но стужа усилилась. Он сидел, скорчившись, коченея в темноте, как последний житель на остывающей мертвой планете.

Кирилл с трудом разогнул колени, спрыгнул с нара и стал изо всех сил топать тяжелыми ботинками по смерзшейся земле. Только сейчас пожалел, что с вечера не обул валенки. Возле дверного проема сквозь щели за ночь надуло целый сугроб, и он, взяв лопату, принялся раскапывать проход. Нашел заготовленную с вечера растопку, снова затопил печь. Когда раскалившаяся железная бочка стала отдавать тепло, он разулся и долго растирал ладонями оковеневшие ступни, пока к ним не вернулась чувствительность. Потом надел валенки, растопил в кружке немного воды, плеснул туда остаток спирта и выпил залпом. Тряхнул головой, вытер слезы и стал закусывать остатками вчерашней несоленой каши.

Уже совсем рассвело, пора было выбираться из блиндажа. От мороза у Кирилла перехватило дыхание и стали слипаться ноздри. Стояла удивительная, редкостная тишина. Кирилл был поражен, увидев, что на самом перевале и крутых южных склонах сохранилось совсем мало снега. А ведь он валил почти целые сутки! Снег задержался только внизу, на более пологих местах, по руслу ручья и у самой границы леса. Там уже чувствовалась его внушительная толща. Видимо, ночной буран вылизал наветренную сторону хребта, сдул снег с перевала.

Вид северного склона поразил его еще больше. Он

едва узнавал примелькавшийся ландшафт. Весь цирк потонул в снегу. Ни один куст, ни один валун не возвышались над этой однообразной белой равниной. Со скальных уступов и карнизов снег свисал мощными козырьками. Казалось, тронь его или выстрели рядом, и вся многотонная масса тут же обрушится вниз. Снег забил дальнюю теснину и скрыл под собой осыпи. Только отвесные скалы грозно чернели в слепящей белизне.

И разве найти тут Володю Конева? Он станет теперь частью этих гор, этих камней, скользкой глиной, хрупкой солью, холодной росой на траве. И кем он был в жизни, в какой части служил, имел ли семью, где оставил свой дом? Прекрасна судьба его и жестока! На веки веков суждено ему оставаться в списках пропавших без вести...

Не дожидаясь, пока прогорят дрова, Кирилл выжер штыком на фанерке: «Красноармеец Федор Силаев. Боец заслона». Попытался вспомнить точно, какое сегодня число, и не смог. Фанерку он прикрепил проволокой к черенку лопаты, а лопату поставил в изголовье могилы, до половины обложив камнями, которые с трудом выбил из бруствера пулеметной точки. Сверху повесил пробитую на затылке каску, обросшую потеками ржавой наледи.

Потом Кирилл надел тулуп, сухие рукавицы, взял автомат и пошел под скалу, где обычно они несли свою службу и где сейчас, занесенный снегом, возвышался холм над могилой сержанта. Он вдруг подумал о том, что привычное выражение «предать земле» здесь утрачивало всякий смысл. Здесь можно было предать только камню.

На ворот тулупа медленно оседала морозная пыль. Опушенные и завязанные тесемками наушники обросли по краям инеем.

Перевал стал частью его жизни, его судьбы. Он не знал, что будет с ним через час, через день, через месяц. Одно он знал твердо: если ему суждено остаться в живых, перевал сохранится в нем, как незаживающая сквозная рана. И что бы ни случилось теперь, Кирилл вечно будет стоять в заслоне, на водоразделе добра и зла, до последней минуты, до последнего судорожного удара сердца...

Внезапно он услышал за спиной какое-то странное позвякивание. С опущенными наушниками Кирилл был как глухой, и посторонний звук показался от этого тем

более неожиданным. Он подхватился, держа автомат наизготовку.

В десяти шагах от него с ледорубом в руках стоял старшина Остапчук в белом дубленом полушубке. Он молча переводил взгляд с одной фанерной таблички на другую, потом задержал его на красном шарфе, привязанном к железному флаштоку и траурно поникшем в полном безветрии. И, когда Кирилл, приложив к шапке рукавицу, хотел доложить по всей форме, тот только горько махнул рукой:

— Мовчи, сынку, мовчи! — Он круто повернулся и зашагал, сутулясь, к двум незнакомым молоденьким бойцам, которые пришли вместе с ним.

Скорее всего они прибыли с последним пополнением прямо из военкоматов. Не иначе как двадцать четвертого, а то и двадцать пятого года рождения. Ребята вели себя шумно, хлопали рукавицами, греясь, норовили толкнуть друг друга плечом. И Кирилл подумал о том, какая же бездна отделяет его от них. Они явились сюда из совершенно иного мира, еще не преодолев главный порог познания.

Кирилл подошел к ним. Они смотрели на него так, словно перед ними возникло привидение, выходец с того света. Он не мог понять, чего больше было в их взглядах, сочувствия или любопытства. Он поздоровался с ними, они ответили.

— Учора сусиды Санчару штурмом узялы, — сказал Остапчук. От его рта шел пар, и на усах белела изморозь. — Чотыри дни былысь. Багато полягло наших...

— Это плохо, — с усилием проговорил Кирилл. Его сухие жесткие губы свело стужей. — А мы тут все подмогу ждали...

— Некому пособлять було, хлопче. Прорвались хрыцы у Цегеркера. Пуста застава була.

— Кто же погиб из наших? — спросил Кирилл.

— Багато! — повторил старшина. — Командир першого взводу лейтенант Кравець, политрук Ушаков, отой младший лейтенант, що з окруження, Киселев, чи як його...

— А Лина? Помнишь военфельдшера?

— Поранило. Мабуть, нэ дуже. У тыл вакуировалы.

— А этот, инженер Радзиевский?

— Нэ знаю, — покачал головой Остапчук. — Його тогда ще у полк забрали, и всэ. Бильш я його нэ бачив.

— Жалко Ушакова, — вздохнул Кирилл, — и Киселева тоже. Всех жалко.

— Це всё война распроклята. Ну нэ жаль, скажи: Истры нашего вже нема, а симья його знайшлась тэпер дэс на Урали. Все живехоньки. А вы молодци, добре стоялы! Дывысь, ще медаль причеплють. Уполни заробыв.

— За что мне медаль? Моя медаль здесь останется, товарищ старшина.

Остапчук понимающе кивнул и повернулся лицом к могиле сержанта:

— А капитан казав, що шкуру з його здере и сушить повисе.

— Это за что еще? — устало поднял глаза Кирилл.

— За того раненого, що з оружием пропустилы... Чашкин, Кружкин чи Ложкин...

— Рюмкин, — вспомнил Кирилл.

— З мэдсанбату звонылы: що вин, собака душа, самострел. Пороховый ожог у його знайшлы.

— Ну вот, — грустно усмехнулся Кирилл, — выходит, на этот раз Федя был прав...

Остапчук спохватился:

— Ну, хлопче, збырайся. Прогноз дуже поганий. Днем у горах мороз, а в ничь витрэ со снігом. Ще нэ выберемось.

— А эти что, одни остаются? — удивился Кирилл. — Вдвоем?

— Утром приказ був — знимаем заслон. Всэ, точка!

У Кирилла дернулась щека. Он зажмурился и до боли сжал челюсти, чтобы старшина, упаси бог, не увидел его слез.

— Ну, хлопче, що робыть будемо? — Остапчук опустил ему на плечо тяжелую руку.

Кирилл не ответил.

Сквозь облака чуть проглянуло осеннее солнце, и снег мгновенно засверкал, заискрился. Языком негасимого пламени вспыхнул шарф Константина Шония. Остроконечная вершина справа от перевала напоминала громадный зуб, нацеленный в небо.



**ПЯТЬ
ТЫСЯЧ МИЛЬ
ДО НАДЕЖДЫ**

Розоватый лиственничный брус слегка растрескался от времени, и янтарные капли смолы, как тяжкие слезы, поблескивали на сбитых сучках. С солнечной стороны смола затвердела и покрылась белесым налетом, похожим на соль тончайшего помола.

Не так-то просто было Святославу Владимировичу раздобыть в свое время эти самые брусья, которые, по его мнению, единственно годились на киль для небольшого морского судна. Лиственница, увы, не растет на юге, и он был вынужден выпрашивать каких-то несчастных полтора десятка метров на лесном складе вагонного участка. Для этого пришлось пустить в ход старые связи. Над школой, в которой Святослав Владимирович много лет преподавал географию, шефствовал железнодорожный узел.

Со шпангоутами было проще: сюда шел сухой прямослойный дуб, достать который тут не составляло особого труда.

Стапель стоял в глубине огорода, подальше от любопытных глаз, и все же в поселке не было человека, который не знал бы о том, что старый учитель строит настоящий десятиметровый шлюп с гафельным вооружением.

С открытой терраски Святославу Владимировичу был превосходно виден этот его нехитрый стапель с полным деревянным набором, со всеми бимсами, стрингерами и карлингсами. Для этого стоило только, подтянувшись за перила, поднять голову со скрупичей раскладушки.

Теперь он с грустью отмечал, что недостроенный шлюп постарел вместе с ним, так и не успев погрузиться в морскую купель. А сколько раз его фантазия облекала голый каркас в легкую и прочную обшивку! Словно наяву, видел он покрытые белой эмалью сверкающие борта и кораллово-красное днище, окаймленное по ватерлинии тонкой синей полосой, протертые до блеска стекла ил-

люминаторов в небольшой палубной надстройке. Это была яхта с коротким бушпритом и стремительными обводами.

Однако работа двигалась медленно. Святослава Владимировича заботили не только мореходные качества, запас прочности будущего парусника, красота и изящество линий, но и его добротность. Он привык к тщательности в отделке, в подгонке деталей, без которой, как он считал, нельзя было построить по-настоящему надежное и быстроходное судно.

Кое-кто ломал голову: яхта? Зачем, что за блажь?

Но что могли знать эти люди? Они и ведать не ведали, как еще в мальчишеские годы его поразила таинственный вирус, принесший неизлечимую болезнь — вечную, тревожную любовь к морю. Они, конечно же, ничего не знали и о том, как он впервые увидел громадную рогатую раковину с мудреным названием. Эта раковина стояла на буфете в виде украшения.

Внутри она была окрашена в розовато-оранжевые тона, которые в глубине становились все насыщеннее и ярче. Края ее казались оплавленными в раскаленном тигле. Ее гладкая внутренняя поверхность блестела свежим гончарным поливом, и было ощущение, будто этот живой огненный блеск некогда запечатлел в себе всю необузданную силу доисторического солнца.

Раковину привезли откуда-то с Маскаренских островов, с берегов далекого Индийского океана.

С тех пор Маскаренские острова стали его мечтой. Ему грезились рощи кокосовых пальм, клонящихся над ослепительно желтыми песчаными отмелями, заросли бамбука, населенные неведомыми птицами, его преследовал запах ванили, которая, как ему сказали, растет там в изобилии, опутывая своими выющимися стеблями молодые кофейные деревья. Ему даже казалось, что он чувствует на ощупь жесткость ее темно-зеленых листьев. Стоило к раковине приложить ухо, и он слышал шум океана.

В ее темном лабиринте рождались звуки, похожие на бесконечный гул наката, когда многотонные зеленоватые волны вдребезги разбиваются об острые коралловые рифы и белая пена, шипя и пузырясь, быстро тает на песке пляжей. Он замирал от волнения, когда прикасался ухом к холодной гляцевитой эмали.

А рядом со всем этим шла другая, обыденная жизнь со своими радостями и огорчениями.

У Святослава Владимировича была нелегкая трудовая юность. Потом был фронт, тяжелое ранение в ногу, после которого он всю жизнь прихрамывал.

Его мечта побывать на далеких островах в Индийском океане то отступала на задний план, почти забывалась, то с новой силой напоминала о себе.

Маврикий был для него не просто островом, одним из множества островов. Он мог бы вполне служить символом долготерпения и мужества. Когда здесь высадились первые поселенцы, вся земля вокруг была усеяна вулканическими бомбами. Потребовалось множество лет, чтобы разобрать дикое нагромождение камней, скатить их в море. До сих пор на острове сохранились пирамиды, сложенные поколениями земледельцев из этих самых вулканических бомб, — вечный памятник трудолюбию, свидетельство человеческих возможностей.

И земля отблагодарила людей щедростью плодоношения. Именно о ней он прочитал когда-то у Марка Твена знаменательные слова, будто господь бог вначале создал Маврикий, увидел, что это хорошо, и уж тогда по его подобию сотворил рай.

В те годы он еще не задумывался, насколько осуществимы его дерзкие замыслы. В конечном счете это было не так уж важно. Острова существовали в его воображении как бы сами по себе, перешагнув за грань реального.

После войны Святослав Владимирович окончил географический факультет педагогического института. И в этом, очевидно, тоже была своя закономерность.

Уже на последнем курсе он познакомился с Верой. Она была на шесть лет моложе его и заканчивала местное педучилище. Ее отличала спокойная, плавная походка и такой же спокойный, негромкий голос. В округлых чертах лица не было ничего резкого. Облик ее, казалось, был начисто лишен ярких индивидуальных черт.

Но первое впечатление было обманчивым. Веру нельзя было назвать красавицей, это точно, но и некрасивой ее никто не рискнул бы назвать. Только узнав девушку ближе, Святослав Владимирович понял, сколько у нее своего, особого, присущего только ей одной: взгляд, остановленный на нем, неожиданный, откровенный, доверчивый, запах ее волос, ее кожи, теплое, какое-то трепетное прикосновение ладони к его плечу, привычка говорить

«славно» вместо «хорошо» и обращение «милый», в котором не было ничего книжного или пошлого, потому что слова эти естественно вытекали из особенности ее характера. Ему было тепло с ней и легко. Настолько легко, словно он вволю надышался освежающим озоном.

И он полюбил ее. По-настоящему. Навсегда.

— Мне всю жизнь не хватало веры, — пошутил он однажды. — Как видишь, я совсем не случайно выбрал тебя.

Вера была единственным человеком, которому он доверился до конца, кому поведал свои сокровенные мечты. Он ждал и боялся серьезного разговора, не зная, как она отнесется к нему.

— Наверное, это плохо, когда наша жизнь строится на случайностях, — серьезно ответила она. — Случайно увидел раковину, случайно услышал рассказ об островах, только вот, как выяснилось, не случайно встретился со мной. Так может показаться, если не знать тебя. Но я-то ведь хорошо знаю, милый, что у тебя все по-другому. Ты неистовый человек! И знаешь, я подумала: если ты так предан своей идее, то у меня, пожалуй, есть основание рассчитывать, что это твое постоянство в какой-то мере распространится и на меня...

Его длинные нервные пальцы осторожно коснулись ее щеки.

— Боюсь, что мне не всегда хватает последовательности, — вздохнул он, — хотя я и преуспел кое в чем.

— По-моему, тебе просто необходимо, чтобы впереди все было ясно, чтобы знать, чем заниматься сегодня, завтра, послезавтра...

— Неужели мы когда-нибудь действительно поплывем! — вырвалось у него.

— Мы — не думаю, а ты — почти убеждена. Я ведь страшная трусиха, и потом меня укачивает даже в автобусе. Но это совсем не главное. Поплывешь без меня. Ждала же Пенелопа своего Одиссея. Я понимаю так: тебе нужен не спутник, а единомышленник...

Потом началась работа в школе. Коллеги ценили его, относились с уважением, потому что считали его человеком незаурядным, начитанным, знающим свое дело. Его любили ученики за то, что он отдавал им все свободное время. Он не воспитывал их, а жил с ними

одной жизнью, и авторитет его был непререкаем. Он учил их строить модели кораблей и ходил в походы, которые длились много дней.

Для того чтобы возглавить шлюпочный поход по Кубани и затем по Азовскому морю от Ачуева до Темрюка, научиться пользоваться парусами, ему пришлось закончить курсы при морском клубе местного ДОСААФ и получить диплом старшины шлюпки.

В масштабах школы это был легендарный поход, оставшийся темой для педагогических дискуссий и предметом зависти последующих поколений учеников. Уже потом, задним числом, многие не переставали задавать вопрос, как это он решил пуститься в столь рискованное предприятие на трех парусных ялах-«шестерках» с семнадцатью головорезами-девятиклассниками на борту. Но разве тогда он способен был думать о каких-то печальных последствиях, которые могли подстергать их на каждом километре пути? Просто сердце его билось в одном ритме с сердцами ребят, оно звало к риску и подвигу.

2

В память впечатались отдельные кадры и сцены, похожие на обрывки старой киноленты.

...Только на пятый день, пройдя на веслах по течению более двухсот пятидесяти километров, вышли в открытое море. Впервые поставили рангоут и подняли паруса. Все три шлюпки шли теперь курсом бакштаг правого галса, при котором легкий ветерок, наполнявший паруса, дул справа в корму. После нескольких дней изнурительной работы на веслах плавание под парусами воспринималось всеми как заслуженная награда, как акт высшей справедливости. Это были поистине часы безмятежного отдохновения от трудов праведных.

Ребята лежали на деревянных банках или прямо на решетчатых «рыбинах», устлавших дно шлюпок, и, прячась от солнца в тени парусов, глубокомысленно рассматривали мозоли, которыми успели обзавестись за дни похода. Один Мишка Башкирцев стоял на носовом люке, слегка придерживаясь рукой за зыбкую опору ликтроса. Он возвышался над форштевнем, смуглый от загара, хорошо сложенный: взять бы и перенести его на цветную обложку иллюстрированного журнала прямо

так, как есть, — с растрепанной шевелюрой, в порывавших на солнце капроновых плавках.

Сейчас, на досуге, Святослав Владимирович с интересом поглядывал на своих ребят, словно видел их впервые. До чего же они были непохожи друг на друга. Володька Саенко, тощий, как степная борзая, мог бы легко сойти за живое пособие для изучающих анатомию, готовый подтрунивать над кем угодно и когда угодно; Роман Анохин, тихий и застенчивый, краснеющий по любому поводу, белолицый, с глубокими темными глазами; и, наконец, Виктор Дементьев, этакий крепыш с выпуклым лбом, крупным носом и широко расставленными глазами, начитанный, в меру ироничный, но в обращении с любимым учителем легко сбивающийся на тон панибратства.

Но в отношении к Святославу Владимировичу они проявляли удивительное единодушие. Он был одним из немногих, кто в школе не имел прозвища. Заглазно ребята называли его просто по имени, разумеется, без отчества, что по идее должно было приравнивать его к членам великого братства, служить своеобразным паролем, пропуском на беспрепятственный вход в их обособленный мир. Это означало высшее доверие, а большего ему и не требовалось...

Слева от них проплывали низкие берега, желтовато-розовые от битой ракушки, и бесконечное пространство камышовых крепей, тонувших в дымном маре, в теплых испарениях мелких, прогретых солнцем лиманов.

Во второй половине дня ветер переменялся и стал набирать силу. Небо быстро заволокли облака. По морю пробежала судорожная рябь. Поверхность воды какое-то время дрожала и вибрировала, словно кожа исполинского животного в предсмертной агонии. Свежак протяжно запел в снастях, и брызги от ударивших в борт волн начали осыпать ребят с ног до головы.

Это был типичный шквал, и Святослав Владимирович передал по шлюпкам команду переменить курс и идти к берегу. С каждой минутой становилось все темнее. Небо приобрело угрожающий зеленовато-пепельный оттенок. За считанные минуты вздыбились крутые волны. Теперь они били в корму, едва не перехлестывая через транцевую доску. Пришлось «рубить» рангоут и снова браться за весла.

Святослав Владимирович сидел у руля передней

шлюпки и, стараясь перекричать рев разгулявшейся стихии, подавал команды. Он промок насквозь, волосы облепили лоб, и струйки воды стекали с его носа и подбородка. Он не испытывал в этот момент ни страха, ни беспокойства за ребят. Он был уверен в них, как в самом себе. Иначе чего бы стоила его наука.

— Навались! — кричал он, отплевываясь от солоноватой забортной воды, и в глазах его светился азарт. — Молодцы, ребятки! Славно! — незаметно для себя пускал он в ход любимое Верино словечко.

Это состояние отчаянной удали невольно передавалось и ребятам, вселяло в них уверенность, помогало действовать слаженно и четко.

— Внима-а-ние! — звенел на высокой ноте голос Святослава Владимировича. — Выбрасываться на берег носом! Веселей, веселей! — покрикивал он, когда очередная волна подкатывала к самой корме. — Береги весла!

Под килем зашелестело песчаное дно. Шлюпка дернулась и замерла на месте. Высокая волна тут же накрыла корму. Но опасности это уже не представляло — «шестерка» была на берегу.

Святослав Владимирович прыгнул за борт, успев только выдернуть из гнезда румпель и крикнуть ребятам, чтобы побыстрее оттаскивали тяжелый ял от линии прибоя, а сам бросился встречать остальные шлюпки.

Решение выбрасываться носом на берег в этой обстановке было, пожалуй, наиболее правильным и безопасным. При шквалистом ветре и крутой волне всякие дополнительные развороты чреваты серьезными неприятностями. Кроме того, берег здесь был пологий, песчаный, и Святослав Владимирович, выполняя такой маневр, не рисковал разбить шлюпки.

Прошло всего несколько минут, и три «шестерки» стояли уже на суше далеко от уреза воды. Настала пора прийти в себя и оглядеться. Маленький отряд оказался на песчаной косе, которая имела в ширину не более ста метров и была зажата с одной стороны морем, а с другой плавнями — непролазными болотами и камышом.

— Ну, братцы, держитесь, что-то будет, — притворно поежился Колька Крутилин, вечный школьник и выдумщик. — Только теперь начнутся настоящие приключения.

Невдалеке от места высадки обнаружили забитое морским песком гирло лимана. На другом берегу возле чахлых вербочек стояло облупленное, напоминающее сарай строение. Скорее всего это был заброшенный рыбацкий стан. Об этом говорили поржавевшие и погнутые железные койки, сваленные кучей в углу. Убогое строение, несмотря на свою ветхость, могло дать ребятам вполне надежное укрытие...

И еще одна сценка осталась в памяти.

...Утро третьего дня. Оно встретило их солнцем и крепким ветром с норд-оста. Шторм разыгрался не на шутку, и было совершенно очевидно, что злополучная пустынная коса станет их прибежищем на долгий срок.

После завтрака ребята рассказали, что в гирле и в самом лимане полно дохлой рыбы.

— Это цветут водоросли, — сказал Святослав Владимирович, — давно не было дождей, выход в море отрезан, и рыба задыхается без кислорода.

А через полчаса, вооружившись лопатами, ребята горячо принялись за дело. Работали по очереди, сменяя друг друга. И хотя копать рыхлый ракушечник было нетрудно, канал закончили только к полудню. То, что не успели доделать люди, завершило море. Волны без труда размывали остатки перемычки.

И тут пошла рыба. Сначала кто-то опустил руку в воду у самого основания канала и вытащил полную горсть живых мальков размером не больше спички. Но вскоре стала попадаться рыбка и покрупнее. Колька Крутилин за несколько минут набил полный чайник отличными красноперками. Задыхающаяся рыба рвалась из лимана в открытое море.

Святослав Владимирович, изрядно умаявшись, пошел в барак покурить и полежать перед обедом на тростниковой подстилке. От ветра и яркого солнца у него разболелись глаза. Но отдохнуть не пришлось. Едва он почувствовал, как в прохладе его начинает одолевать приятная дремота, послышался истошный крик, который подбросил его с постели, словно под ним сработала стальная пружина. Что там могло случиться?

Он выскочил наружу через узкий дверной проем и остановился, ослепленный ярким полуденным солнцем.

В размытом канале, невдалеке от линии прибоя, лежал на мокром песке Сережка Трофимов, прижимая голым животом что-то громадное, живое, похожее издали на крокодила. Когда набегала волна, вода накрывала

его до самых плеч, но стоило ей откатиться назад, как он оказывался на суше, продолжая барахтаться в грязи.

— На языке спортсменов это называется дуэль с собственной тенью, — хладнокровно заметил Саенко, стоявший неподалеку.

— Просто повторяется история с чеховским налимом, — не без сарказма усмехнулся Виктор Дементьев. — За зебры его, за зебры!

Трудно сказать, сколько времени длилось бы это сражение, если бы на помощь не подоспели ребята. И огромный карп очутился в конце концов на берегу. Это было настоящее чудище, библейский левиафан! Почти черная чешуя его не уступала размерами пятаку. Когда Сережка поднял рыбу за жабры на уровень собственной груди, хвост продолжал хлестать по земле. Ничего подобного Святослав Владимирович в жизни не видел. Больше того, он был уверен, что ни один серьезный человек не поверит ему, если он вздумает рассказать по возвращении домой о том, чему был свидетелем.

Однако чудеса на этом не кончились. По мере того как море расширяло проход в им же воздвигнутой перемычке, плотность рыбы в импровизированном канале продолжала возрастать на глазах. Она шла валом, живой рекой. Иногда, когда волны откатывались особенно далеко, вся эта трепещущая масса оказывалась на голлом песке, но уже следующая волна подхватывала ее и уносила в темную глубину.

За считанные минуты ребята успели повыхватывать еще с десятков огромных рыб. И только тогда опомнились — зачем? Она же пропадет через несколько часов, и разве в расчете на легкую добычу они грызли лопатами перемычку под палящим июльским солнцем? Ведь что-то иное двигало ими в то время...

Рыбу пустили в море. Оставили одного карпа, того самого патриарха, которого Сережка накрыл собственным телом.

3

А зимой они ходили в кружок моделистов строить крылатые парусные корабли. Здесь бессменным старостой до конца оставался все тот же Серега Трофимов. В жизни Святослава Владимировича судомодельный кружок занимал важное место. Для этого ему пришлось

изучить основы кораблестроения. Его знаниям и эрудиции мог бы позавидовать иной дипломированный инженер или специалист по истории парусного флота.

Его клиперы и фрегаты, барки и бригантины, построенные за долгие годы работы в школе, украшали выставки и музеи, стояли по праву на самых почетных местах в квартирах друзей и бывших учеников. Сколько изобретательности и остроумия потребовалось от него, чтобы научиться изготавливать микроскопические дверные петли и блоки для талей, отливать крошечные якоря, обрабатывать их с ювелирной тонкостью и потом мастерить к ним филигранные цепи. Здесь недостаточно было одного терпения, здесь нужны были талант, подлинное вдохновение и высокая цель...

Хотя он и не ставил перед собой чисто воспитательных задач — они лежали как бы за пределами его человеческих интересов, — работа над маленькой копией настоящего парусника способна была сама по себе воспитать в человеке аккуратность и точность, чувство законченности форм и, наконец, долготерпение, без которого все остальные качества, по мнению Святослава Владимировича, не имели никакого смысла.

И все-таки больше всего ребятам запомнился он на уроках физической географии, когда слегка сутуловатая фигура его, как часто бывает у высоких сухопарых людей, вдруг выпрямлялась, становилась по-юношески стройной, а в желтовато-карих глазах вспыхивал тот неистребимый блеск наивысшего душевного подъема, который в свое время так поразил его молодую жену.

Лицо Святослава Владимировича и в молодости не отличалось округлостью. Костистый прямой нос, острый кадык и слегка выступающие скулы делали его жестким и твердым, как бы начерно вырубленным из куска темного дерева. Оно напоминало грубую заготовку для скульптурного портрета. Оживляли его глаза и улыбка, немного грустная и всегда обезоруживающая.

Но когда он говорил о том, что его волновало... Как он говорил! Мысли и образы обрушивались лавиной. Ему не нужно было подыскивать слова. На уроках это особенно бросалось в глаза, если иметь в виду, что в обычной обстановке Святослав Владимирович был довольно сдержан и немногословен. И какая тогда стояла тишина!

Дома, в маленькой, тесной квартирке, рядом с моделью парусника были расставлены на полках старые

навигационные приборы, теперь уже вышедшие из употребления, но достать которые от этого было еще труднее: слишком много любителей всякого антикварного хлама развелось за последнее время. На стенах висели затертые на сгибах морские карты, давно списанные по причине своего ветхого состояния. Подлинным украшением комнаты были барометр и цейсовский морской бинокль — единственный трофей, вывезенный им в сорок пятом из поверженной Германии. У него были лотии — весьма редкие книги в нынешних частных библиотеках.

Иногда Святославу Владимировичу казалось, что путь в пять тысяч морских миль от восточных берегов Черного моря до Маскарен он мог бы проделать на ощупь, вслепую, так зримо представлял он себе и знаменитый Босфор с минаретами Истамбула, и гористые, поросшие козьем кустарником острова Эгейского моря, и зажатый в песках пустыни Суэцкий канал, где огромные корабли плывут как бы прямо по песчаной равнине. Ему даже чудилось, будто подобное путешествие им уже и впрямь совершалось когда-то в давние, незапамятные времена. Воображение становилось для него второй памятью.

Он, как никто другой, сознавал, сколько опасных ловушек подстерегает мореплавателя-одиночку в столь долгом пути. Тут и мощные ураганы, при которых скорость ветра достигает порой двухсот километров в час, вздымающие целые водяные горы и ломающие корабельные мачты, как спички, и острые рифы, которых не могут избежать даже суда, наспигованные новейшими приборами, и гигантские кальмары, совершающие нападения на современные танкеры, способные сотрясать могучий корпус и делать глубокие вмятины в стальной обшивке.

Немалую опасность таил в себе и возникающий без всяких видимых причин нервный срыв, который нередко приводит даже бывалых и очень мужественных моряков, плывущих в одиночку, к тяжелой душевной депрессии, к внезапному страху перед беспредельностью океана. Участник кругосветной парусной регаты, знаменитой «гонки столетия», Джон Риджуэй, который до этого вместе с напарником за девяносто два дня пересек на веслах Атлантику, одним из первых сошел с круга. Он был раздавлен одиночеством и плакал, как ребенок.

Но у Святослава Владимировича, кроме того, хватало и своих забот, связанных с особенностями задуман-

ного маршрута. Нужно было учесть и встречное направление тропических муссонов, и Южное пассатное течение, способное значительно замедлить ход судна, и неизбежное знакомство с районом возникновения тайфунов в северо-западном углу Индийского океана, и вероятность быть смытым за борт без всякой надежды на спасение.

4

Мать Веры и ее отчим жили недалеко от Новороссийска в маленьком рыбацьем поселке Якорном, который со всех сторон обступали слоистые, вечно осыпающиеся мергелевые скалы, поросшие древовидным можжевельником с медно-красными перекрученными стволами, дикой фисташкой и кустиками скумпии. Листья ее, если размять их в пальцах, остро пахли чем-то похожим одновременно и на полынь и на хвою.

Осенью, в период штормов, на море часто возникали смерчи — огромные водяные колонны с раструбами у самых облаков. Они гнулись под напором ветра, иногда рушились где-то у самого горизонта. Но бывали случаи, когда смерч налетал на берег, и тогда он вдребезги разбивал временные причалы, вырывал с корнем молодые деревья в садах, поднимал в воздух штaketник, даже уносил столики с открытой террасы колхозной столовой и потом выбрасывал все это далеко в горах. В такие дни по руслам ручьев и речек валом шла соленая морская вода.

Родной отец Веры, Алексей Петрович, и старший брат не вернулись с фронта. Второй раз мать Веры вышла замуж за пожилого вдовца, с которым познакомилась еще в годы войны. Несколько дней он, раненный, отлеживался у них дома. Жили они тогда в деревне, недалеко от Смоленска. Григорий Кириллович был с Кубани, куда приехал со своими родителями из-под Астрахани еще несмышленным мальчуганом. После демобилизации он прислал Вериной матери несколько писем, а потом и сам приехал за ними. Мать долго упиралась. Тяжелое время, дочь надо растить, поднимать на ноги, а тут продавай все: дом, корову — и езжай бог знает куда. Григорий Кириллович нравился ей своей степенностью, серьезностью, но о втором замужестве она не помышляла. И вот на тебе... Решилась, поехала. Впрочем, она в этом никогда не раскаивалась.

Григорий Кириллович мало чем напоминал типичного рыбака. Был он приземист и подвижен, говорил фальцетом, его легко было разжалобить и заставить пустить слезу. Солидности не прибавили ему даже смешные моржовые усы, которые он отпустил после войны. Но было в нем главное — он всегда оставался надежным человеком.

А когда Григорий Кириллович выпивал, то окончательно размягчался и добрел, хоть веревки вей. Правда, была у него одна слабость: в такие минуты он не мог сдерживать бесконечный поток слов. Он то и дело вспоминал военные истории, и, слушая его, можно было подумать, что ратное ремесло было единственным, чем он занимался всю свою жизнь.

Домик у них был аккуратный, теплый, но маленький — всего две комнаты, кухонька да открытая веранда, с которой хорошо были видны и море, и огород, и бригадный стан с новым рыбцехом, крытым свежей дубовой дранкой.

Мать умерла в тот самый год, когда у Веры появилась на свет дочь Надя. Григорий Кириллович загрустил. Никогда не имевший своих детей, он успел привязаться к падчерице и гордо называл ее своей дочкой.

— Вот дочка с зятем приедут летом, — обычно говорил он соседям, — тогда, гляди, повеселей будет.

И они каждое лето приезжали в этот поселочек, проводили там два прекрасных месяца. Русло почти полностью пересыхающей речки было полно таинственности. Там росли лопухи, гигантские, как уши африканских слонов, и папоротники высотой больше человеческого роста. Там жили черепахи и желтопузики, а в ветвях кизила гнездились иволги и драчливые щеглы.

За лето Надюха загорала до черноты. От жесткой морской воды коротко стриженные волосы задиристо топорщились, и во всем ее облике было что-то озорное, мальчишеское, залихватское. Она прибегала домой со сбитыми коленками и облупившимся носом, с чертиками в светло-серых глазенках, казавшихся еще светлее на смуглом цыганском лице.

Для девочки это была пора великих открытий. Она становилась невольной свидетельницей бесчисленных таинств природы. При ней дрозды выкармливали своих птенцов, и паук ткал паутину, которая сама по себе уже была совершенством, она видела, как рождаются лесные ручьи и как из земных недр в корнях старого дуплистого

дерева выбивается холодный родник. Каждый день приносил ей новые впечатления, открывал новую страничку в вечной книге Бытия. И Святослав Владимирович с Верой не уставали радоваться этому так, как если бы сами заново познавали мир.

Некоторые открытия она делала самостоятельно. Пришла раз, на следующий день после того, как искупали ее в настоящей бане, с головы до ног вымазанная чем-то похожим на серую глину.

— Да что же это такое? — всплеснула руками Вера. — Где тебя носило, моя милая?

— С ребятами. Ты не волнуйся, мамочка, это мыльный камень. Он смывает всю грязь...

Святослав Владимирович сделал ей сачок из марли, и они ловили бабочек, ярких, как альпийские цветы. У них собралась целая коллекция, и вечерами они подолгу рассматривали неповторимые узоры на крыльях разных аполлонов, адмиралов и траурниц.

Даже Григорий Кириллович, на что уж земной человек, взглянул как-то раз и воскликнул:

— Это ж надо! Сколько видел — летают, ну и летай себе на здоровье. Ничего особенного. А вот так, сразу... Это ж боже ты мой!

Надя покосилась на него и, обняв отца за шею, спростила шепотом на ухо;

— А что, дед до сих пор не знает, что бога нет?

Как большинство детей, она умела и удивить, и рассмешить, и растрогать. То скажет: «Ма-а, давай спать козырем», то вдруг увидит свежую фотографию, где ее сняли на горячих камнях пляжа, и вздохнет: «Вот посмотрю зимой на карточку, и тепло станет...»

Это было счастливое время! Казалось, никакие силы не смогут омрачить жизнь. Все в их мире представлялось незыблемым и вечным. Святослав Владимирович был молод, здоров. Он любил свою жену и свою дочь. «Мои девчата, — пошучивал он, — и Вера моя, и Надежда».

Он почему-то всегда вспоминал, как однажды, когда еще жива была мать, ходили они с Верой вдвоем купаться ночью. Договорились еще днем, но к вечеру поднялся ветер, и заметно похолодало.

— Ты знаешь, — сказала она, поживаясь, — меня что-то не больно тянет на подвиги.

— Что ты! — притворно ужаснулся он. — Теперь

уже отступать некуда. Когда решение принято, всякие компромиссы постыдны. Они просто недостойны таких сильных и мужественных людей, как мы с тобой.

Он запомнил, как она стояла на каменной гряде в полосатом купальнике, с волосами, стянутыми на затылке простой аптечной резинкой, вся облитая серебряным блеском полнолуния, и гребешки волн, перехлестывая через скалу, осыпали ее ноги бисером соленых брызг. Какое волнующее чувство нежности в этот момент переполняло его душу!

Он первым вошел в холодную воду, хотя, говоря по чести, ему и самому не очень-то хотелось купаться, и, набрав воздуха, нырнул...

На берег они вышли вместе, держась за руки, потому что под ногами были скользкие, покрытые слизью камни. На резком ветру он мгновенно ооченел, и зубы сами собой стали выщелкивать дробь. Его не переставало колотить, пока он растирался полотенцем и переодевался в сухое. А потом они сидели на коряге под защитой каменной гряды, и Вера грела его, прижимая к себе и тепло дыша в самое ухо.

Именно в те их первые дни Святослав Владимирович и заложил в огороде свой знаменитый шлюп. Он тщательно вытесывал килевую балку, строга! материал для шпангоутов, и свежая древесина так волнующе пахла осенним грибным лесом.

Уж кто-кто, а он умел работать красиво. Надо было видеть, с какой ловкостью и профессиональным изяществом Святослав Владимирович орудовал топором, пилой и ручной дрелью. Вера могла часами наблюдать, как он строга!ет, пилит и сверлит. Пройдетс! фуганком по тонкому сосновому бруску и, словно бы лаская, проведет по нему пальцами, будто это не дерево, а нежная, бархатистая кожа ребенка. А с какой прямо-таки хирургической точностью он работал стамеской! Ударит по обушку твердой сухой ладонью и выколет ровно столько, сколько нужно, и ни на миллиметр больше. И гвозди вбивал по-снайперски с сухим звуком пистолетного выстрела. Одним-двум! ударами вгонял их по самую шляпку. Да еще и приговаривал: «Вот, вот, самое тут и место тебе». Вера считала, и не без основания, что уж если и существует выражение «умные руки», то к мужу ее оно имеет самое прямое отношение.

Григорий Кириллович смотрел на затею со шлюпом снисходительно, но с пониманием. С вопросами не лез

и в дела Святослава Владимировича не вмешивался. Иногда спрашивал ненавязчиво: «Может, помочь чего?» Но, услышав заверения, что тот и сам справится, потирал шишковатую, стриженную машинкой голову, успокаивался и принимался за свои обычные дела.

В Якорном часто появлялись ученики Святослава Владимировича, и бывшие, уже успевшие окончить школу, и те, что еще продолжали учиться у него. Он притягивал их к себе. Им нравилась его комната в городе, похожая чем-то на старую штурманскую рубку, и скромное жилище в поселке с развернутыми на столе чертежами парусников, исписанными по краям формулами и колонками цифр, с запахом туши, с разбросанными инструментами настоящей рихтеровской готовальни. Нравилось его сосредоточенное лицо, похожее в профиль на барельеф североамериканского индейца — не хватало только головного убора из орлиных перьев, — нравилась и Вера Алексеевна, всегда ровная, доброжелательная и как бы разделяющая с ними интерес к занятиям мужа.

Однажды Надюшка, которая крутилась тут же, незаметно показывая пальчиком на огород, сказала тоном заговорщика:

— А у нас там корабль...

Ребята переглянулись.

— Ерунда, это колхозная фелюга, — небрежно махнул рукой Святослав Владимирович.

За десять лет, что они прожили вместе, Вера и впрямь не переставала удивляться ему. Не отступая ни на шаг, он неспешно продвигался к намеченной цели. Он неплохо выучил английский язык, хотя с произношением у него не очень-то ладилось, научился работать с радиотелеграфом, сумел раздобыть многие материалы для постройки яхты. Он буквально по граммам, по дробинкам собирал свинец. А нужно было его более трех тонн!

Веру смущал вопрос о разрешении, о визе, но он был уверен, что «потепление международного климата», как обычно писали в газетах, со временем упростит его задачу. Почему могут совершать плавание в одиночку англичане, французы, японцы и поляки? Разве россияне не утвердили за собой славу отличных мореходов? Короче говоря, он твердо уверовал, что своего добьется. Был бы шлюп... Он сумеет доказать, что риск в случае с ним сведен почти к нулю. И нет другого человека, который был бы подготовлен лучше, чем он.

Все шло своим чередом. Но однажды произошло событие, рядом с которым надолго померкло все остальное. Беда пришла внезапно, с той стороны, откуда ее меньше всего ждали.

Как-то зимой, когда Святослав Владимирович пришел с работы — Вера обычно задерживалась в школе со своими малышами, — Надюшка лежала на диване бледная, поджав к самому горлу худые коленки.

— Что с тобой, дочка? — спросил он, машинально трогая рукой ее лоб. — Что-нибудь болит?

— Вот здесь. — Она осторожно погладила школьный фартук на животе. — Меня отпустили с уроков...

— Здесь? — Он коснулся пальцами ее правого бока и заметил, как она вздрогнула и скривилась, очевидно, не столько от боли, сколько из-за страха, что он может причинить ей боль своим неосторожным прикосновением.

— Везде. И здесь тоже.

Святослав Владимирович, не одеваясь, побежал через улицу к соседке, детскому врачу, которая недавно вышла на пенсию.

— Вызывайте «Скорую», — сказала она, осмотрев девочку.

— Что-нибудь серьезное?

— Это приступ аппендицита. А что там и как, этого я не знаю.

«Неотложка» доставила Надю и Святослава Владимировича в клинику экстренной хирургии.

— Ты сможешь идти сама потихоньку? — спросила ее сестричка из приемного отделения.

— Да, — виновато улыбнулась она. Потом обернулась к отцу: — Ты не волнуйся, пожалуйста. Я сейчас вернусь.

— Посидите, пока ее осмотрит дежурный врач, — обратилась к нему сестра, поддерживая Надю под локоть. — Это недолго.

Святослав Владимирович рассеянно пробежал взглядом по цветным плакатам, на которых наглядно разъяснялось, как оказывать первую помощь при несчастных случаях, как защищать глаза от металлической стружки и беречь зубы. Ждать пришлось долго, больше получаса, и в конце концов из дверей вышла не Надя, а все та же сестра в сопровождении сумрачной, ко всему равно-

душной санитарки, которая несла узелок с Надиными вещами.

— Может быть, мне все-таки разрешат пройти к дочери? — сказал он, волнуясь. — Ведь она еще совсем ребенок, ей еще и двенадцати нет.

— Куда уж там... Не она первая, не она последняя, — решительно возразила санитарка.

— Врач сказал, чтобы вы пришли утром, — улыбнулась сестричка. — Тогда все будет ясно.

Святослав Владимирович растерянно пожал плечами. Такой настойчивый в своих занятиях, сейчас он растерялся, не сумел настоять на своем. «Вот Вера, та бы сумела», — подумал он, окончательно разозлившись на собственное бессилие.

В эту ночь они с Верой почти не спали. С утра оба позвонили на работу, предупредили, что опоздают, и к девяти часам были уже в больнице.

В приемном отделении дежурная долго перебирала какие-то карточки, потом звонила на третий этаж и наконец сказала:

— Вашей девочке операцию сделали еще вчера вечером.

— И она все время была одна? — с гневом и возмущением вырвалось у Веры.

— Не волнуйтесь. Девочка чувствует себя нормально. В вестибюле вам дадут халат и сможете пройти к ней по очереди.

Когда Святослав Владимирович поднялся по лестнице, Вера, накинув пальто, уже мчалась куда-то искать лимон для дочери. Он немного замешкался перед стеклянной дверью палаты, покрашенной белилами, и наконец, глубоко вздохнув, перешагнул порог.

Надя лежала на спине, бледная, почти голубая. При виде отца уголки ее губ дрогнули в ободряющей улыбке. Рядом с ней на стуле сидела незнакомая женщина в синем байковом халате. В руках она держала стакан и ложку, для чего-то обернутую бинтом.

— Ну как ты тут, подружка моя? — спросил он каким-то чужим, неестественно бодрым голосом.

— Надя у нас молодец, стойкая, — ответила незнакомка, — даже не застонала ни разу.

Она поднялась, уступая место Святославу Владимировичу. Он взял в ладонь горячую руку дочери, и сердце его мучительно сжалось от любви к этому маленькому мужественному человечку.

— Тебе очень больно? — тихо спросил он.

— Немножко. Можно терпеть. Ты только не беспокойся. И мама пусть... — Она улыбнулась слегка: — Мы ведь поплывем с тобой к тем островам? Правда, папа?..

На девятый день Надю должны были выписывать. Святослав Владимирович с Верой договорились поехать вместе к двум часам. До Вериной школы он мог дойти пешком за пятнадцать минут. А там рядом остановка такси.

Но в одиннадцать его вдруг вызвали с урока в кабинет завуча. На столе лежала телефонная трубка. Он машинально взял ее:

— Да, я слушаю.

— Святослав Владимирович, голубчик, — узнал он голос Вериной директрисы, — вам нужно немедленно подъехать. С Верой Алексеевной плохо. Мы тут бьемся над ней уже целых полчаса.

— Что, что случилось?! — крикнул он, холодея от волнения.

— Приедете — тогда... Мы вас ждем.

— Что случилось?!

Он еще не знал, в чем дело, но его уже начало бить, как в лихорадке.

На том конце провода он услышал далекие голоса, перешептывания, всхлипывания...

— Дело в том, голубчик... Не знаю, как и сказать вам. Дело в том, что Наденька умерла час тому назад.

Он не помнил, как бросил, а может быть, уронил трубку, как тупая тяжесть заполнила все его существо, как занемели кончики пальцев и испарина крупными каплями выступила на лбу и подбородке. В голове было пусто до звона — ни мыслей, ни чувств.

Потом он бежал к Вере, забыв одеться. По дороге кто-то догнал его и помог надеть пальто и шапку.

Вера лежала на клеенчатой кушетке в кабинете школьного врача. Она уже пришла в себя, но молчала. Широко открытые глаза остро смотрели в белый потолок. Когда в дверях появился Святослав Владимирович, все, теснясь, поспешили выйти из комнаты.

Он опустился рядом с Верой на колени, прижался лбом к ее груди и вдруг всхлипнул по-мальчишески отчаянно и горько.

— Этого не может быть, этого не может быть, — дважды отчетливо повторила она. — Тут какая-

то ошибка. Девочка совсем поправилась. Этого не может быть...

Увы, это была правда. Страшная в своей обнаженности, жестокая, единственная на свете правда. Ребенок умер от банального аппендицита, на девятый день после операции, когда температура была совершенно нормальной, когда девочка уже стала есть, пить, ходить, смеяться. Это было непостижимо, нелепо. Слова «легочная эмболия» и «редкий случай в таком возрасте» ничего ровным счетом не объясняли. Хотелось кого-то уличить, искать виноватого, но все вокруг только смущенно пожимали плечами.

У Святослава Владимировича больше не было его Нади, его Надежды. Как он любил это слово! Странное отупение долго не покидало его. Да что же это, в конце концов? Бред! Нелепый, бессмысленный бред! А может быть, все это ему только приснилось? О, если бы так... Но могут ли человеку сниться такие кошмарные и нелепые сны?

— Это «голос моря», — бормотал он. — Ее убил «голос моря»...

Окружающие смотрели на него с сочувствием, но ничего не могли понять.

Святослав Владимирович сник и постарел. Ему было только сорок лет, но виски его уже щедро высветила седина. Он больше не загорался, как спичка, при упоминании о Маскаренских островах, хотя негласно принятая им программа продолжала осуществляться как бы независимо от него, сама по себе. Это была великая сила инерции, когда маховик, раскручивавшийся годами, немислимо было остановить вот так, вдруг.

Его, казалось, уже ничем нельзя было потрясти. Даже смерть собственной матери, до встречи с Верой единственного близкого человека, он воспринял скорее философски, чем эмоционально. Жалко, больно, тяжело, но естественно, даже если допустить, что другим удастся прожить гораздо дольше.

Говорят, беда не ходит в одиночку. Вскоре тяжело заболел Григорий Кириллович. Он вымок на весельном баркасе, когда перед зимними штормами в колхозе убрали ставные невода. Его положили в больницу. Верничего не оставалось, как найти себе временную замену на работе и взять отпуск без содержания. За стариком нужно было ухаживать.

— Ты знаешь, может быть, даже не в этом дело, —

сказала она перед отъездом. — Просто мне не хочется, чтобы в такую минуту он чувствовал себя заброшенным и одиноким.

А Святослав Владимирович подумал и о том, что поездка эта может самой Вере принести больше пользы, чем больному старику. Естественный инстинкт женщины, матери, только теперь мог найти выход. Ведь за родной дочерью ей так и не пришлось ухаживать.

Однако Григория Кирилловича эта маленькая жертва не спасла. В семьдесят лет трудно бороться с недугами.

Его похоронили недалеко от поселка, под горой, на том же маленьком кладбище, заросшем ежевикой, иглицей и колючим держидеревом, где нашла свое последнее пристанище Верина мать и где весной так звонко и беззаботно пели птицы.

6

В эти дни Святославу Владимировичу начинало казаться, что судьба решила разом выплеснуть на него все беды, отмеренные человеку, пока он еще не вышел из этого спасительного состояния заторможенности, которое временно притупило все его чувства. Должна же когда-то кончиться полоса трагических потерь и невзрений. Разве не достаточно трех несчастий в течение одного года? Но ему предстояло пройти еще через одно испытание. Вскоре он заболел сам.

Началось с того, что у него без видимой причины стала мерзнуть и побаливать ступня левой, раненой ноги. Сначала он старался не обращать на это внимания. В меньшей степени такое случалось и прежде. Может быть, на погоду, думал он. Но Вера Алексеевна, узнав об этом, не на шутку встревожилась и заставила его показаться врачам. Хирург в районной поликлинике прописал какую-то мазь и согревающие компрессы, пообещав, что через неделю он сможет сдавать нормы на спортивный разряд по бегу.

Но нормы сдавать не пришлось. Временно притупившись, через месяц боль напомнила о себе с еще большей силой. Теперь она отдавала в голень. По ночам он не находил себе места. Уснуть без электрической грелки и анальгина было невозможно. Пришлось брать бюллетень.

Однажды, вернувшись с работы домой и отворив калитку, Вера Алексеевна озадаченно покачала головой. Весь мощный кирпичом тротуарчик от ворот до самого порога был уставлен обувью, словно перед входом в мечеть. Вера Алексеевна насчитала тридцать пар и сбилась. Несмотря на прохладную погоду — было только начало апреля, — посетители, боясь наследить, шли дальше в одних носках.

Выяснилось, что это шестиклассники пришли навесить своего учителя, невзирая на строжайший запрет директора школы. Святославу Владимировичу был предписан полный покой. В квартире, естественно, нельзя было протолкнуться. Те, кто вошел последним, так и застряли в дверях.

Святослав Владимирович развеселился даже:

— Это же, простите меня, как на выставке картин Дрезденской галереи, честное слово! Они не дадут умереть, даже если захочешь...

В конце месяца его положили в больницу. Ноющая боль, пронизывая все его существо, доводила до иступления. Кроме того, он отметил перемену в отношении врачей к себе. На обходе профессор подолгу разглядывал его ногу с почерневшим большим пальцем, мял икры и, диктуя очередную запись в историю болезни, пользовался настораживающими латинскими терминами.

Врачи пока что не говорили ему ничего определенного. Зато от соседей по палате можно было узнать немало любопытного. Некоторые из них так поднаторели в сосудистых заболеваниях, что приходилось удивляться, почему они до сих пор не начали лечить друг друга. В отделении по преимуществу царствовал один хирургический инструмент — пила, и у Святослава Владимировича было достаточно оснований опасаться за свое будущее.

Он лежал уже больше месяца. Устал от боли, от бесконечных уколов и вливаний, приносивших недолгое и незначительное облегчение, от постоянного беспокойства за жену, которой приходилось метаться между школой, домом и больницей. Он заметил — Вера выдохлась за последнее время. Ей казалось, что здесь недостаточно хорошо кормят. Она готовила дома и приносила обед в еще горячих судках, не подозревая, что еда уже давно не доставляет ему радости, и если он что-нибудь и ел, то скорее по необходимости, нежели из естественной для человека потребности в пище.

Среди соседей Святослава Владимировича особенно выделялся рыжий, как переспелый апельсин, парень, балагур и весельчак, страдающий язвенным колитом и по чистой случайности попавший в их палату. Из всех мировых проблем его по-настоящему волновала одна — счет в очередном футбольном матче. У него был маленький транзистор, и он, спрятав приемник под подушку, слушал по вечерам спортивные репортажи. Когда забивали гол, он подпрыгивал так, что стонала и всхлипывала кровать, таращил глаза, издавал нечленораздельные выкрики и хлопал в ладоши, не обращая ни на кого внимания. А поскольку спортивные передачи транслировались чуть ли не каждый день, житья от него не было.

— Слушай, чего ты мучаешься? — сказал он как-то Святославу Владимировичу. — Просись на операцию. Ты что, сам не видишь, чем все это пахнет? Пусть режут к чертовой матери. По крайней мере снова человеком будешь.

— Что режут? — похолодев, спросил Святослав Владимирович.

— Ногу, чего же еще? Твоя нога теперь и ломаного гроша не стоит. Это же сосу-у-уды, понимать надо. Ты учитель, проживешь и без ноги. Был бы футболистом — другое дело...

О чужой ноге парень рассуждал деловито и спокойно, как об изношенной детали какой-нибудь молотилки. Впрочем, и о своей собственной ноге этот человек говорил бы в том же тоне и с не меньшей решительностью.

— А разве врачи сами не знают, что и когда резать? — кривясь от боли, спросил Святослав Владимирович.

— Если б знали...

Вера Алексеевна заметила перемену в настроении мужа, хотя и не могла дознаться истинной причины. А он, щадя ее и не желая беспокоить без достаточных оснований, не говорил о своих опасениях. О предполагаемой ампутации ноги она узнала от врачей и тоже ничего не говорила ему, надеясь, что все еще может обойтись и гроза их минует. Так они таились друг от друга и, может быть, от самих себя.

«За что же на нас обрушилось все это? — думала Вера Алексеевна. — Человек жив, пока он счастлив.

Остальное — не жизнь. А можно ли быть счастливой после всего, что было, и теперь, когда видишь страдания любимого человека? Сколько же я была счастлива? Всего десять-двенадцать лет, пока жива была Надюшка, пока мы оба были молоды и здоровы. Детство не в счет. Его попросту не существовало. Были голод, холод, война. Неужели же человеческий век так короток?..»

Но чаще она думала не о себе, она думала о Святославе Владимировиче, о его несбывшихся мечтах, о заложенной, но непостроенной яхте, которой он так и не подыскал подходящего названия.

Но настал день, когда ему прямо сказали, что тянуть дальше нельзя, что необходимо ампутировать ногу выше колена, другого выхода нет. Он молчал, стиснув зубы, и видел, как Вера сквозь слезы ободряюще улыбается ему. Он не мог не оценить этого, но сейчас больше думал о том, что с ампутацией исчезнет боль, прекратятся страдания, которые полностью парализовали его волю и стремление к жизни.

Операцию делали под наркозом. Когда Святослав Владимировича привезли в палату и он впервые открыл глаза, то первое, что увидел сквозь замутненное сознание, было рыжее, как солнце, лицо его неунывающего соседа с язвенным колитом. Тот улыбался до ушей и, отставив большой палец, тыкал им в самый нос ему и почему-то кричал:

— Во-о! Вот так прошла операция. Я же говорил! Теперь все будет вот так...

Он явно не надеялся, что Святослав Владимирович его услышит. Но тот все слышал. Он уже понимал, что все позади и мосты сожжены. Боли сейчас не было. А главное — он не чувствовал, что у него нет ноги. Даже на секунду мелькнуло в сознании: а вдруг обошлось, вдруг передумали, пощадили, бывают же чудеса. Но он тут же отбросил эту нелепую мысль, потому что, несмотря ни на что, всегда оставался реалистом и хвататься за призрачный спасательный круг считал недостойным мужчины. Он слышал или, может быть, читал где-то, что люди с ампутированными ногами всегда начинают с того, что ощупывают пустое место под одеялом. Сейчас ему не хотелось быть похожим на остальных, и поэтому он лежал неподвижно, стараясь не думать о потерянной ноге, о боли, которая еще, возможно, придет хотя бы ненадолго.

Потом был вечер. Вера сидела рядом, не зажигая света, и молча гладила его руку. Ей показалось, будто он хочет что-то сказать, и она наклонилась к нему.

— Я люблю тебя, — почти беззвучно, одними губами проговорил он. — Я люблю тебя, Вера.

Она явственно ощутила, как теплая волна прилила к ее щекам, и слезы, добрые слезы любви и благодарности к мужу скрыли от нее родное и в то же время незнакомое лицо.

Через два дня она принесла ему «Этюды оптимизма» Мечникова.

— Почитай, милый. Это, по-моему, именно то, что тебе сейчас нужно.

Он взял книгу без особого интереса, так, лишь бы сделать ей приятное, потому что читать сейчас ему хотелось меньше всего. Но постепенно, листая страницу за страницей, он увлекся, находя там мысли, созвучные его настроению. Вера попала в цель: суровая правда была для него лучше всякого утешения. Он удивился тому, что многие наблюдения автора и ему в свое время приходили на ум, но как-то не задерживались в памяти, потому что тогда это мало касалось его.

И он когда-то отмечал про себя такое удивительное явление, своеобразный парадокс: пессимизм свойствен молодым людям, едва вступающим в жизнь, значительно чаще, чем старикам. И напротив, неприятие смерти, жажда жизни в пожилом возрасте развиты гораздо острее, видимо, потому, что на склоне лет человек успевает накопить опыт, познать истинную цену жизни, чего не скажешь о неоперившемся птенце, полном неуверенности, сомнений и скептицизма.

В этот день у него было много посетителей: коллеги по школе, старшеклассники, ребята из его седьмого класса, и Святослав Владимирович устал.

Соседи по палате принесли в рукаве зажженную сигарету, и он впервые после операции несколько раз затянулся. Потом они проветрили комнату, задернули штору, чтобы солнце не било в глаза, и вышли в коридор.

Он лежал на спине, усталый, растроганный вниманием друзей, без боли, не ощущая ничего, кроме легкости в теле. На улице был яркий день начала мая, и он рождал в душе Святослава Владимировича какое-то просветленное состояние. «Что это, — думал он, — оптимизм обреченного или предчувствие жизни?»

— Может быть, я еще и поплыву когда-нибудь, — шепнул он вечером Вере. Сказал в шутку, а сам пристально всматривался в ее лицо, пытаясь уловить по выражению глаз, по невольному движению губ ее истинное отношение к этим безумным мыслям.

И он был вознагражден за свое доверие к ней, потому что не смог заметить и следов сомнения в ее взгляде.

— Я знаю, это тебя не удержит, — серьезно ответила она. — Ты всегда был настоящим мужчиной.

Он молча теребил край пододеяльника, глядя в одну точку.

— О чем ты задумался? — минуту спустя спросила она. — Тебя что-нибудь беспокоит?

— Эта кровля над стапелем... Там все сделано хлипко. Хороший ветер — и от рубероида останутся одни клочья. Сырость и солнце — нет ничего хуже. Они способны погубить все дело...

«Боже мой, — пронеслось у нее в сознании, — как он может сейчас думать об этом?»

— Все будет славно, милый, вот увидишь.

— А что, ты помнишь одноногого капитана Ахава у Мелвилла? — внезапно оживился он. — Ты помнишь, с каким упорством он преследовал белого кита по всем океанам мира?

— К сожалению, я не читала «Моби Дика». Но этот твой капитан, наверное, никогда не терял из виду своей цели. Может быть, это и есть самое главное?

— Может быть, может быть. Во всяком случае, со мной что-то произошло, словно я сбросил с себя невероятно тяжелый груз. Это как искупление грехов, как очищение. Есть такое греческое слово — катарсис. Именно это оно и означает. Если мне не изменяет память, буквально это слово переводится как омовение. Омовение... — задумчиво повторил он. — Любопытно чем? Слезами? Кровью?

— Да-да, милый, это именно так. Катарсис, кажется, так ты сказал? Пусть это поможет тебе, вселит надежду. И ты поплывешь к своим островам...

— Как там у Лонгфелло?

...К Островам Блаженных — в царство
Бесконечной, вечной жизни!

— Ну-ну, не сердись, я ведь пошутил. Смешно, — усмехнулся он. — Маврикий, Реюньон, Родригес — все-

го три острова. Самый большой — семьдесят пять километров в длину, а в ширину и того меньше. Почему меня так тянет туда? Может быть, это попытка совершить путешествие не к Маскаренским островам, а, как теперь говорят, в страну далекого детства?

— Ты знаешь, — сказала Вера Алексеевна, — помоему, сейчас как раз тот несчастный случай, когда все эти самоанализы ни к чему. Ты просто живи, как подсказывает тебе сердце.

7

Святославу Владимировичу дали на год инвалидность, и в конце мая они с женой уехали в Якорный, поселившись в пустующем доме. Ходить на костылях он научился довольно быстро, говорить же сейчас о протезе было рановато. Теперь его стол снова был завален книгами и чертежами, а пепельница не вмещала окурков.

В последние годы все больше людей рисковало пускаться в одиночку на небольших парусных суденышках, откровенно бросая вызов то ли величию мирового океана, то ли скучной благоустроенности современного быта. Специальные журналы печатали технические данные, а иногда и чертежи этих парусников, разбирая недостатки и сильные стороны их конструкций. Святослав Владимирович отлично знал, что мореходные качества яхты, ее остойчивость, ходкость и поворотливость находятся в строгой зависимости между собой. При желании у любой яхты одно качество можно было изменить за счет другого. Все это открывало простор для творчества.

Вообще же его интересовало все, что было связано с морем. В те дни он много читал и размышлял над прочитанным. Видимо, так уж устроен человек, что всякая неразгаданная тайна, а тем более окруженная романтическим ореолом, приковывает к себе внимание. Особенно в наши дни.

А в море нередко происходят вещи, которым до сих пор не дано сколько-нибудь серьезного объяснения. Одна из неразгаданных тайн океана — бесследное исчезновение экипажей вполне исправных судов в таких районах, где не отмечалось никаких штормов. Подобная участь постигла команды трехсоттонного парусника «Сибёрд», британского трехмачтового корабля

«Дэмфришайр», американского брига «Мэри Сэлист», немецкого барка «Фрейя» и многих других. Ни одно из них не было хоть сколько-нибудь повреждено. И в пятьдесят пятом году в Тихом океане встретили брошенный экипажем пароход «Джайта». Спасательные средства остались нетронутыми, о судьбе моряков и поныне ничего не известно.

Все эти случаи давно уже причислены к разряду хрестоматийных. А вот о странной гибели моряков-одиночек известно немного. Непостижимым образом исчезли со своих яхт участники все той же «гонки столетия» Дональд Кроухерст и направлявшийся в одиночку на «Вагебоне» из Англии в Австралию Питер Уоллин. В те дни в Атлантике у 35-й параллели всего за полмесяца было замечено пять парусников с бесследно исчезнувшими обитателями. Годом позже две покинутые яхты нашли в районе Азорских островов. На их борту были запасы продовольствия, пресная вода. И опять никаких следов борьбы, грабежа или аварии.

Сколько их, этих призраков моря, начиная с пресловутого «Летучего голландца» и кончая мертвым пароходом «Дэнмор», уже успевшим превратиться в легенду, до сих пор бороздят воды океанов, послушные ветрам и течениям? Здесь было над чем поломать голову...

Однажды Вера Алексеевна пришла домой немного взволнованная.

— Ты знаешь, — сказала она прямо с порога, — у меня две любопытные новости для тебя. Во-первых, директор здешней начальной школы предлагает мне место.

— А во-вторых? — спросил Святослав Владимирович, откладывая в сторону карандаш.

— Ты недоволен? — Она подошла к нему и, откинув назад его голову, заглянула в глаза.

— Отчего же. Просто все это слишком неожиданно. Раз ты надумала прочно устраиваться здесь, значит, считаешь, что вернуться на работу мне уже, как говорится, не светит. Так надо понимать?

— Ну что ты, милый, что ты... — Вера прижалась щекой к его лбу. — Просто мне хочется помочь тебе довести дело со шлюпом до конца. Я вот сегодня узнала (кстати, это вторая новость), что здесь собираются резать на металлолом старый сейнер. Там кое-чем можно разжиться. Я уже успела посмотреть. Иллюминатора-

ми, например. Они прямо как новенькие. Сантиметров двадцать пять в диаметре. Как раз что надо. Говорила с Шумейко, ты должен помнить его. Он теперь за главного инженера в колхозе. Мне показалось, он сочувствует нам. Он даже сказал, что может устроить для тебя новый якорь или даже два. По-моему, верпом называется. Есть такой, я не перепутала?

— Есть, мой дорогой корабел. Им пользуются для стаскивания судов с мели. Но нам он будет в самый раз. Хотя бы потому, что якорь этот вдвое легче стопанкера, не говоря уже о главном якоре, которому подавай машину. Голыми руками его не возьмешь. А тебе этот Шумейко не сказал, между прочим, — усмехнулся он, — что якорь — это символ разбитых надежд?

— Не думала я, что и ты когда-нибудь скиснешь, — с горечью вырвалось у нее.

— Отнюдь. Я просто упражняюсь в остроумии.

— А помнишь, ты говорил: человек, отказавшийся от своей мечты, отказывается от самого себя?

— Действительно говорил, хотя это и не мои слова. А в общем все справедливо: пока волчок вертится, он не падает.

— К сожалению, это все, что я могла сделать, — подвела итог Вера Алексеевна. Она отодвинула в сторону чертежи (до чего же хорошо она знала их!) и присела напротив, подперев рукой щеку.

— Прости меня, — сказал он смущенно. — Ты действительно великая женщина. Мне никогда не следует этого забывать. Я уверен, что нашу яхту ты представляешь себе не хуже меня по одним только чертежам.

— Еще бы! — засмеялась она. — Между прочим, мне кажется, что давно пора уже придумать для нее подходящее название.

Он серьезно посмотрел ей в глаза и опустил голову. Вера заметила, как на его худой руке с набрякшими венами, которая покоилась на столе, резко напряглись пальцы и медленно сжались в кулак.

— Видишь ли, — проговорил он, слегка покусывая нижнюю губу, — название для нашей яхты уже давно есть.

— И ты до сих пор молчал? — Она взъерошила его прямые длинные волосы.

— Видишь ли... это не так просто. Я не хотел... Ты все поймешь. Она будет называться «Надежда».

Вера Алексеевна зябко передернула плечами.

— Это ты славно придумал, — сказала она, слегка бледнея. — Очень славно.

Все, что он скажет, она знала заранее, и тем не менее слова мужа глубоко взволновали ее.

А в конце лета произошло событие, которое оставило след в душе Святослава Владимировича. К нему в гости заехал его ученик Сережа Русев, окончивший десятый класс года три тому назад. Сейчас он дослуживал действительную на одном из вспомогательных судов Военно-Морского Флота. Корабль, переоборудованный из коммерческого сухогруза, недавно вернулся из большого похода, и теперь его поставили в док на ремонт, а Сережке дали двухнедельный отпуск.

Он сидел напротив своего учителя, бронзоволицый, с крепкой, почерневшей от загара шеей. Раздавшиеся плечи так и распирали синюю фланелевую форменку с эмблемой электрика на рукаве.

— Много повидал, наверно? — похлопывая парня по плечу, сказал Святослав Владимирович. — Небось исходил полсвета, а?

— Да приходилось, — явно смущаясь, неопределенно отвечал Сережка. Ему трудно было отвести взгляд от костылей, прислоненных к столу, хотя он и делал над собой усилие. — Вот недавно вернулись из Индийского океана. Заходили на Маврикий, брали пресную воду в Порт-Луи.

Святослав Владимирович так и подался вперед всем телом, и губы раздвинулись сами собой, и рот приоткрылся в напряженном внимании. Перед ним был первый знакомый человек, побывавший на Маскаренах. Даже Вера Алексеевна, возившаяся на кухне, появилась на пороге, взволнованная услышанным.

— Ну и как? — выдохнул наконец Святослав Владимирович. — Рассказывай, что ты там видел!

Сережа достал из кармана свернутый в несколько раз изрядно потертый газетный лист.

— Это вам на память, — сказал он небрежно, буквально вспотев от гордости и сознания собственного великодушия, — тамошняя газета. Вот видите, наши ребята на фотографии, вот это я в темных очках, а это... Вы что, не узнаете?

Святослав Владимирович разглядывал молодую на вид женщину в окружении наших военных моряков. Она была довольно привлекательна, хотя лицо ее и показалось ему несколько более широким в скулах, чем следовало. Разделенные на прямой пробор и подобранные на затылке густые темные волосы, ямочка на подбородке, белозубая улыбка, целая гирлянда из тонких, видимо, недорогих бус на смуглой шее и легкая открытая блузка, полы которой были завязаны толстым узлом под грудью. Что-то неуловимо знакомое почудилось ему в ее облике. Но кто она, где он мог ее видеть?

— Так и не узнали? — улыбнулся Сережка с некоторым оттенком снисходительности.

— Черт его знает, — неуверенно протянул учитель. — Вроде бы где-то и видел...

— А вы повнимательнее, Святослав Владимирович, ну же, — подбадривал его гость. — Эх вы! Это же Брижит Бардо!

— Вон оно что, — поднял брови учитель. — Выходит, и ты приобщился к европейской цивилизации. Поздравляю, брат, поздравляю!

Сережка сбегал на терраску, где оставил свою бескозырку, и вынес оттуда нечто изящное, матово-белое, затейливо-резное, в чем хозяин без труда узнал великолепный сросток кораллов, целый маленький куст. Когда Сергей пощелкал по нему ногтем, он издал глуховатый фаянсовый звон.

— Это тоже вам, — сказал он уже совсем просто, — на память об Индийском океане.

— Ну, брат, вот за это спасибо!

— Там у пирсов ими торгуют туземные пацаны, такие смешные, цвета жареного кофе, только зубы и белки глаз сверкают. — Он чувствовал, что наконец-то угодил учителю, и от этого ему стало легко и весело.

— Скажи, Сережка, только честно, как на духу, — наклонился к нему Святослав Владимирович, — тебе там очень понравилось? Это действительно прекрасные острова?

— Это надо видеть... Чайные плантации, как стада зеленых овец на склонах. — Ему так понравилось это сравнение, что он слегка покраснел от удовольствия.

— Зеленых? — улыбнулся Святослав Владимирович.

— Ну да. А гигантские морские черепахи, — он

оглядел комнату, — величиной, ну вот с этот стол, честное слово! Может, даже и больше.

— Говорите, говорите, Сережа, — кивнула ему Вера Алексеевна. — И Святославу Владимировичу, и мне это действительно интересно.

Но парень и сам видел, как пристрастно ловил каждое слово учитель, и это окончательно подхлестнуло его.

— Прекрасная земля! — добавил он. — Если бы мне сказали, что там могут умирать люди, я бы, наверное, никогда не поверил...

...В принципе можно было бы считать, что жизнь Святослава Владимировича складывалась после операции неплохо, или «по восходящей», как говорил он сам, если бы не опасение за вторую ногу. По словам врачей, ампутация не избавляла его от болезни, а лишь ликвидировала опасный болевой очаг, угрожавший жизни. Поэтому естественно, что он, хотя и не был по природе мнительным человеком, не мог не прислушиваться ко всякому покалыванию в голени, к случайной судороге, к усталости мышц, не думать, что вот это, наверное, оно и есть и нечто похожее было уже когда-то с его левой ногой. Но проходило время, тревога оказывалась напрасной, и он вздыхал с облегчением до очередного приступа сомнения и подозрительности к самому себе.

Но однажды, примерно месяцев через десять после того, как они с Верой поселились в Якорном, он почувствовал настоящую «ту самую» боль в теперь уже единственной правой ноге. У него даже пот выступил на лбу. Не от боли, от ужаса.

Где-то в глубине души он надеялся, что боль больше не повторится. Но она повторилась, хотя и не в такой степени. Однако для него теперь и этого было достаточно, чтобы окончательно решить для себя: скрывать дальше нельзя, надо что-то предпринимать, и немедленно.

Правда, Вере он не сказал о приступах боли, просто сделал вид, что хочет проконсультироваться у специалистов, тем более что еще накануне Нового года один из его бывших учеников, Роман Анохин, прислал письмо из Москвы, в котором вместе с поздравлением приглашал его к себе в клинику хирургии сосудов. С позапрошлого года он работал там ассистентом. Клиника была новая, и сразу же после защиты кандидатской

диссертации его взяли туда как подающего надежды специалиста. Роман сожалел о том, что поздно узнал о болезни Святослава Владимировича.

«Хирургия сосудов — наука молодая, — писал он, — но кто знает, может быть, именно ей принадлежит большое будущее. Во всяком случае, все самые значительные силы в этой области сосредоточены у нас, и, по-пади вы к нам раньше, возможно, исход оказался бы более благоприятным».

8

Святославу Владимировичу повезло: пятнадцать его бывших учеников теперь работали в Москве. Через одного из них, занимавшего довольно ответственный пост в нефтяном главке, ему удалось забронировать номер в гостинице «Пекин» на площади Маяковского. Гостиница устраивала его главным образом из-за своего расположения. Станция метро, остановка троллейбуса, такси — все под боком.

Номер оказался слишком большим, с высокими лепными потолками, громоздкой и не очень удобной мебелью и двумя кроватями, упрятыми в подобие алькова, отгороженного зеленой портьерой от остального помещения. Огромное окно выходило на Садовое кольцо, где подземный туннель пересекает улицу Горького, и от гула вырывающихся оттуда машин в окнах всю ночь дребезжали стекла.

Святослав Владимирович и Вера Алексеевна не успели расположиться и разобрать вещи, как затрещал телефон. Звонил Миша Башкирцев, теперь уже капитан второго ранга, работающий в Министерстве обороны. Миша предупреждал, что завтра вечером все ребята, «весь наш клан», так он сказал, нанесут им неофициальный дружеский визит. Приходилось поражаться, как четко у них поставлена служба оповещения.

— Крепитесь и будьте фаталистами, — посоветовал он.

На другой день удивленные горничные и дежурная были свидетелями невиданного паломничества в номер на втором этаже. Еще с обеда Колька Крутилин, подчеркнуто грубоватый, хотя все великолепно знали, что за этой грубостью скрывается одинокий и легко ранимый человек, договорился внизу о банкетном зале. Делалось это втайне от Святослава Владимировича и его

жены. Колька был тем цементирующим составом, который из разрозненных блоков мог создавать единое монолитное сооружение.

Когда вечером один за другим бывшие ученики стали стекаться в номер Святослава Владимировича, в просторной комнате сразу стало тесно. Многие приходили с цветами для Веры Алексеевны, целовали ей руку. В вестибюле и в лифте это были еще солидные, степенные люди, но здесь ребята быстро преображались.

Колька Крутилин громогласно объявлял о прибытии гостей.

— Марат Бахрамов! Подпольная кличка Машка. Ныне заведующий проблемной лабораторией глубинного бурения. Коллектив под его руководством работает под девизом — задерем мантию! Земли, разумеется...

Едва успевал утихнуть шум взаимных приветствий, как от дверей снова слышалось:

— Леонид Старцев по прозвищу Аристотель. С женой Ириной. Оба работают в ящике. Сыграли в ящик шесть лет тому назад...

Весь стол был завален цветами и сувенирами. Среди прочего на столе Святослава Владимировича лежала долгоиграющая пластинка с автографом певца Рафаэля Багирова — мужа Симочки Овчаренко. На пластинке Рафаэль написал: «Святославу Владимировичу с искренним сожалением, что не удостоился чести быть его учеником».

У Кольки Крутилина ничего не оказалось, чтобы оставить на память. Весь день он был в бегах, организуя банкет. Только случайно, как он сказал, в кармане пальто обнаружил тюбик «Поморина». Не задумываясь, он тут же написал на нем: «Моему любимому учителю. Почистить зубы, когда исполнится 75 лет».

Это вызвало дружный смех. Святослав Владимирович так и не понял, чем, собственно говоря, он вызван.

— Эх, Святослав Владимирович, вы все на свете забыли, — вытирая кулаком слезы, заметил Володя Саенко. — Разве не помните, как он слопал на спор вашу зубную пасту, когда мы были в шлюпочном походе и во время шторма отсиживались там, на косе. Тогда ведь мы подъели все подчистую...

Потом был стол с невероятным количеством экзотических китайских блюд и вполне русских горячительных напитков. Помянули друзей, которые не дожили до это-

го дня. Был среди них один геолог, летчик и даже инженер парфюмерной фабрики.

И были тосты. Вера Алексеевна, человек крепкий, все же не выдержала и заплакала от благодарности к этим ребятам и от гордости за мужа.

— Дайте слово Вадиму Покровскому, — кричал Козлов, — он всегда любил говорить красиво!

— От слова я не отказываюсь и, кстати, хочу напомнить кое-кому, что говорить красиво — это все-таки лучше, чем не уметь говорить совсем. Я действительно приготовил тут маленький тост, если хотите, обращение. — И Вадим поправил привычным движением очки в толстой оправе. — Дорогой Святослав Владимирович, мы собрались здесь еще и для того, чтобы отчитаться перед вами за те годы, что прожили без школы, без учителей, без вас. Один из ваших учеников бурит самую глубокую скважину в мире, двое причастны к тому, что в небо уходят космические корабли, мы охраняем покой Родины, испытываем самолеты и лечим людей. Мы кое-чего достигли, конечно. Но клянусь вам, что это не только наша заслуга. Не отмахивайтесь и не хмурьте брови. Вы воспитали нас романтиками, и мы гордимся этим. Вашу окрыленность и страсть к движению мы принесли с собой в науку, в работу и в жизнь. Это и объясняет, наверное, почему мы именно такие, как есть, и почему мы не можем расстаться друг с другом.

— Послушайте, я протестую! — возвысил голос Святослав Владимирович. — Сегодня не мой юбилей и тем более не мои похороны. К чему все эти высокие слова? И потом я совсем не уверен, что был приличным учителем.

— Не мешайте говорить, вам дадут слово!

— Чудаки, я просто зарабатывал на хлеб. У меня были другие цели.

— Пусть все зарабатывают его так же, как зарабатывали вы. И на земле будет полный порядок. Подумайте, скольких людей вы осыпали золотыми искрами добра и разума, тех непреходящих ценностей, к которым так склонна душа человеческая.

В конце вечера, когда ресторан уже закрывался, к Святославу Владимировичу подошли четверо ребят: Миша Башкирцев, Сергей Трофимов, приехавший из Ленинграда, где после окончания кораблестроительного института работал на Балтийском заводе, Виктор Дементьев — штурман гражданской авиации, и Володя

Саенко, занимавший видное положение в Центральном комитете ДОСААФ.

— Тут мальчики стесняются признаться вам кое в чем, — сказал Миша. Он был неотразим в своей морской форме капитана второго ранга, невысокий, с аккуратной русой бородкой. — Дельце уж больно деликатное.

— Ну что ж, выкладывайте.

— Если разрешите, мы на минутку зайдем к вам в номер, когда все закончится, — сказал Сережа. — Вопрос, как говорится, сугубо конфиденциальный.

— Отчего же, милости просим. Можно было бы и без такого пространного вступления.

Прощались в вестибюле долго и шумно. С Романом Святослав Владимирович договорился созвониться на следующий вечер.

С тяжелым сердцем наблюдали ребята, как их бывший учитель уходил от них, опираясь на новенькие костыли, ссутулившись больше обычного, в своем строгом темном костюме, сшитом не по последней моде. Когда дверь лифта закрылась за ним и теми, кто шел провожать его, все почему-то перевели вопрошающий взгляд на Романа Анохина...

По дороге Вера Алексеевна просила:

— Через пять дней мне уезжать. Меня ведь отпустили только на весенние каникулы. Поселок не город, заменить меня некем. Так что вы уж тут не забывайте Святослава Владимировича, когда его положат в больницу.

— О чем вы, Вера Алексеевна? — улыбнулся Саенко.

Стараясь не шуметь, они прошли по длинному коридору. Ковровая дорожка глушила стук костылей.

— Вы догадываетесь, наверное, — начал Сергей, когда они вошли в номер, — что ваша голубая мечта о плавании в одиночку через океан никогда не была для нас секретом, хотя вы и прикладывали к тому немалые усилия.

Святослав Владимирович сделал рукой неопределенный жест, который мог означать и смущение и растерянность, и шумно сел на жесткий плюшевый диван с прямой спинкой.

— Если быть до конца точным, — заговорил он медленно, с трудом подбирая слова, — то никакой тайны из этого я не делал, хотя и не спешил с рекламой —

боялся показаться смешным. И плыть через океан никто и не думал. Я ставил перед собой более скромную цель. Она ограничивалась Маврикием в группе Маскаренских островов.

— Скромненько, но со вкусом, — не удержался от ехидного замечания Володька Саенко, задним числом задетый за живое скрытностью своего учителя.

— Меня это устраивало, — серьезно ответил Святослав Владимирович. — Но поскольку я знаю вас как облупленных, то превосходно вижу, что начали вы совсем не с того, и все это, так сказать, преамбула. Поэтому не крутитесь, как караси на сковороде, и выкладывайте нам с Верой Алексеевной все начистоту.

Миша засмеялся, а Саенко потупил взгляд в притворном смущении. Продолжать пришлось Виктору Деметьеву.

— Святослав Владимирович, только честно, как в прежние годы. — Он и раньше не терялся, разговаривая с учителями, а теперь, когда за плечами были годы работы в полярной авиации, и посадки на льдины, и многое другое, говорить ему было проще. — Вы наш учитель, вы создали нас по своему образу и подобию, поэтому пусть разговор этот не покажется вам странным или неожиданным.

— Короче, — нетерпеливо бросил Трофимов.

— Мы тут тоже затеяли нечто подобное...

— Что именно? — встрепнулся Святослав Владимирович.

— Мы решили совершить переход, правда не в одиночку, а вдвоем на своей яхте, маленьком тендере, из Новороссийска во Владивосток.

— Кстати, с заходом на Маскарены, — как-то неестественно заторопился Саенко. — Вы понимаете, почему мы не идем прямо в Коломбо? Такой маршрут длиннее, зато у нас есть возможность использовать узкую полосу Экваториального противотечения...

— Что же, это серьезно. — Святослав Владимирович застучал по столу длинным согнутым пальцем. В наступившей тишине этот стук звучал прерывисто и однообразно, как радиосигнал о бедствии. — Это действительно очень серьезно, — повторил он и потянулся за сигаретой.

— Но мы не хотели бы, мы не имели в виду составлять вам конкуренцию.

— Ну и дураки вы все-таки, — покачал головой

Святослав Владимирович. — Какие же вы дураки! О какой конкуренции может идти речь? Я не Нансен, вы не Амундсены. Никто не помышлял о рекордах, тем более что они уже давно поставлены. Я даже не знаю, что это у меня. Может быть, желание выполнить долг перед самим собой, а может быть, что-то еще... Но при чем же тут конкуренция? Я просто рад за вас, вот и все. Чертовски рад!

— Странные вы, мальчики, честное слово, — печально улыбнулась Вера Алексеевна. — Значит, вы так до сих пор и не знали по-настоящему своего учителя?

— Нам нужна ваша помощь, — признался Трофимов.

— Им действительно нужна помощь, — подтвердил Миша Башкирцев. — Это я заявляю, так сказать, официально как профессиональный моряк. Именно ваша помощь, Святослав Владимирович.

— Ну что же, раскрывайте карты до конца.

Морщинки на лбу учителя разгладились, глаза молодого заблестели, как когда-то на уроках физической географии, когда он рассказывал о тропических муссонах и коралловых атоллах южных морей.

— Экипаж три человека, — сказал Володя Саенко, для чего-то вытаскивая из внутреннего кармана пиджака авторучку. — Сергей — капитан, Витька — штурман, в конце концов, это его профессия, ну а я все остальное.

Вера Алексеевна рассмеялась.

— Нас поддерживают в ЦК комсомола и в ДОСААФ. Формальности не отнимут много времени. Мы пойдем под флагом молодежной газеты, а это говорит само за себя. Сережкин завод пообещал шефскую помощь во время строительства.

— А средства? — сухо, по-деловому спросил Святослав Владимирович.

— Самый богатый из нас Виктор, он ведь восемь лет летал в Арктике. Сережка тоже сумел за эти годы сбить капиталец. Один я наг и бос, зато у меня есть машина, правда, не первой свежести, которую я бросаю на жертвенный камень. Так что денег мы наскребем.

— Где будете строить? В Ленинграде у Сергея?

— В Новороссийске, — ответил Саенко. — Сейчас там мои старики. Мы надеемся построить яхту за шесть месяцев.

— Полгода?.. Времени маловато, даже если учесть ваши обширные связи и возможности.

— У нас у всех неиспользованные отпуска за прошлый год, и, кроме того, нас обещают отпустить без содержания по такому поводу. Летом ребята приедут помогут. Вот и Миша обещает в отпуск. Мы ведь почти все прошли через вашу школу, особенно Сережка. Но, видимо, придется еще и рабочих нанимать со шлюпочной верфи.

— Сейчас все упирается в проект и смету, — вставил Сергей. — Хотя я сам и кораблестроитель, но помощь ваша, совет ваш нам просто необходимы. У вас опыт, так сказать, в поиске оптимального варианта.

— Ну хорошо, — усмехнулся Святослав Владимирович, — а почему все-таки тендер? Почему не кэч, не иол, не шлюп, наконец?

— Нужна площадь парусности, нужен ход, — сказал Трофимов.

— Сложная оснастка не прибавит и узла в скорости. Зато у вас получаются два лишних паруса. Зачем это вам? Чтобы создать себе лишнюю работу, когда времени и без того в обрез, или чтобы усложнить управление яхтой?

— Вот об этом мы и хотели поговорить.

— Я строю шлюп, — сказал Святослав Владимирович. — Там все просто. Вооружение гафельное, удобное и в управлении и в ремонте. За основу я взял оснастку яхты «Курун» француза Жак-Ива ле Тумелена. Только вместо тридцати восьми метров площади грота я оставил тридцать четыре, укоротив мачту. Это должно улучшить остойчивость и помочь точнее выдерживать курс при закрепленном руле. Кливер большой, около пятнадцати метров, и почти такой же стаксель. Без малого шестьдесят пять квадратов при одной мачте и трех парусах — это не так уж плохо.

— А поплавков? — спросил Сергей.

— Из толстой водостойкой фанеры. Длина десять с хвостиком. В фальшкиле три тонны свинца. Конструкцию я вымучил сам, хотя что-то в ней есть и от знаменитого «Спрея» и что-то от «Грейт Вестерна». Только те, разумеется, поменьше. Яхту я назвал «Надеждой», теперь, к сожалению, не осуществившейся...

— Напрасно вы так, — серьезно сказал Миша. — Вспомните беспального моряка Блекберна. Ни одного пальца на обсах руках и фактически без одной ступни.

А человек дважды пересек Атлантику. Если же говорить о возрасте, то до Уильяма Уиллиса вам надо еще пыхтеть двадцать три года, а до сэра Фрэнсиса Чичестера — восемнадцать. Как видите, мы тоже кое-что смыслим в статистике. Вот наладится со здоровьем, и вы еще скажете свое слово.

— Спасибо за доверие, — поднял на него повеселевшие и чуточку насмешливые глаза Святослав Владимирович. — А может быть, ребята, вы возьмете мой готовый набор? Это сократит вам уйму времени.

— Прошу прощения, за кого вы нас принимаете? — сказал Сергей. — Это ваша «Надежда», и в море на ней можете выйти только вы. Мы, конечно, могли бы вас взять с собой на любых условиях, на любую должность, но Роман сказал, что в ближайшие год-полтора вам это категорически противопоказано.

— Он так и сказал — год-полтора? — поднял брови учитель.

— Он сказал: все покажет обследование.

— А я сочинил новую схему автопилота, — вздохнул Святослав Владимирович. — Простой и дешевый тип флюгерного устройства.

— Мы будем работать так близко от вас, что наверняка успеем надоесть.

— Надоесть? Я надеюсь, вы это не серьезно, — сказала Вера Алексеевна. — Бывает так славно, когда кто-нибудь навещает нас.

— Об этом мы предоставим судить вам, дорогая Вера Алексеевна. Не сейчас, в конце срока.

— Ну хорошо, а как обстоят дела с лощиями? — спросил Святослав Владимирович, аккуратно стряхивая пепел с сигареты в пустой спичечный коробок.

— Это еще предстоит, — ответил Сергей.

— А что лощии? — пожал плечами Виктор. — У нас карты, приборы...

— Это несерьезно, — покачал головой учитель, — тем более, когда слышишь такие слова от профессионального штурмана. Море не небо, дорогой Витя, и корабли не ходят одновременно в нескольких эшелонах. Моряки живут только в двух измерениях. В этом их основное отличие от авиаторов. Ну что вам известно, например, о Босфоре?

— Ну ширина, ну длина, ну пропускная способность... Есть специальные справочники. Как есть табли-

цы магнитного и солнечного склонения, чтоб не держать это все в памяти.

— А вам известно, что в этом проливе существуют особые правила судоходства, что там, говоря сухопутным языком, принято левостороннее движение?

К словам Святослава Владимировича Виктор проявил заметный интерес:

— Это почему же?

— Все просто: суда, идущие из Черного моря в Средиземное, должны прижиматься к азиатскому берегу, чтобы попасть в струю мощного попутного течения, а встречные, наоборот, вынуждены искать защиты от него у крутых мысов Европы. Как видите, все очень логично.

— Это шутки, конечно, — махнул рукой Трофимов. — Лоции мы изучать будем. От них никуда не денешься.

— То-то. Ведь даже тут, рядом, на подходе к Босфору, можно влипнуть в историю. Там самая настоящая ловушка. Северо-западнее входа в пролив существует другой, ложный, который нередко сбивает с толку таких вот самоуверенных штурманов. А это уже приводило к кораблекрушениям. Так что читайте лоции. В этих книгах много суровой поэзии. И все в них правда.

Когда ребята ушли, договорившись о следующей встрече, Святослав Владимирович сказал, обращаясь к жене:

— Грустная картина. Вот так, оказывается, из практиков люди становятся теоретиками. Экспертами, так сказать...

9

В клинике у Романа Святослав Владимирович пролежал полторы недели. Его замучили всевозможными исследованиями. В конце концов Роман сказал:

— Подведем итоги. Ничего угрожающего пока нет. Это не только мое мнение, но и ведущих специалистов. Во всем этом деле меня как врача не устраивает только одно слово — пока. Нужна гарантия, которую сейчас, к сожалению, мы дать не можем.

— Что же делать?

— Мы договоримся так: лето вы отдыхаете, набираетесь сил, а осенью мы обследуем вас повторно. Посмотрим динамику. Если наметится хоть малейшее ухудшение, будем принимать чрезвычайные меры.

— Операция?

— Тогда решим. Судя по обстановке. Сейчас у нас разрабатывают одну новую методику. Необходимо какое-то время, чтобы видеть отдаленные результаты. Относительно хотя бы. Пока полученные данные обнадеживают, а это уже кое-что. Я дам самые подробные рекомендации, которых вам придется придерживаться неукоснительно. Докажите, что не только ученики могут быть дисциплинированными, но и учителя. Каравеллу свою стройте, хотя пока — я подчеркиваю это слово — никаких гарантий дать не могу. А самое главное — держите меня в курсе событий. При малейших изменениях пишите сразу же...

Вернувшись домой, Святослав Владимирович подготовил все нужные чертежи, используя опыт многих энтузиастов-мореплавателей, включая Вито Дюма, Робина Нокс-Джонстона и Стенли Яблонского. Однако отправной точкой была его собственная яхта. Ребята согласились, что гафельный шлюп, спроектированный их учителем, идеален для подобного рода предприятия. Тем более что это давало им возможность сэкономить не менее полутора месяцев. Менялась в основном компоновка жилого отсека. Но и здесь Святослав Владимирович проявил такую конструкторскую смекалку и изобретательность, что ребятам оставалось только разводить руками. Использовался каждый квадратный сантиметр площади. Любой проем, любая ниша находили свое применение, причем, как оказывалось позже, единственно возможное и наиболее целесообразное.

Между Святославом Владимировичем и будущим экипажем наладилась оживленная переписка. Он знал о каждом контейнере с материалами и деталями, который отправлялся в Новороссийск из Ленинграда или Москвы. Он давал советы и консультации, щедро разбазаривая то, что наживалось годами раздумий, ценой бессонных ночей и напряженной работы ума.

Однажды он не выдержал, поехал сам в Новороссийск на автобусе, кружным путем, без предупреждения. Он долго искал место, где строился шлюп, отмерив на костылях добрый десяток километров. Даже мозоли набил на руках с непривычки.

Когда же Святослав Владимирович нашел наконец стапель, никого из его ребят там не оказалось. Видимо, ушли на обед. Было там только двое старичков. Они крепили обшивку к шпангоутам. Один сверлил дрелью

отверстия в толстой фанере, другой закручивал длинные шурупы. Сначала он загонял их молотком больше, чем на две трети, и только тогда брался за отвертку.

— Э-э, так не пойдет! — сказал Святослав Владимирович. — Шурупы не гвозди, их от начала до конца заворачивать нужно. Слегка припосадить молоточком — это другое дело.

Рабочий посмотрел на него с недоумением. Он даже не успел разозлиться.

— И потом сверло... Его надо взять хотя бы на полмиллиметра тоньше. Так ведь слабину даст.

— Слушай, чего ты нас учишь? — пришел наконец в себя плотник. — Не первую клепаем, ясно? Слава богу, скоро тридцать лет, как на верфи... И вообще, кто ты такой?

— Пойми, голова, — продолжал Святослав Владимирович, и не подумав обижаться, — яхта пойдет в океан, это, брат, не Черное море. Там болтанет — будь здоров! Прочность нужна, сверхнадежность. Ты же мастер! Дай-ка сюда инструмент.

Он отобрал отвертку и, прислонив костыли к поперечине стапеля, привалился плечом к нагретой солнцем обшивке.

— Замени сверло, — обратился он ко второму рабочему. — А теперь подай дрель.

— Ладно, я сам, — мрачновато ответил тот.

Когда отверстие было просверлено, Святослав Владимирович поплевал на шуруп, вставил его на место и чуть пристукнул молоточком. Потом вынул из кармана отвертку и ввинтил шуруп, ни разу не покривив, с такой быстротой, словно отвертка была с электрическим приводом. Затягивая головку впотай, он только весело крикнул. И бережно провел ладонью по гладенькой фанере.

— Класс! — покачал головой плотник. — Только если на каждый шуруп плевать, слюны не хватит.

— Ничего, меньше потеть будешь.

Сзади кто-то смеялся. Святослав Владимирович обернулся и увидел своих ребят. Они стояли в тени старого грецкого ореха.

— Мы так и знали, что вы не утерпите, — сказал Сергей, направляясь к учителю. — Иначе это были бы просто не вы.

— Много разговоров и мало дела, — проворчал

он. — И с каких это пор вы заделались праздными наблюдателями?

Святослав Владимирович проработал с ними до позднего вечера и большую часть следующего дня. Он остался бы еще, если бы не боялся, что дома будут беспокоиться...

Вера Алексеевна видела, как он загорелся, начисто забыв о болезни. Но где-то в глубине души ей становилось обидно, что все это он делает не для себя, а для других. Она подсознательно ревновала его к чужому судну, которому уготована счастливая судьба. Вспоминала, как от многого ей приходилось отказываться, чтобы помочь мужу в осуществлении заветной мечты, и теперь ей становилось больно до слез, что свое время и силы он тратит на других, на счастливиц — молодых, здоровых и сильных.

У Святослава Владимировича все обстояло гораздо сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Новость, которую он услышал от ребят, поначалу привела его в смятение, в замешательство. Что-то похожее на нездоровую зависть шевельнулось в душе. Но только на мгновение. «Разве это не естественно, — убеждал он себя, — разве не я заложил в них эту любовь к познанию? И если им повезло больше, чем мне, не должны ли я радоваться за них больше, чем за самого себя? Ведь в каждом из этих ребят есть и частица меня. Это я знаю твердо. А кто же тогда я? Обыкновенный неудачник, каких было достаточно всюду и во все времена? Не-е-ет! Пусть я не достиг цели, к которой стремился всю жизнь, и пусть я не достигну ее никогда, но шел-то я к ней честно. И совсем не случайно в последних числах октября или в начале ноября спроектированный мною шлюп с моими ребятами на борту уйдет в великое плавание через семь морей и два океана».

И все-таки иногда его начинала одолевать тоска, хотя времени на нее у него оставалось все меньше. Деревянный набор на самодельном стапеле в глубине огорода, к которому он не подходил уже много месяцев, в эти редкие минуты не вселял в него былой надежды, несмотря на то, что он наконец сумел раздобыть самое главное, на что ушли годы, — тридцать восемь листов семислойной водоупорной фанеры, клеенной на карбамидной смоле. Острые ребра шпангоутов, прикрепленные к килевой балке, делали набор похожим на скелет

давно вымершего животного и являли собой безрадостную картину, навеявая мысли о бренности и смерти.

Шло время, но ему не становилось лучше, болезнь оставалась с ним, и порой мерзкий страх коварно подкрадывался к нему. Святослав Владимирович старался смотреть на вещи философски. Он не боялся естественной смерти. И что такое смерть! Небытие? Он просто не будет существовать, как не существовал когда-то, до рождения, и только. Он просто вернется туда, откуда пришел. Но ведь он мог и не родиться. Стало быть, повезло? Он мог, наконец, погибнуть на фронте, когда ему не было и двадцати лет, как гибли миллионы его сверстников. Так разве эти без малого тридцать лет, которые он прожил после войны, не следует рассматривать как щедрый дар, как подарок судьбы. Ведь он жил!

Но не естественный конец, не смерть сама по себе вселяли в него беспокойство и страх. Больше смерти он боялся, что может лишиться второй ноги. Что будет тогда? Каким тяжким бременем повиснет он на шее у Веры. Теперь он все чаще вглядывался в ее знакомое милое лицо и замечал, как переживания последних лет отпечатываются на нем новыми морщинками и серебряными нитями в волосах. Как он будет жить и что делать? А может быть, строить модели, которые знатоки всегда называли произведением искусства? Ведь и это не каждому дано. У него останутся руки, которыми он втайне всегда гордился. Может быть, и тогда сохранится нечто, ради чего стоило бы жить?

Но от таких мыслей хотелось скорее избавиться.

В такие минуты он встряхивал головой и просил жену:

— Послушай, дай-ка мне листы спецификации по бегучему такелажу. Поглядим, чего там еще недостает нашей «Надежде».

...Так в постоянной переписке с друзьями, в частых встречах с ними, в заботах об их предстоящем плавании прошло сухое, жаркое лето.

Ближе к осени пришло наконец письмо из Москвы от Романа Анохина. Он писал, что Святославу Владимировичу нужна серьезная операция на бедренной артерии, советовал не волноваться и обещал благоприятный исход.

«...Здесь есть хорошие протезисты-ортопеды, ведь вам уже пора подумать о протезе. Костыли надо бросать, чтобы в следующую встречу в «Пекине» или «Пра-

ге» вы могли отплясывать по очереди со всеми нашими женами».

В последних числах августа закрылся пионерский лагерь, расположенный в поселке неподалеку от дома Святослава Владимировича. Летом, особенно когда было много работы, ребятя порой досаждала ему своим шумом, от которого он успел отвыкнуть за зиму: горами, барабанами, бесконечными песнями, извергаемыми мощным динамиком. Закрылась столовая для «дикарей», и сразу в Якорном стало сиротливо и пусто.

Святослав Владимирович, наблюдая за хлопотами жены, готовившейся к новой встрече с поселковыми ребятами, теперь уже второклассниками, не мог не вспоминать и свою школу, которой отдал столько лучших лет жизни. И странно: прежде, живя в городе, он как-то совсем не думал о ней. Так, во всяком случае, казалось ему. Сейчас же он явственно представлял себе этот день первого сентября, который всякий раз волновал его по-новому. Неназойливое осеннее солнце, шорох накрахмаленных передников у малышей, ломкий басок старшеклассников, похлопывающих друг друга по плечам после долгой разлуки, еще не выветрившийся после ремонта запах масляной краски — само олицетворение свежести и новизны, и цветы, цветы. Потом торжественная линейка. Ко всему привыкший и все же чуточку взволнованный директор, оживление учителей...

— А знаешь, милый, все-таки самое большое удовлетворение учитель получает, работая с малышкой, — говорила Вера Алексеевна, перебирая картинки наглядных пособий, — особенно с первоклашками. Надо видеть эти глаза, чувствовать на себе их внимание, когда они боятся пропустить каждый звук. И тогда хочется, чтобы слово твое имело и вес и значение. Перед тобой чистая доска в полном смысле этого слова. Вот я убеждена: какими дети выйдут из первого класса, во многом определит и характер их и склонности, если не на всю жизнь, то на много лет вперед. Тут уж все во власти учителя. И как славно вместе с ними открывать законы, учиться познавать жизнь, суть добра и зла...

«Школа, школа, — размышлял Святослав Владимирович. — Неужели она навсегда ушла из моей жизни? Нет, такого просто не может быть...»

Незадолго до начала учебного года Сергей, Виктор и Володя пригласили их с Верой Алексеевной на торжественный спуск судна. Оно покоилось на двух тележках для удобства буксировки грузовым автомобилем и теперь стояло у шлюпочного эллинга возле каботажной пристани. Нос его и палубная надстройка были зачехлены, а вокруг толпилось немало зевак, среди которых были и посторонние, и заинтересованные яхтсмены, и люди, причастные к постройке шлюпа.

К основанию бушприта были прикреплены разноцветные ленты, а к самой яркой, красной, привязана за серебряное горлышко бутылка шампанского с огромным бантом. Приехали и официальные представители: из горкома комсомола, из ДОСААФ и местной газеты. Фотолюбители и корреспонденты поглядывали на яркое утреннее солнце, на сверкающую гладь Цемесской бухты и с разных позиций целились объективами на шлюп.

А народ все подходил и подходил. Шли местные портовики, освободившиеся после смены, шли школьники и просто жители города, прочитавшие в газете сообщение о предстоящем спуске яхты. В сторонке, у парапета, поблескивая раструбами своих корнетов, альтов и баритонов, покуривали музыканты.

Секретарь горкома комсомола открыл короткий митинг. Выступающие, как водится, желали шлюпу попутного ветра и семи футов воды под килем, по-доброму пошучивали. Секретарь горкома подошел к высокому носу парусника и вдруг через мегафон пригласил к себе Веру Алексеевну.

— Экипаж шлюпа единодушно просил, — сказал он громко, — чтобы имя новому кораблю присвоили вы.

— Я? Но почему я? — смутилась она.

— Вам нужно только сказать: имя этому шлюпу нарекаю такое-то, счастливого ему плавания! И разбить о нос яхты вот эту бутылку шампанского. — И добавил уже тихо, для нее одной: — Штевень окован железом, так что разбить бутылку нетрудно. Возьмете ее за горлышко. А чтобы случайно не порезать руку, вот вам салфетка.

Он уже начал отходить, но тут Вера Алексеевна, окончательно смущенная и растерянная, вспомнила, что не знает названия судна. Ведь об этом при ней ребята

ни разу не говорили. Хороша крестная мать! Она сделала несколько шагов в сторону секретаря и спросила, краснея:

— Но я не знаю, как назвать яхту.

— Название вы прочтете, когда с носовой части упадет брезент, — уже на ходу ответил он.

— Ну и славно, — для себя, едва слышно проговорила, она.

Дальше у нее все спуталось и перемешалось. Духовой оркестр грянул марш. Тяжелый брезент упал к ногам Веры Алексеевны. Она взяла бутылку, но тут же поняла, что лента помешает ей отойти назад, чтобы прочитать сверху название. Приклепанные к бортам буквы из начищенной бронзы нестерпимо блестели в лучах солнца, а по белой обшивке бегали от воды веселые зайчики. Поэтому ей пришлось оставить бутылку и отступить на добрый десяток шагов. Она прочитала название и по-русски и по-английски — только более мелкими литерами — и почувствовала комок в горле, который никак не могла проглотить, слезы стали застилать глаза. Она поняла, что при всем желании не сможет сейчас произнести даже те несколько слов, которых от нее так ждали.

Она беспомощно оглянулась и как сквозь запотевшее стекло увидела массу людей и множество глаз, устремленных на нее, увидела нацеленные кинокамеры и объективы фотоаппаратов. Но она была хорошим учителем, и поэтому сумела заставить себя подойти к судну, и взять за холодное, обернутое фольгой горлышко бутылку шампанского, и повернуться к людям.

— Имя этой яхте, — крикнула она неестественно звонким, срывающимся голосом, — я нарекаю «Надежда Вторая». — И для чего-то тихо добавила по-английски то, что было написано более мелкими буквами: — «Nadezhda the Second». Счастливого ей плавания!

Она размахнулась и, наверное, сильнее, чем нужно, ударила бутылкой об острый форштевень. Она видела, как пена от шампанского вместе с мелкими осколками стекла омыла белую краску на носу шлюпа и струйками потекла вниз к ватерлинии, где начиналось кроваво-красное днище, и почувствовала, что лицо ее мокро то ли от слез, то ли от брызг шампанского. Она слышала, как кто-то рубил символический трос, и яхта, чуть поскрипывая, поползла по слипу к воде, в море...

И вот теперь в последнем письме ребята писали, что

заехать уже не смогут, так как оставшееся время целиком уйдет на ходовые испытания, связанные с ними доделки и всякие формальности. И, главное, они хотят уйти без помпы, без провожающих, потому что долгие проводы — лишние слезы, да и торжественность в таком деле всего лишь ненужная суета. Они и газетчиков просили сообщить об отплытии уже после того, как «Надежда-II» будет в открытом море.

В конце сентября боль в ногу у Святослава Владимировича снова усилилась. Стало очевидно, что через месяц-другой поездки в Москву не избежать. Он просил только, чтобы Вера отпустила его одного. Неудобно бросать ребятишек в самом начале учебного года, а позаботиться о нем там, слава богу, есть кому.

Однажды после обеда, во время очередного приступа боли, он лежал на своей открытой веранде, закутанный в старенький плед, потому что погода заметно испортилась. Временами дул холодный порывистый ветер, а небо над морем стало аспидно-серым, почти черным от грозоздившихся туч. Святослава Владимировича слегка познабливало, как-то неприятно поламывало в висках, и заметно слезились глаза.

В это время на веранду вышла Вера Алексеевна:

— Знаешь, милый, пора в комнату. По-моему, вдобавок ко всему ты еще и простыл.

— Чепуха, это пройдет, — небрежно махнул он рукой.

— Там я принесла газету. Она тебя наверняка заинтересует. Понимаешь, в статье говорится о причине таинственной гибели многих моряков, целых экипажей. Мы же читали об этом, помнишь? Конечно, причина предполагаемая. Но уж больно все убедительно. Речь идет об инфразвуковых волнах. Они рождаются иногда перед штормом и могут беспрепятственно проходить огромные расстояния.

— Это «голос моря», — сказал он, — я давно знаю об этом...

— Они пишут, что инфразвук может поселять страх в человеке, безотчетный ужас, даже может вызывать психические расстройства. Люди способны на все что угодно, лишь бы укрыться от него.

— Он вступает в резонанс с колебательными движениями в организме, с током крови, с сокращением сердечной мышцы. Достаточно частота в шесть-семь герц.

— Ты понимаешь, люди могут ослепнуть и даже погибнуть от разрыва аорты, от остановки сердца. Я боюсь за тебя, милый...

— Это уже совсем хорошо, — улыбнулся он. — Значит, ты веришь, что я не совсем пропащий.

— Ты все шутишь...

Но в это мгновение она замолчала, и он увидел, как взгляд ее впился во что-то очень далекое, там, у самого горизонта.

— Опять смерч? — спросил он.

— Нет, милый, там какой-то парусник, далеко-далеко. Как одинокий белый голубь на фоне штормового неба. Очень красиво!

— Бинокль! — крикнул он. — Скорее!

— Не успеем, он сейчас скроется за мысом.

— Все равно!

Вера бросилась в комнату, вернулась с биноклем, на ходу доставая его из жесткого кожаного футляра. Святослав Владимирович схватил его и жадно припал к окулярам. Но, сидя на раскладушке и одной рукой опираясь о ее трубчатую раму, ему трудно было настроить оптику. А тут еще глаза слезились, как на грех...

— Смотри сама, — бросил он, передавая Вере бинокль. — Смотри и рассказывай. Что ты там видишь?

— Сейчас, сейчас... Я вижу большую яхту. Четко. Парус такой... В форме трапеции.

— Гафельный, — поправил он.

— И два треугольных вперед.

— А мачта с небольшим наклоном назад?

— Не видно. Хотя... одну минутку. Наклон, кажется, действительно есть.

— Вера! — крикнул он, рванувшись с кровати. — Дай я посмотрю сам. Ведь это же шлюп, это наша «Надежда» уходит в море!

— Все! Уже не видно, — ответила она, опуская бинокль. — Парусник скрылся за мысом...

Святослав Владимирович медленно опустил на скрипнувшую раскладушку.

— Они все-таки пошли, — бормотал он, — они все-таки пошли. Ах, молодцы, какие же они у меня молодцы!

Он лежал, натянув на себя плед, и слышал, как часто и сильно бьется его сердце. Сомнений быть не могло: его второй шлюп уходил в свое далекое плавание. А может быть, Вера ошиблась, ведь еще слишком рано?

По его расчетам, яхта должны была выйти из Новороссийска дней через двадцать, а то и больше.

Или, может быть, Вера сказала неправду? Нет, такого сделать она не могла.

Скорее всего ребята спешат захватить период попутных ветров в Красном море. Таков уж там метеорежим, что с мая по октябрь они дуют с северо-запада, а остальное время года в обратном направлении. Достаточно опоздать на каких-нибудь полмесяца, и жди встречного «мордотыка» на добрую тысячу миль. А тогда попробуй походи переменными галсами, полавируй среди острых коралловых банок.

Однако почему же они не прислали телеграмму? А впрочем, она могла и не дойти еще. В этот глухой угол телеграммы всегда приходят с опозданием. Он наверняка получит ее завтра...

Святослав Владимирович понемногу успокоился, и ему даже показалось, будто жгучая боль в ноге стала проходить.

Что ж, если так, скоро ребята будут далеко. Он, возможно, еще не успеет собраться в Москву, а «Надежда-II» выйдет к Сейшельским островам, а то и бросит якорь на самом Маврикии. До него шестьдесят расчетных суток пути. Какая же бездна пространства будет разделять их! Пять тысяч морских миль! Это действительно очень много...



**ВЕТЕР
УДАЧИ**



Чудес в природе не бывает. В Каменоломне на них и вовсе трудно было рассчитывать, так как, по утверждению людей бывалых и знающих, там вообще ничего значительного никогда не происходило.

Тут не садились вертолеты, и даже автотуристы, известные своей всепроникающей способностью, почти не попадались на глаза, поскольку оживленное Крымское шоссе пролегало в пятнадцати километрах от поселка, а добраться до него надо было по пыльной, разбитой самосвалами дороге. И хотя море находилось в двух шагах, пассажирские теплоходы проплывали стороной, далекие и прекрасные в своей недоступности. Они возникали ненадолго, как зыбкие видения, у самой линии горизонта. На что уж катера местных линий, от которых на берегу иногда целых полдня пахло отработанной соляжкой, и те никогда не заходили в маленькую скалистую бухту.

Но нет правил без исключений, и чудо однажды произошло...

Июльское солнце только что поднялось над горами, а море выглядело прозрачно-голубоватым, как гигантская выпуклая линза. Сквозь незамутненную воду просвечивали зеленые и бурые водоросли, недвижимо лежавшие на дне. От стволов сосен, поднимавшихся по каменистому склону, падали длинные тени, и земля от этого казалась расчерченной в косую линейку, как тетрадь первоклассника в добрые времена чистописания и стальных перьев. Сосен вокруг было много, целая роща. Их растрепанные кроны вместе с причудливыми скалами, что громоздились над поселком и воздвигли настоящие бастионы прямо посреди бухты, придавали местности вид живописной театральной декорации.

В это утро Кешка проснулся рано. Где-то в отдалении тарахтел экскаватор. Значит, отец был уже в карьере. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Ан-

тона, Кешка выскочил во двор через окно, как обычно угодив в пыльные кусты сирени. Матери дома тоже не было. Наверное, ушла за молоком. Он покормил кур, поплескал на лицо воды из рукомойника и, пошарив в летней кухне, наскоро позавтракал помидорами и зачерствевшим за ночь хлебом.

Прежде, когда Антон был совсем маленьким, Кешке приходилось все свободное время тратить на него, выполнять обязанности няньки. Мать до вечера пропадала в продовольственном ларьке, где работала продавщицей. Время шло, Антон, слава богу, подрос, и у него появились свои заботы: выспаться, поесть и, подхватив зеленый пластмассовый автомат, мчаться играть в войну со своими сверстниками.

Теперь каникулы Кешка мог проводить так, как ему хотелось, благо никого не интересовало, где он пропадает весь день. Можно купаться до посинения и ловить бычков с громадных камней. Среди мелкой гальки, словно бы просеянной на грэхоте, ему нравилось искать обкатанные морем розовые сердолики и узорчатые агаты, ловить в колючих зарослях метровых желтопузиков, чтобы потом пугать ими поселковых девочек. Да разве все перечислишь?

Вот и сегодня, с утра пораньше оказавшись на свободе, он отправился по испытанному пути. Сначала — к рыбкоопу, где висела доска объявлений, вполне заменявшая ему последние известия. Здесь можно было узнать обо всех местных новостях. Это был надежный источник информации. На этот раз объявлений оказалось немного. Одно старое, в котором сообщалось, что дому отдыха, расположенному в двадцати километрах от Каменоломни, требуется каландристка. Но поскольку никто не знал подлинного смысла этого слова, а иным и вовсе чудилось в нем нечто не совсем приличное, желающих рискнуть не нашлось, и бумажка на доске успела пожелтеть от солнца и времени. Зато сегодня появилось кое-что новое. На обрывке серой оберточной бумаги было аккуратно выведено фиолетовыми чернилами: «Продается свыня». Кто-то в порыве возмущения зачеркнул слово «свыня» и красным карандашом исправил сверху — «свенья».

Кешка пошел к морю. Солнце, едва поднявшись над бухтой, слепило глаза и поблескивало латунными чешуйками на спокойной воде. Он хотел уже спускаться к берегу, но внезапно остановился, не в силах

сделать и шага, словно ненароком ступил в лужу клейкой смолы. Кешка даже взмахнул руками, чтобы удерживать равновесие. Широкий рот его приоткрылся сам собой, обнажив крупные редкие зубы, а в прозрачных светлых глазах отразилась крайняя степень изумления.

У концевого мыса, чуть шевеля в безветрии пурпурными парусами, медленно разворачивался самый настоящий старинный корабль с приподнятой кормой, двумя мачтами и длинным, выдающимся вперед бушпритом. Команда корабля уже взбиралась по вантам, спеша зарифить паруса. Гнусаво свистела боцманская дудка, и медленно оползали вниз остроугольные кливера. Слышно было, как плюхнулся в воду якорь, заскрежетала тяжелая цепь, и судно замерло, став правым бортом к пляжу. Люки пушечных портов были открыты, и из темной глубины глядели на поселок своими медными дулами с полдюжины восьмифунтовых каронад, позеленевших от непогоды.

О том, что это именно каронады, да к тому же восьмифунтовые, Кешка, разумеется, узнал значительно позже. Трудно сказать, сколько бы он простоял в немом восхищении, если бы рядом не послышались шаги и двое мужчин не подошли к обрыву.

— Ну и дичь, — сказал тот, что был с бородкой и пониже ростом. — Это что еще за алые паруса? Такое годится только на рекламу банно-прачечного комбината...

— Бросьте, какое это имеет значение, — ответил высокий и худой. На голове у него красовалась легкая шапочка с козырьком из зеленого плексигласа. — Один ведь черт, фильм черно-белый. Не имело смысла менять оснастку.

— И потом, кто вам сказал, что это истинная бригантина? — не унимался бородач. — Это самая настоящая марсельная шхуна. Я же посылал эскизы. Видите два прямых паруса на фок-мачте?

— Умный не скажет, дурак не поймет, — невозмутимо ответил Зеленый козырек. — И вообще, Олег Петрович, с этими бригантинами большая путаница. Кто в наше время разбирается в таких тонкостях? Важно, что похоже. В конце концов, Большой Генрих сам все видел и утвердил, а разве мы с вами не ему служим?

— Кесарю — кесарево, а слесарю — слесарево. На-
ло и о публике подумать.

С палубы тем временем пытались спустить на воду резиновый плотик.

— Поверьте, Олег Петрович, нет у нас ничего лучше, — вздохнул Зеленый козырек. — Вам легко требовать, вы автор экранизации. А что делать нам? Если по-честному, это корыто полагалось списать минимум пять лет тому назад. Вы думаете, у меня есть интерес латать дыры? Говорят, весной заложили новое. Спустят на воду, тогда и спишем...

Кешка не выдержал. Он не понимал всех тонкостей разговора, свидетелем которого невольно оказался, но одно было ясно: эти люди имеют к судну самое прямое отношение. Он поднял глаза на мужчин, не зная, к которому из двоих обратиться. Так и не решив ничего, он спросил сразу обоих:

— Что это? — Кешка повел облупленным носом в сторону бухты. — Наш или заграничный?

— Бригантина, — ответил бородач. — «Глори оф де сиз», что означает «Слава морей». Водоизмещение двести тонн, отличный ход — двенадцать узлов при бакштаге. Плавает под флагом Георга Второго, его величества короля Великобритании.

При этих словах худой и длинный почтительно снял шапочку.

— О-о, — сказал Кешка, и щеки его покрылись румянцем. — То-то я гляжу, вроде флаг не наш.

— Сколько тебе лет? — спросил короткий.

— Одиннадцать, — ответил Кешка. — Осенью в пятый иду. — Он сделал паузу для приличия и только тогда задал очередной вопрос: — А что она делать у нас будет?

— Бригантина? Да так, пошарят людишки по округе, а потом, — бородач понизил голос, — антр ну, то есть между нами, как говорят французы, спалят деревню. Начисто. Дотла! Ну а наше дело на пленочку их заснять. Как вещественное доказательство. Потом кино крутить будем. Пригвоздим их к позорному столбу истории.

— Э-ге-гей! — закричали с надувного плота. — Мы тут!

— Не потопли? — осведомился Зеленый козырек. — Воды много?

— Тапочки мои, считай, всю дорогу на плаву держались...

Еще в ту пору, когда Кешка был прикован к люльке Антона, он от нечего делать пристрастился к чтению. Надо же было куда-то девать время. Залпом прочитал «Робинзона», «Остров сокровищ», «Всадника без головы» и стал добровольным пленником удивительного мира с благородными героями, вероломными красавицами и изысканными подлецами. Этот мир был мало похож на тот, где ему приходилось ежедневно вращаться, хотя в каждом человеке теперь он пытался найти сходство с тем или иным книжным персонажем. У него была настолько хорошая память, что ему ничего не стоило запоминать наизусть монологи иногда по полстраницы. Кешке хотелось походить на добрых, мужественных героев, но в жизни маленького поселка не было места геройству. И, хотя подобная мысль не вызывала у него сомнений, она помогла ему впервые взглянуть на себя со стороны.

И что же? Оказалось, что к матери своей он почти равнодушен, отца не любит и побаивается и только к Антону испытывает родственные чувства. Но, трезво оценивая будущее, Кешка понимал, что тот никогда не станет для него настоящим товарищем. Антон был девочкой, его младшей сестрой. Хотя стригли и одевали ее, как любого поселкового пацана.

Родного отца Кешка никогда не видел. Отчим появился в доме, когда мальчишке не было и трех лет.

— Здравствуй, Ин-нокентий, — сказал он, протягивая руку с такой осторожностью, с какой протягивают ее незнакомому щенку. — Давай лапу. С сегодняшнего дня я буду твоим батей...

Но батей он так и не стал, хотя Кешка и привык со временем к этому его высокому званию. Отец все время мечтал о «собственном» сыне и даже загодя придумал ему приличное имя — Антон. Он был потрясен и обескуражен, когда узнал, что вместо Антона на свет появилась Антонина. Но отчим был упрям и все время называл девочку мужским именем. Постепенно к этому привыкли все в доме и стали следовать примеру главы семейства. Так появился Антон, и Кешка с удивлением отметил, что не только говорит, но и думает о сестре в мужском роде — «он», а не «она».

Отец работал экскаваторщиком в каменном карьере, где добывали гравий для асфальтобетонного завода. Временами оттуда слышались взрывы, от которых дрожали стекла, и отдаленный грохот камнедробилки. Отец часто приходил домой под градусом, скандалил с матерью и поучал пасынка.

— Слушай, Ин-нокентий, брось свои дурацкие книжонки, — говорил он, икая и целясь грязным перстом в расшатанную этажерку. — Не засоряй мозги. Ученого из тебя не выйдет. Лучше бы огурцы прополол...

Когда родители заводили брань из-за денег, огорода или пересоленного борща, Кешка старался незаметно улизнуть из дому, так как знал, что дело кончится дракой и ему может ни за что перепасть.

Возможно, жизнь его еще долго текла бы по этому руслу, если бы не сегодняшняя неожиданная встреча в маленькой бухте...

О том, что в Каменоломне будут снимать фильм, Кешка мог бы догадаться и раньше. Еще три дня назад на опушке рощи появились пять аккуратных вагончиков на резиновых колесах. Рядом с ними выросла целая гора маркированных ящиков, странные треноги, передвижная электростанция. Возле всего этого хозяйства похаживали люди в коротеньких шортах и пестрых рубашках, а то и вообще по пояс голые. Конечно же, кино, но кто-то из ребят постарше определил: «Геологи. Бурить будут». И Кешка, дурак, поверил. Нет чтобы самому разузнать как следует. Надо было немедленно сообщить о новости всем друзьям и знакомым...

Теперь Кешка готов был не спать, не есть, не купаться в море. Он мог с утра до вечера торчать вблизи съемочной площадки и во все глаза смотреть на незнакомых людей в треугольных шляпах со страусовыми перьями, на их богатые камзолы и легкие рубашки с кружевными манжетами и пышными жабо на груди.

Среди всей массы людей он сразу же выделил нескольких, наиболее значительных. Прежде всего это был Большой Генрих, или Генрих Спиридонович, — режиссер и постановщик фильма. В отличие от другого Генриха — Генриха Карловича Околелова, осветителя, сутулого человека с красными, словно бы воспаленными

веками, он оказался куда как невысок. Кешке невдомек было, что приставка «Большой» к имени режиссера объяснялась не ростом, а занимаемым положением, чем-то вроде немецкого «фон». Здесь он был единоличным властелином. Любое его приказание выполнялось мгновенно и беспрекословно.

Кроме Большого Генриха, был еще некий Василь Сергенч — помощник капитана, старый негодяй с трубкой и одним глазом (второй постоянно был прикрыт черной повязкой), с рыжей бородой и серьгой в ухе; молодой герой Миша с огромным пистолетом и шелковым бантом на шее; пожилая добродетельная дама с хорошими манерами и попугаем какаду. Даму звали Алевтиной Никитичной, а желтохвостого австралийского попугая — Жулик, или, по-иностранному, Жюль.

Попугай также принимал участие в съемках, хотя не числился в реквизите киногруппы и даже не имел своего инвентарного номера. Он был собственностью Алевтины Никитичны и жил в круглой проволоочной клетке. Прутья ее удивительно напоминали параллели и меридианы на школьном глобусе, и от этого казалось, будто птица заключена внутрь земного шара.

Кешка уже слышал, что, несмотря на свое французское имя, попугай был чистокровным англичанином, вывезенным лет десять тому назад из Австралии, и довольно свободно изъяснялся на своем родном языке. Он то и дело выкрикивал английские слова, а расторопный Миша тут же переводил их на русский. Любопытно и то, что все слова, за исключением «Год дэм!» — «Черт побери!», начинались на одни и те же буквы «кр». Может быть, эти вороньи звуки были особенно приятны слуху попугая, а может быть, бывший хозяин обучал птицу по словарю, открыв его на первой же попавшейся странице.

— Краун! — кричал попугай своим надтреснутым голосом.

— Корона! — поспешно переводил Миша.

— Крайсис!

— Кризис!

— Крупие!

— Банкомет! — возвещал Миша, радостно потирая руки.

Слова «кредит», «критик», «кретинизм» в переводе не нуждались. Тут явно давало себя знать заграничное воспитание. Все успели заметить, что птичий словарь со-

стоит преимущественно из терминов, свойственных прогнившему капиталистическому строю.

Однако самое сильное впечатление на Кешку произвела юная красавица, игравшая роль леди Эммы. У нее были невероятно большие синие глаза, губы, которые по нежности могли сравниться разве что с лепестками розы сорта «Купн Элизабет», весьма распространенного в поселке за последние годы, и длинные волосы, отливавшие чистым золотом английских современов. При одном ее виде у Кешки тоскливо замирало сердце.

Большинство актеров разместили по квартирам. Кешке не повезло: в их доме поселился не герой Миша, не юная красавица и даже не дама с попугаем, а одноглазый и коварный помощник капитана Василь Сергеич. Да и то переехал он не сразу, а только через неделю перевели его из вагончика, видимо, в связи с преклонным возрастом.

Еще до обеда, проходя мимо комнатухи квартиранта, Кешка услышал там какую-то странную возню, свистящий сдавленный шепот и замер напряженно.

— Теперь уж нет, мой милый, — хрипел за дверью одноглазый, — теперь поздно. Времени на болтовню у нас нет. Ах, в чем твоя вина? Ха-ха-ха! Не вина, братец, а беда! Ты любопытен не в меру. А орден святого Доминика свидетелей не оставляет. Ты умрешь! Такова воля трибунала и всевышнего... Ну-ну, не крутись... теперь все... судьба твоя решена...

Кешка весь напрягся. От жуткого хрипящего голоса сделалось не по себе, и по спине его пробежал отвратительный холодок. Он отчетливо слышал громкое сопение, скрип пружин на кровати. И Кешка решился. Он уже взялся за дверную ручку, но в этот миг в комнате все стихло, и уже через минуту одноглазый вышел оттуда как ни в чем не бывало, мурлыкая под нос: «Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом...»

В тот же день квартирант попытался втереться Кешке в доверие. Он начал с того, что стал подкатываться к Антону:

— Мальчик, кем ты хочешь быть, когда вырастешь?

— Я не мальчик, я девочка.

— Неужели? — сконфуженно пробормотал старый негодяй. — Прошу простить великодушно. И все-таки, кем же ты будешь?

— Генералом, — не задумываясь, ответил Антон.

— Прелестно! — всплеснул руками одноглазый. — Ну а ты? — обратился он к Кешке.

— Не знаю, не думал...

Его постоянно злил этот дурацкий вопрос. Похоже было, что взрослые задают его только тогда, когда им спрашивать больше не о чем.

— А у вас взаправду нет глаза? — серьезно спросил Антон.

— Вообще-то глаз есть, — ответил помощник капитана, — но мне по фильму положено быть одноглазым.

— А что ж вы дома повязку не снимаете? — ехидно поинтересовался Кешка.

— Искусство, дружок, требует жертв. Вхожу в роль, привыкаю смотреть на мир одним глазом. Если это сделать внезапно — взять, понимаешь, и надеть повязку, тогда трудно ориентироваться. Постоянно наталкиваешься на всякие предметы. Того и гляди набьешь шишку.

— А вы на войне были? — прямо в лоб спросил Антон.

— Был.

— А за кого воевали?

Такого вопроса Василь Сергеич не ожидал и явно растерялся. Даже серьга задрожала в ухе:

— То есть как это — за кого? За наших, конечно.

— А у вас случайно одного патрона не осталось? — спросил Антон, слегка прищулив свой внимательный серый глаз.

— Не-ет, — окончательно смутился Василь Сергеич и в доказательство того, что не лжет, даже хлопал себя по карманам. — Видишь ли, столько лет прошло...

— Это так, — покачал головой Антон и сразу утратил интерес к одноглазому помощнику капитана.

На другой день на съемочной площадке разыгралась страшная сцена. У подножия отвесной каменной скалы герой фильма Миша дрался на шпагах с испанцем дон-ом Диего. Испанцев — Диего и Хуана — играли два шустрых молодых армянина. Первого звали Аванес Петросян, и он все время восклицал: «Клянусь святой инквизицией!» Второго — Сероп Мкртчян. Осветитель

Генрих Карлович всякий раз, произнося его имя, добавлял, покачивая головой: «Надо же...»

Шпага у Миши была длинная, с позолоченным эфесом и владел он ею с завидным мастерством. Сероп рядом с ним выглядел просто младенцем. Ровно через тридцать секунд клинок вылетел у него из руки, но Миша благородно отступил в сторону и разрешил испанцу поднять оружие. Когда же клинок был выбит вторично, Миша наступил на него ногой в блестящем ботфорте и приставил острие своей длинной шпаги к животу дона Диего чуть повыше пупка. Испанец прижался спиной к шершавой скальной стене, глаза его выкатились от страха, хотя он и пытался показать, что ничего не боится.

Нервы у Кешки едва выдерживали. По природе своей он просто не мог оставаться равнодушным свидетелем, когда на глазах происходило такое. Душа требовала немедленного действия. И оттого, что чувства его не находили выхода, он бесполезно топтался на одном месте.

— Вы можете проткнуть меня насквозь, — шептали побелевшие губы дона Диего, — но это уже ничего не изменит. За вашим кораблем следит Всевидящее око.

— Вот вы и проговорились, сударь, — рассмеялся герой Миша. — На этот раз вас подвели нервы и бурный испанский темперамент. Ваше Всевидящее око — это одноглазый помощник капитана. Но, клянусь челюстью акулы, пожирательницы трупов, я позабочусь о том, чтобы еще до захода солнца он болтался на стеньге фок-мачты. Что же касается вас, мой милый дон Диего, то я обещаю сохранить вашу драгоценную жизнь лишь при одном условии. Вы должны ответить: где леди Эмма?

— Стоп! — заорал не своим голосом Большой Генрих. Он стоял возле камеры, поднятой над землей на специальной площадке. — Я просил больше света! Олухи, сколько раз говорить одно и то же!

— Это вы мне? — спросил Генрих Карлович Околев. Юпитеры его светили полным накалом, несмотря на солнечную погоду.

— Вам, вам, кому же еще, — огрызнулся именитый тезка осветителя. — Доверните штатив, черт вас побери! Вы что, так и не опохмелялись?

Осветитель пожевал губами, но промолчал, хотя и выглядел обиженным. К острым выражениям постанов-

щика тут привыкли все и старались не замечать его грубостей. Что делать, Большой Генрих был настолько могущественной фигурой, что даже сам Олег Петрович — автор экранизации — предпочитал критиковать его только за глаза.

Кешке было жаль старика осветителя, и в то же время брало зло, глядя на его смирение и безропотность...

Успел ли сообщить дон Диего, где они прячут юную леди Эмму, Кешка так и не узнал. Вероятнее всего, вопрос этот остался бы в тот день невыясненным, если бы не случай. Вечером, после съемок, разыскивая Антона, он углубился в лес и набрел на лужайку. Перед ним открылась удивительная картина.

На стволе поваленного дерева, заложив за голову руки, лежала прекрасная пленница и мечтательно глядела на проплывающие облака. У Кешки перехватило дыхание. На такую удачу он и не смел рассчитывать, хотя думал о леди Эмме часто и даже видел ее во сне.

Однако за ветками разглядеть как следует леди Эмму было мудрено. Возле затухающего костра, сложенного между двумя камнями, сидели на корточках оба испанца. От костра приятно пахло жареным мясом. Дон Диего дул на угли, и по щекам его текли слезы, а дон Хуан снимал с толстой проволоки готовый шашлык и складывал его на лист лопуха.

— Я тут проторговалась, — не глядя ни на кого, вздохнула пленница. — Только на билет и наскребу...

— Что за разговорчики? С нами не пропадешь, — успокоил ее дон Хуан. У него были черные усики и маленькая бородка клинышком. — А пока — за дело!

— Мясо я ем только с кончика шпаги, — сказала она, не меняя положения и даже не подняв головы.

— Будет вам и шпа-га, будет вам и проч-чее, — пропел дон Хуан.

Он достал из-под куста откупоренную бутылку, и Кешка, прятаясь за деревьями, услышал, как громко булькает вино, разливаемое по стаканам. Потом испанец наколот на проволочный шампур кусочек шашлыка и подошел к поваленному дереву.

Чего бы Кешка, кажется, не отдал, чтобы быть сейчас на его месте!

— Вах, какой шашлык! — воскликнул испанец, по-

вода носом и закатывая глаза. — Тебе останется только облизать пальчики, клянусь святой инквизицией!

— Шашлык из свинины — это не шашлык, — заметил дон Диго.

— Важно не что жарят, а кто жарит, — возразил дон Хуан, подавая леди Эмме наполненный стакан. — Я поднимаю этот маленький бокал, в котором нет ни одной капли яда, за большую и почти бескорыстную дружбу...

Коварству этих людей поистине не было предела. Через два дня негодяи привязали юную леди Эмму к стволу огромного дерева, словно бы и не они поднимали тост за бескорыстную дружбу. Платье на ней было изорвано, веревки впились в хрупкие нежные плечи. Пока представляли осветительную аппаратуру и готовили камеру, она молчала. Только один раз попросила попить.

Кешка знал, что у крайнего вагончика всегда стоит ведро с водой и кружка. Но сейчас рабочие наверняка не пропустят его через оцепление. А Большой Генрих только отмахнулся.

— Перебьешься. — Он отстранил оператора и припал глазом к кинокамере. — Пиратам не свойственно мило-сердие.

Но когда полная женщина в расстегнутом на груди пляжном халате подняла деревянную хлопушку и крикнула: «Дубль второй!», леди Эмма не выдержала:

— Развяжите! Тут муравейник. Генрих Спиридонович, миленький, честное слово! Они кусаются...

— Перестань капризничать и корчить из себя примадонну! — рявкнул Большой Генрих. — Я прошу потерпеть пять минут, только пять минут. — И он поднял над головой растопыренную пятерню.

Прекрасные синие глаза леди Эммы наполнились слезами, и кончик подбородка мелко и часто задрожал.

— Мотор! — крикнул Большой Генрих, вытирая со лба пот. — Все идет как надо. Этим муравьям надо поставить памятник при жизни за счет студии. До чего же естественно, черт побери! Плачь, дитя мое, плачь! О, эти невидимые миру слезы!

Кешка отчетливо представил себе, как злые растревоженные муравьи ползут по ее ногам и впиваются маленькими челюстями в нежную кожу под коленками.

В кармане у Кешки лежал большой перочинный но-

жик, который он выменял на «самодур» и три новенькие закидушки у одного из рабочих киногоруппы. Это был превосходный шоферский нож с одним лезвием, двумя гаечными ключиками, отверткой и пилкой, боковая сторона которой имела насечку, как у бархатного напильника. И сейчас у Кешки возникла совершенно дикая мысль. Ему захотелось незаметно подобраться к дереву, перерезать веревки и освободить наконец это нежное существо от пиратов, а заодно и от Большого Генриха.

Кешка сунул руку в карман и так сильно сжал в кулаке ножик, что грани его стали врезаться в ладонь. Он уже представил, каким взглядом одарит его прекрасная, освободившаяся от пут пленница и как, спасаясь от погони, они вдвоем помчатся напролом через заросли к морю. Там, среди скал, они спрячутся в только ему знакомой нише, похожей на неглубокую пещерку, и Кешка станет приносить туда хлеб и таскать помидоры с соседского огорода. Вот только подойдет ли ей такая простая и грубая пища?

Он крутнул головой, насильно заставив себя разжать пальцы и вытащить руку из кармана. Но от этого не стало легче. Ему уже и самому казалось, что по его ногам ползут и впиваются в них полчища муравьев, и кожа от этого горела, как от ожога.

А Большой Генрих командовал:

— Уберите к черту эти дуги! Мягче свет, мягче. Направьте слева софит.

— Генрих Спиридонович, мне больно, — по-настоящему плакала несчастная леди Эмма.

— Так. Теперь дай крупняк! — будто не слыша ее, крикнул он оператору. — Яви миру слезу!

— Прекратите! — неожиданно заорал Кешка. — Вы что, глухие? Ей же больно!

— Гоните мальчишку в шею, — не оборачиваясь, махнул рукой Большой Генрих.

Двое дюжих парней кинулись выполнять приказание режиссера. Но Кешка ловко увернулся, прошмыгнув у них между ногами. Когда он опускался на четвереньки, под руку ему попал камень. Кешка схватил его и изо всех сил швырнул в громадное стекло вспыхнувшего софита. Послышался звон рассыпающихся осколков. Все замерли, и на площадке наступила мертвая тишина...

Дома родители пороли Кешку в четыре руки. А потом заперли в кладовку. За разбитое стекло матери пришлось заплатить пятнадцать рублей. Счастье еще, что не пострадали дорогая лампа и рефлектор. Возможно, Кешка отделался бы только одной мерой наказания, если бы стал плакать и просить прощения. Но он, сцепив зубы, упрямо молчал, и это особенно бесило взрослых.

В полутемной кладовке пахло мышами и пылью. А главное, так медленно тянулось время. Однако хуже всего было то, что он не знал, когда же наконец снова ощутит привычное состояние свободы. Кешка на минуту представил себя в положении узника, приговоренного к вечному заточению, и ему стало не по себе. И все же он не раскаивался в своем поступке, хотя и был уверен, что даже близко к съемочной площадке его теперь не подпустят.

Освободили Кешку только через восемь часов. Ближился вечер, на дворе было по-прежнему жарко, и он первым делом решил искупаться.

Считается, что некая неведомая сила влечет человека на место, где он совершил преступление. Возможно, именно поэтому Кешке захотелось по пути хоть одним глазком взглянуть на площадку, где утром проходили съемки. Там, конечно, никого уже не было, и только осколки толстого зеркального стекла поблескивали в вытоптанной траве. Кешка подошел к дереву. Он вдруг снова представил себе все, как было, и со злостью пнул ногой муравейник.

— Ну а муравьи-то при чем? — слышался с тропинки голос героя Миши. Он шел с полотенцем по направлению к вагончикам и улыбался.

Кешка махнул рукой и стал спускаться к морю, где рабочие вместе с пиратами возились на захваченном корабле. В тени под скалой он увидел дона Диего и дона Хуана. Раздевшись до плавок, испанцы играли в нарды. Но странное дело, прежней неприязни к ним он почти не испытывал. Все-таки виноват во всем был Большой Генрих. Кешка неслышно подошел и скромно уселся в сторонке.

— Вот паразитство, — вздохнул дон Хуан, — до чего же пить хочется. А в термосе ни капли...

— Терпи, — отозвался его приятель. — Еще полчасика, и явится наш спаситель — Буцефал.

Кешка знал, что Буцефалом киношники окрестили старую кобылу Зорьку, которая подвозила им воду в большой дубовой бочке. Он незаметно придвинулся поближе и спросил:

— А что это — Буцефал?

Дон Диего поднял густые брови, словно бы удивившись внезапному появлению парнишки:

— Ах, это ты, бунтарь-одиночка. И ты не знаешь, кто такой Буцефал? Это боевой конь Александра Македонского.

— Но ведь она кобыла, — удивился Кешка. — Да еще старая.

— Не имеет значения, — заметил дон Хуан, встряхивая кости в сложенных горстях. — У моего дяди Сурена в Нахичевани под Ростовом был здоровенный кобель, которого он назвал Пальмой. И, представь, на кобеле это никак не отразилось. Пес прожил шестнадцать лет. Дядя вообще был веселый человек.

Неподалеку в кустах возился электрик, подвешивая на сучьях резиновый кабель.

— Эй, на барже! — крикнул он, сложив рупором ладони. — Врубите верхний прожектор! Проверить надо!

— Погодь, — отвечали с «Глори оф де сиз», — сперва плотик смайнаем по тому борту.

— Ну что, дома били? — сочувственно спросил дон Диего.

Кешка молча кивнул и шмыгнул носом. Дон Диего с сожалением покачал головой, и в такт ее движениям на волосатой груди маятником закачался золотой крестик.

— А крест зачем? — спросил Кешка. — Вы что, в бога верите?

— Ему положено, он испанец, — ответил за товарища дон Хуан, сдувая с носа капельку пота. — Это не простой крест — католический!

— К тому же подарок, — заметил дон Диего.

— От кого?

— Мне вручил его лично Филипп Анжуйский — король Испании. От имени и по поручению самого римского папы Бенедикта Тринадцатого.

— Как сейчас помню, — подтвердил дон Хуан.

На следующий день вечером к одноглазому помощнику капитана пришел в гости Генрих Карлович — осветитель. Еще в дверях летней кухни он поднял вверх указательный палец и сказал торжественным шепотом:

— Не хва-та-ет.

— Всего-то? — спросил старый пройдоха.

— Всего. Пока магазин не закрыли.

— А что, острая необходимость?

— Тоска, Василь Сергеич, тоска-а...

Помощник капитана достал из кармана кошелек и вынул из него помятый трояк:

— Не забудь принести сдачу.

— Это уж как водится. Все чин чином.

Отец, после работы плескавшийся неподалеку под умывальником, даже по отрывочным словам и намекам умудрился сообразить, к чему клонится дело, и живо откликнулся:

— А что, мужики, принимайте меня третьим. — И, метнув на стол железный рубль, прихлопнул его ладонью.

Он заметно оживился и, вытирая полотенцем загорелую шею, весело крикнул:

— А ну, Ин-нокентий, живо дуй до мамки в магазин. Возьми хлеба и консерву.

— Какую?

— А какую даст, — развел он руками.

Уже через четверть часа трое мужчин сидели за столом, позвякивая гранеными стаканами. Кешка был до смерти рад, что его не прогнали, не попрекали за вчерашнее, и примостился в уголке на табурете, делая вид, что читает книжку. Над тускловатой, засиженной мухами лампочкой роилась ночная моль.

— Спасибо тебе, Василь Сергеич, что не побрезговал компанией, — вздыхал Генрих Карлович. — Я ведь знаю: ты эту заразу не потребляешь. Тем большее мне уважение...

— Ну, это ты брось, — строго ответил одноглазый. — Я ведь не из тех. Пора бы усвоить.

— Это точно, это ты в самую копеечку, — закивал головой осветитель. — Ведь простому человеку что надо? Чтоб его уважали. А когда его при всем народе, в присутствии, простите за выражение, дамы чуть ли не по матушке — это, вы меня извините, это ни в какие ворота.

— Наплюй, — посоветовал отец. — Лишь бы получку вовремя давали.

— Получка! — вздохнул старик. — Одни слезы...

Кешка зашевелился в своем углу. Он дольше не мог выносить одиночества.

— А отчего у вас фамилия такая смешная? — спросил он. — Околелов?

— Не по делу выступаешь, Ин-нокентий! — повысил голос отец.

— Пусть себе спрашивает, — остановил его Генрих Карлович. — Только все наоборот. Фамилия у меня совсем не смешная. Имя и отчество — это да, это не спору. Я из-за них мно-ого неприятностей имел в прежние годы, особо во время войны. Все за шпиона принимали. Думали, будто фамилию эту я подделал. Только она у меня самая настоящая, от деда и прадеда. А насчет имени, так это сперва дед отцу удружил. У нас на Волге вокруг немцы-колонисты жили, вот деду, видать, оно и понравилось. А отец уже, думаю, мне этого Генриха со зла прилепил. Не иначе.

Он достал платок и шумно высморкался.

— А вот Генриха Большого за шпиона никто не принимал, — раскуривая трубку, усмехнулся одноглазый.

— Так то ж фигура! — развел руками гость. — Одно имя — гремит! Только вот не вижу я из-за него никакой радости от работы. Ведь я кто? О-све-ти-тель! От слова «свет»! Это как солнце красное. А он все пугает, грозит на пенсию выгнать...

— Да хай ему, — махнул рукой отец. — Лучше выпьем.

— Вы разливайте, разливайте, — кивнул Генрих Карлович. — Я ведь к этому проклятому искусству, можно сказать, с детских лет стремление имел.

— А ну, Ин-нокентий, подрежь-ка нам еще помидорчиков, — потирая ладони, сказал отец. — И учись. Видишь, люди какие? Всегда говорю: читай! Сам знаешь, на книжки я денег не пожалею.

А Генрих Карлович все продолжал о своем.

— Помню, сразу после войны приняли меня пожарником в театр, — вспоминал он. — А тут как раз статист один заболел. Вот мне и предложили сыграть за него убитого. Такой случай! Тренировался, конечно, дело-то нешутейное. Попробуй не дышать, даже если муха на нос сядет. Ну, раздвинулся занавес. Я лежу. Все

чин чином. Пять минут проходит, десять — я лежу. А тут, как на грех, после пива приспичило, ну прямо невмоготу. Я уж и так и эдак. Терпел-терпел, чувствую, дело плохо. Встал и ушел...

Одноглазый так и покатился со смеху, даже водку расплескал. Отец тоже смеялся, подрагивая плечами.

— Потом вахтером работал и гардеробщиком. По совместительству. Дом громадный, люди по коридорам бегают, машинки стучат. Голова с похмелья прямо раскалывается. Думаю, хотя бы кружечку пива пропустить. А тут вешалка — не бросишь. Смотрю, один толстенький в очках все тут крутится. Я к нему. Так, мол, и так, говорю, постой за меня десять минут, сбегаю в буфет похмелиться. А он как понес, как понес. Да как вы смее, да я, простите за выражение, начальник главка... Уволили.

Отец стал разливать по последней, но квартирант решительно прикрыл свой стакан ладонью и покачал головой:

— Все.

— Как знаете, как знаете, — пожал плечами отец. — А вы закусывайте. — И он пододвинул Генриху Карловичу банку со ставридой в томатном соусе.

Старик пьянел на глазах, жалобно моргая красными веками.

— А все из-за нее, — пробормотал он, постукав ножом по пустой бутылке. — Мог бы артистом стать. Не хуже других...

Но в это время на пороге появилась мать.

— Гуляете? — спросила она и устало привалилась к дверному косяку. — С этим кином народу понаехало — тьма! А сегодня еще автобус пришел с какими-то якутами, что ли. В ларьке не протолкнешься. Жарища! Этому — то, тому — это. А тут приходит одна: «Сигареты подайте!» Я говорю, нос не дорос. Так она, понимаешь, ножкой топает, требует жалобную книгу. Ну я ей и сказала...

Мать умолкла и оглянулась по сторонам:

— А что, Антона доси дома нет? Кешка, а ну живо разыщи. Опять небось с пацанвой воюет.

— Поищи сама, — примирительно сказал отец. — Пусть парень раз в жизни умные разговоры послушает.

— Ну-ну, — ехидно усмехнулась мать, и ее светлое платье сразу же растаяло в густой темноте.

— Вот такая наша жизнь, — вздохнул Генрих Карлович.

— Ты лучше расскажи, как первый раз на студию устраивался, — обратился к нему одноглазый, почесывая рыжую бороду.

— А чего рассказывать? Пришел. В артисты проситься. К самому директору. Опыт, говорю, имеется. Отказали.

— Так ты, говорят, когда здоровался, даже в руку ему попасть не мог.

— Брехня, в руку я ему попал, — запротестовал Генрих Карлович и тут же мечтательно добавил: — А пепельница у него на столе стояла — рублей шестнадцать...

Потом все замолчали, и только слышно было, как из рукомойника капает в тазик вода да в пыльных кустах сирени и выгоревшей за лето траве ночные сверчки старательно настраивают свои скрипки.

Уже по всему чувствовалось, что натурные съемки подходят к концу. Одноглазый помощник капитана сказал, что сегодня его, слава богу, вздернут на рее, и он наконец освободится от суетных мирских дел. На берегу бухточки из тонких жердей и брусьев рабочие наспех сооружали легкие хижины на сваях, крытые камышом и сухими пальмовыми листьями, а электрики тянули проводку для осветительной аппаратуры. Но на лесной поляне у скал все еще доснимались последние кадры.

Кешка решил хотя бы из-за кустов, на расстоянии незаметно понаблюдать за съемками, однако ему не повезло. Когда он подошел к площадке, там все уже было закончено: актеры расходились, а Генрих Карлович сматывал свои кабели. Расстроенный Кешка решил снова пойти к морю, но в этот момент его окликнули:

— Эй, мелкий, поди-ка сюда!

Он обернулся и не поверил своим глазам. Под деревом, на сухой траве, подогнув под себя ноги, сидела золотоволосая леди Эмма.

На этот раз она была не в привычном платье с кружевами и оборками, а в желтой блузке без рукавов и голубых застиранных джинсах с вытертыми до белизны коленками. Выглядело это довольно дико. Ведь, кроме

одного раза, там, на лужайке, он видел ее только во время съемок.

— Слушай, не в службу, смотайся быстренько в магазин и возьми пачку «Примы», — попросила юная леди. — Скажешь, кто-нибудь из мужиков послал, ясно?

Кешка растерянно кивнул, а она, порывшись в большой полиэтиленовой сумке с иностранными надписями, протянула ему монетку:

— Быстренько. Там такая стерва работает.

Кешка смутился и покраснел.

— Это моя мать, — чуть слышно проговорил он.

— Серьезно? Вот так номер, чтоб я помер. Не зави-
дую. — И она зевнула, прикрыв рот ладошкой.

Когда Кешка вернулся, с трудом переводя дух, он застал леди Эмму все в той же скучающей позе. Увидев его, она томно потянулась и стащила с головы свой прекрасный парик. Настоящие волосы ее показались Кешке тусклыми, и даже цвет их он едва ли сумел определить с достаточной точностью. А главное, острижены они были настолько коротко, что ему невольно пришла на память прическа тетки Натальи, жившей от них через два дома, после того как ту выписали из городской больницы.

— А почему вам... это... — Он споткнулся, потому что по привычке хотел назвать ее леди Эммой, и только сейчас впервые понял, что у нее должно быть свое, настоящее имя, а какое, он, к сожалению, не знал. — Почему вам не продают сигареты, если вы курите?

— Очень умная твоя мамаша. Считает меня несовершеннолетней.

— А сколько ж вам лет? — осторожно спросил он.

— Много. Я уже старуха, — вздохнула она. — Весной перешла в девятый.

— Ну это еще не очень старая, — попробовал успокоить ее Кешка.

— Послушай, а это не ты разбил на площадке софит? — спросила она неожиданно, приглядываясь к мальчишке. — Да ты, оказывается, хулиган. Тебя, наверное, лупят мало?

Кешка поскреб затылок, словно бы собираясь с духом, и наконец сказал:

— Обидно, когда этот... Большой Генрих кричит на вас и обзывает всякими словами. Сказали бы ему один раз по-настоящему.

— Ты ничего не понимаешь, — вздохнула она. — Мы величины неравные. Ему стоит пальцем поманить, и таких, как я, набежит сотня. А потому — молчи. Я теперь как тот попугай в клетке. Искусство требует жертв, а мне, кроме себя, в жертву приносить некого.

Странное дело, Кешка уже дважды слышал это выражение. Впервые — от Василь Сергеевича, когда тот объяснял, почему не снимает с глаза повязку, и вот теперь. И оба раза слова эти звучали неодинаково, в каждом случае приобретая свой особый смысл. Наверное, никогда в жизни он не испытывал столь противоречивых чувств, точно в душе его гулял сквозной ветер, выдувая все, что нужно и не нужно...

Собеседница его умело распечатала пачку, щелкнула ноготком по бумажному донышку и ловко губами подхватила сигарету:

— Терпеть не могу с фильтром...

Мимо шаркающей походкой тащился Генрих Карлович — осветитель. Возле них он остановился.

— Это не мое дело, конечно, — сказал старик, делая в воздухе неопределенный жест, точно собирался поймать на лету муху, — но курите вы зря. Вы же гордость, украшение нашей группы. Вам и нести себя надо как принцессе, и говорить, и вообще. Вы же, простите за выражение, леди! А курить в таком возрасте...

— Хватит! — вспыхнула она. — Пить плохо в любом возрасте, даже старикам.

— Что верно, то верно, — смущенно покачал головой Генрих Карлович. Он махнул рукой и, сутулясь, побрел к вагончикам...

На другой день поздно вечером почти половина жителей Каменоломни и все свободные актеры собрались на спуске к морю, с левой стороны бухты. Здесь должны были снимать пожар в туземной деревне. Наверху стояла красная машина с жирной цифрой 01 на круглом трафарете, а у самой воды — водовозная бочка, в которую был впряжен Буцефал. Старая лошадь сонно покачивала головой и машинально обмахивалась хвостом.

Повыше свайных построек была установлена какая-то штуковина, похожая на самолетный мотор, а далеко в стороне прорисовывался силуэт «Глори оф де сиз»,

прекрасный и величественный. Сам вид этого корабля уже способен был взволновать Кешку. Там в натянутых вантах еще свистел ветер дальних странствий.

Стоявший поблизости знакомый человек в шапочке с козырьком из зеленого плексигласа толкнул локтем своего соседа и, кивнув в сторону бригантины, спросил негромко:

— Ну что, и разули и раздели?

— Точно, — засмеялся тот.

— И цепной привод руля сняли?

— А как же, все как положено.

У самой воды двое людей привязывали к вкопанному в песок столбу несчастную Алевтину Никитичну. Рядом с ней на камне стояла клетка с попугаем. Перебирая когтистыми лапками прутья клетки, Жулик постепенно взбирался под самый купол и там замирал в неудобной позе, свесив вниз голову с распущенным желтым хохолком.

На берегу лежали наполовину вытянутые из воды пироги с балансирами на отлете, а возле них хлопотали какие-то люди. Вся одежда их состояла из некоего подобия юбок. Точнее, бедра их были обмотаны пестрой тканью, похожей на махровые полотенца. Возможно, так оно и было.

Кто-то положил Кешке на плечо руку. Он обернулся. Рядом стоял незнакомый мужчина с трубкой в зубах. На нем были светлая водолазка и резиновые вьетнамки на босу ногу. Выглядел он не слишком молодо, во всяком случае, виски его заметно серебрились.

— Давай-ка, дружок, подойдем поближе. Да ты не бойся, я ведь знаю, куда можно, — сказал незнакомец, вытащив изо рта трубку, и только по ней, и по голосу Кешка догадался, что перед ним их квартирант — бывший помощник капитана, которого только недавно повесили на рее фок-мачты.

Василь Сергееч был без бороды и повязки, и Кешка увидел, что оба глаза у него действительно целые и абсолютно одинаковые. Лицо его заметно похудело и помолодело. В нем даже появилось что-то привлекательное и мягкое, хотя и состояло оно все словно бы из света и тени: лоб, нос и скулы были бронзовыми от загара, а то место, где прежде росла борода, оставалось бледным, почти белым.

Они спустились поближе к воде и уселись на обломке скалы рядом с доном Диего и доном Хуаном.

Под ними внизу были проложены сбитые доски, по которым оператор пробовал катать тяжелую камеру, и торчал расписной столб с привязанной к нему Алевиной Никитичной. На ней был седой парик с буклями.

— Поджигатели готовы? — зычно прозвучал в мегафон голос Большого Генриха. — Все по местам!

В свежем ночном воздухе запахло керосином. Сразу же вспыхнул целый десяток прожекторов и юпитеров.

— Начали!

И тут из-за камней и зарослей выскочили пираты в желтых косынках со старинными фитильными аркебузами и подвязанными к шестам горящими факелами. Они метались, как черти, от одной хижины к другой, поджигая камышовые кровли, которые мгновенно вспыхивали бездымным пламенем. Из свайных хижин выскакивали черноволосые женщины, некоторые с детьми. Одеты они были под стать мужчинам, только материя крепилась не у талии, а прямо под мышками. На шеях болтались раскрашенные бусы из ракушек. Женщины спускались по лестницам проворно и ловко, как пожарники на межрайонных соревнованиях, и бежали в лес, прикрыв голову руками. А пираты все мотались от хижины к хижине, забрасывая свои чадающие факелы прямо на крыши.

Огонь взлетал в самое небо. Стало заметно светлее. Старый Буцефал, немало повидавший на своем веку, нервно вздрагивал и косился на пожар настороженным блестящим глазом.

— Кретинизм! — неожиданно заорал желтохвостый какаду.

Дон Диего хмыкнул и покачал головой:

— А что, дорогой Хуанито, наш попугай не так уж прост, как может показаться.

— На родине у этого попугая сейчас зима, — как-то грустно сказал Василь Сергеич.

Кешка с интересом поглядел на своего квартиранта.

— А чего это Жулик все время висит вниз головой? — спросил он.

— Привычка, — усмехнулся Василь Сергеич. — Ведь австралийцы по отношению к нам постоянно ходят вверх ногами.

— Ветроду! — прохрипел в мегафон Большой Генрих.

И сразу же затарахтел, заревел мотор, постепенно набирая обороты. Воздушный вихрь, подхватил пламя, наклонил его и погнал искры в сторону моря.

— Внимание, туземцы! — пытался перекрычать ревущий ветродуй Большой Генрих. — Сцена прощания!

Когда мотор наконец умолк, стало отчетливо слышно, как трещат охваченные огнем щелястые, просвечивающие насквозь стены хижин, сбитые из сухих жердей, и тяжело оседают кровли.

Возле вкопанного в песок столба собралась толпа островитян. Все молчали.

— Слушайте, слушайте слова мудрости нашего вождя! — воскликнул, по всей вероятности, местный шаман в страшной клыкастой маске.

Толпа расступилась и пропустила вперед грузного, голого по пояс человека. Шею его украшало ожерелье из живых цветов. Он был очень похож на эстрадного певца Кола Бельды, которого Кешка не раз видел по телевизору в красном уголке рыбокооп. Когда вождь поднял вверх руки, он так и подумал, что тот сейчас запоем: «Мы поедим, мы помчимся на оленях утром ранним...» Но вместо этого вождь обратился к Алевтине Никитичне, беспомощно повисшей на опутывающих столб веревках.

— Спал Таароа с женой своей Хиной, богиней воздуха, таково ее имя, — торжественно заговорил вождь. — От них родилась Радуга, таково ее имя. Потом родился Лунный Свет. Мать произвела все, что есть на земле, в море и в воздухе. Твой народ причинил нам много зла, но ты мать, и потому я оставляю тебе жизнь. Развяжите ее! И верните ей птицу, которой боги вложили в уста язык ее коварного племени. Женщина, ты свободна!

Кешка затаил дыхание, боясь пропустить хоть одно слово. Он не видел сейчас ни оператора с камерой, ни людей, облепивших крутой склон, ни даже Большого Генриха. Все это расплылось и куда-то исчезло в ночи. Перед ним были берег океана, догорающая деревня и молчаливые туземцы, столпившиеся возле своих утлых пирог.

— Сын мой, подойди ближе, — приказал вождь, повернувшись лицом к своим соплеменникам. На лбу и щеках его багровыми бликами отражалось еще не угасшее пламя.

Из толпы вышел смуглый мускулистый юноша и остался в почтительном отдалении.

— Мы навсегда оставляем этот остров, — продолжал вождь. — Тэренги, спускай в воду пироги. Ты будешь плыть первым, и пусть ваши паруса движет Марааму. Взойдет солнце — беги от него и смотри, куда направляется зыбь. Станет садиться — спеши за ним следом...

И вот наступил день, когда Василь Сергеич сообщил Кешке грустную новость: через двое суток вся киногруппа покидает Каменоломню. До обеда Кешка не мог найти себе места. Трудно было представить, что этот праздник души, этот веселый маскарад, длившийся так долго, уже подходит к концу, как и все другие праздники на свете. В его ушах еще гремели выстрелы, звенели шпаги и звучали слова: «Спал Таароа с женой своей Хинной, богиней воздуха, таково ее имя...»

Послonyaвшись вокруг дома, Кешка нашел на огороде толстый ивовый прут и тут же принялся обрабатывать его своим замечательным складным ножом с маленькой пилкой, счищать присохшую кожицу. Потом пробил дырку в жестяной крышечке от домашних консервов и надел ее на заостренный прут. Получилась тонкая и длинная рапира. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, Кешка вернулся домой и подошел к шифоньеру с зеркальной дверцей. В ней отразилось его лицо с чуть вздернутым облупленным носом, оттопыренными ушами и такими же, как у Антона, крупными рыжими веснушками. Он недовольтно поморщился и постарался придать лицу выражение независимое и гордое. Потом резко выбросил вперед рапиру и стал в позицию. Его двойник в зеркале сделал то же самое. Кешка взмахнул своим самодельным клинком, отбивая оружие противника, и прут со свистом разрезал воздух.

— Ну что, не нравится? — прохрипел он каким-то чужим простуженным голосом. — Вот вы и проговорились, сударь. — И Кешка саркастически расхохотался. — На этот раз вас подвели нервы и бурный испанский темперамент. Ваше Всевидающее око — это одноглазый помощник капитана. Но, клянусь челюстью акулы, пожирательницы трупов, я позабочусь о том, чтобы еще до захода солнца он болтался на стене фокмачты...

Кешка замолчал и замер на месте, потому что услышал за спиной какое-то движение и тихий смех. Он пристальнее всмотрелся в зеркало и, к ужасу своему, увидел в дверях героя Мишу рядом с квартирантом Василь Сергеем. Миша легонько захолопал в ладоши. Его артистически выразительные серые глаза были почти скрыты под длинными выгоревшими ресницами.

— Ну и память у тебя, старик! — воскликнул он. — Блистательный монолог! Правда, насчет челюсти и трупов тут, пожалуй, хватило лишку. Но это уж не наша с тобой вина. Я думаю, это придумал сам Олег Петрович. Зато теперь-то я знаю точно: ты собираешься стать актером и сниматься в кино.

Кешка стоял смущенный, раскрасневшийся, пряча за спиной свою деревянную рапиру.

— Неужели ты действительно хочешь стать актером? — продолжал Миша, усаживаясь на старый скрипучий диван. Он забросил ногу на ногу, продолжая испытующе смотреть на Кешку.

— Не знаю...

— А что, дружок, это не так уж плохо, — заметил Василь Сергеев.

— Упаси бог, — перебил его Миша. — С искусством лучше не связываться. Я, например, кончил три курса иняза, а потом все бросил. И ради чего? Ради какой-то театральной студии. Теперь вот часто жалею.

— Я правда не знаю, — честно признался Кешка. — И тем хочется, и этим...

— Все верно, — обрадовался Василь Сергеев. — Тогда тебе одна дорога — в артисты.

— Будь лучше моряком, — посоветовал Миша. — То ли дело — романтика! Ты послушай, старик, как по-английски звучат названия парусов. Наши брамсели они называют «гэлент-сейлз», то есть доблестные. Затем идут «ройял-сейлз» — королевские паруса и на самом верху «скай-сейлз» — небесные паруса. Здорово, правда?

— Все так, — сказал Василь Сергеев, доставая из кармана свою трубку. — И все-таки театр — великая литература... Ведь не зря говорят: жизнь коротка, искусство вечно. А цель свою надо знать с детства. Вон Антон твой, он уже сейчас знает точно, кем хочет быть. Генералом!

— Антон? — переспросил Миша. — А-а, это тот самый, с автоматом. Жертва эмансипации. Женщины во-

обще лучше нас знают, чего хотят. Божественная леди Эмма, например...

— А вот помните, — вдруг заговорил Кешка, — когда эта леди Эмма была привязана к дереву и уже начали снимать, она закричала: «Генрих Спиридонович, мне больно!» Что же люди теперь подумают, когда в кино придут?

— Все это чепуха, — ответил Миша. — Когда станут озвучивать фильм, она скажет именно те слова, какие надо. В решительный момент мы всегда говорим то, что положено по сценарию. Этот Жулик, этот несчастный попугай, который восемьдесят лет просидел в клетке и, заметь, почти все время вниз головой, тоже молот всякий вздор, а в фильме он будет запросто насвистывать английский гимн «Правь, Британия».

— Да я не о том, — с досадой вырвалось у Кешки. — Ведь ей было больно!

— А кому не больно? Муравьям, когда их топчут, тоже больно, — возразил Миша. — Искусство — зеркало жизни, коварное отражение, с которым ты сейчас пытался вступить в поединок. Там все как в натуре и в то же время все наоборот. Правая рука становится левой, левая — правой. Разве ты не заметил, что враг твой левша. А левша очень опасный противник.

— Это уж как посмотреть, — засмеялся Василь Сергеич. — Все мы видели, как лихо Миша расправился с Серопом, то есть с доном Диего, когда они дрались там, у скал. Так вот, чтобы ты знал: шпагу в руках Миша держал третий раз в жизни...

— Положим — четвертый, — самолюбиво поправил герой фильма.

— Пусть четвертый, — согласился Василь Сергеич. — А Сероп, между прочим, мастер спорта по фехтованию. Такое увидишь только в кино.

— И вообще, — махнул рукой Миша, — самый умный человек, которого я встречал, имел фамилию Дураков.

На следующее утро Кешка проснулся раньше всех в доме и по обыкновению выбрался через окно на улицу. Небо было туманным и серым, так что могло показаться, будто по пыльным листьям вот-вот зашелестит дождь. Зачерствевшая, истосковавшаяся по влаге земля как благословения ждала спорого обильного ливня. Без вся-

кой цели Кешка побрел вниз по улочке в сторону моря. В старые времена можно было бы половить желтопузиков, но теперь он знал: в жизни его что-то изменилось и уже никогда не будет так, как было прежде.

Возле домика, похожего на вылупившегося птенца, он остановился. Окно в комнату было открыто, а на подоконнике стояла знакомая клетка, прикрытая темной шелковой накидкой. От нее Кешку отделяли только невысокая ограда да буйно разросшиеся георгины в небольшом палисадничке. До сих пор ему еще ни разу не приходилось видеть попугая вблизи. Не раздумывая, он бесшумно перемахнул через штaketник и, остановившись у окна, прислушался. В комнате было тихо. Тогда Кешка начал потихоньку стягивать с клетки покрывало.

Белая птица сидела на низенькой жердочке с закрытыми глазами. Потом плотное кожистое веко дрогнуло, и один глаз приоткрылся. Приглядишься к нему человек поискусеннее, он наверняка заметил бы не только плутватый прищур. В этом темном зрачке была сосредоточена вся вековая мудрость.

Попугай поднял лапу и стал покусывать крючкова-тым коричневым клювом собственный коготь. Кончик языка у него был тупой и черный, отчего казалось, будто во рту он держит круглый каленый орешек.

Трудно было поверить, что бедный Жулик просидел в этой клетке целых восемьдесят лет. Кто и за какие грехи приговорил его к пожизненному заключению, сделав вечным пленником этого маленького земного шара из проволочных параллелей и меридианов? Рядом, за окном, в большом мире, рождался новый день. Осиливая утренний туман, пробивалось солнце, и в воздухе с тяжким гудением проносились мохнатые работяги-шмели. С такой несправедливостью трудно было смириться. Кешке невольно вспомнились те несчастные восемь часов, которые он, хоть и за дело, провел запертым в кладовке, то тягостное ощущение утраченной вольности, что пришлось испытать тогда, и душа его наполнилась состраданием.

Дрожащими от нетерпения пальцами Кешка развязал тесемку, заменявшую крючок, и распахнул дверцу. У попугая удивленно поднялся желтый хохолок, но он решительно шагнул с жердочки на пол. Почесал лапкой за ухом, отряхнул перья и вразвалочку вышел из клетки. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, и по-

прежнему с любопытством наблюдал за Кешкой. Потом, потягиваясь, расправил одно крыло, другое...

— Крейзи кроу! — крикнул он довольно громко каким-то скрипучим голосом.

Перевести смысл этих слов Кешке было некому, но по тону он догадался, что сейчас при нем кого-то за что-то облаяли.

— В чем дело? — слышался из глубины комнаты сонный голос Алевтины Никитичны. — Что тут происходит?

Кешка обомлел. В этот момент попугай захлопал крыльями и слетел с подоконника. Видимо, он отвык летать, потому что тут же тяжело, как петух, плюхнулся на ограду и ругнулся с досадой:

— Год дэм!

В окне показалась голова Алевтины Никитичны, повязанная косынкой, под которой бугрились накрученные с вечера бигуди.

— Жюль, детка, вернись! — закричала она и только тут заметила притаившегося Кешку. — А-а, мальчик, так это ты, это твоя работа? Я знаю, паршивец, ты хотел украсть птицу. И потом продать кому-нибудь. Я вас знаю...

Слова эти так обидели Кешку, что он утратил всякий страх.

— Почему продать? — вырвалось у него. — Это же не индюк и не курица, чтобы продавать на базаре.

— Если ты сию же минуту не поймаешь попугая, тебе будет очень и очень плохо...

Но тут Жулик, которому явно наскучило слушать пустые пререкания, перелетел на соседский забор, а с него на шелковицу. От шелковицы до крыши было рукой подать. Попугай горделиво прошествовал к самому коньку и вдруг ринулся вниз грудью, распластав белоснежные крылья. Он пронесся низко над улицей, долго сбегавшей к морю, и скрылся за деревьями...

Через полчаса на поимку беглеца были брошены все силы: поселковые мальчишки, рабочие и актеры киногоруппы. Даже сам Большой Генрих не остался в стороне, поспешил взять на себя общее руководство.

Но Жулика так и не поймали. Он словно бы растворился в зеленом царстве свободы.

Зато без особого труда поймали Кешку.

— Ах, так это опять ты, мерзавец! — закричал коротышка Большой Генрих, и громадная лысина его

вспотела. — Понимаешь, что ты наделал? Ведь у нас впереди студийные съемки. Где мы еще возьмем такого попугая? Отвечай!

— Жюль, мой маленький Жюль, — причитала Алевтина Никитична. — Генрих Спиридонович, прошу учесть: вместе с клеткой я заплатила за птицу восемьдесят пять рублей! Пусть мне компенсируют. Либо его родители, либо студия. Прошу дать гарантии.

— Бог подаст, — не глядя на нее, ответил Большой Генрих.

— Не сердитесь, Генрих Спиридонович, — вступился за парня Василь Сергеич, разлохмаченный и мокрый. — Он это сделал из лучших побуждений.

— Из лучших?! — окончательно распаляясь, вскричал Большой Генрих. — Софит разбил тоже из лучших? Любопытно посмотреть, что этот выродок отколет из худших соображений. Ах, мерзавец, ах, сукин сын! — И, ухватив Кешкино ухо, повернул его, как ключ в замочной скважине.

— Не смейте! — неожиданно для всех срывающимся голосом крикнул Генрих Карлович — осветитель. — Не смейте трогать и обзывать мальчишку! Вы сами порядочный мерзавец и сукин сын! Ругаетесь при женщинах и детях. Как последний уголовник. Прямо на съемочной площадке. Где творится, простите за выражение, искусство...

Наступила долгая гнетущая пауза. Большой Генрих склонил голову набок, развернул носовой платок и промокнул лысину.

— Пушкин прав, — наконец в раздумье проговорил он. — Не приведи бог видеть русский бунт... Вы устали, Генрих Карлович, у вас сдают нервы. Пора, давно пора на заслуженный отдых...

И тут Кешка не выдержал:

— Не виноват он! Что сказали бы вы, если б вас самого на восемьдесят лет посадили в клетку?

— Меня? — удивился Большой Генрих и широко развел руками. — Честное слово, не знаю. Наверное, так и сидел бы все восемьдесят лет...

— А между прочим, этот парень будет киноактером, — сказал вдруг герой Миша. — Может быть, даже постановщиком фильмов.

— Кто? — спросил Большой Генрих. — Этот взломщик? Он ничего не умеет создавать, но разрушать уже научился. Он думает, что оказал попугаю услугу. О, на-

ивность неопита! Да ты погубил несчастную птицу! Столько лет она просидела взаперти...

— Неправда, — вмешалась Алевтина Никитична, — два раза в год я выпускала ее полетать по комнате. В рождество и на пасху.

— Не перебивайте, — одернул ее Большой Генрих. — Птица разучилась летать и добывать корм. А через несколько месяцев придет зима, выпадет снег, и она замерзнет. Или, может быть, в Крыму не бывает снега? Ведь это же по-пу-гай, тропическая птица!

Кешка терпел, когда ему крутили ухо, но сейчас прозрачные глаза его наполнились слезами.

— Ну и что? — обиженно выкрикнул он. — Пусть еще хоть сто лет Жулик просидит в клетке, все равно для него ничего не изменится. Так и будет висеть вниз головой, как эти самые... австралийцы. Пусть уж лучше до зимы поживет свободным...

Большой Генрих удивленно поднял лохматые брови:

— Подумайте, а в этом что-то есть... Так, значит, постановщик фильмов? Похвально, похвально. К чему же тогда тянуть? Может быть, прямо сейчас засучите рукава и примитесь за работу? С чего бы вы начали, уважаемый Кин-Младший?

— С того, — и Кешка решительно вобрал в себя воздух, — с того... Взял бы и выгнал вас...

Когда Кешка в сопровождении квартиранта возвращался в поселок, он не переставал размышлять о причинах неудач, которые преследовали его все последнее время.

— Теперь еще за попугая бить будут, — глубоко и судорожно вздохнул он.

— Не будут, — твердо пообещал Василь Сергеич.

И все-таки Кешка предпочитал сейчас как можно дольше не показываться матери на глаза. Полдня он молча наблюдал, как рабочие заколачивают и грузят на машины ящики с костюмами и реквизитом. Потом пошел к морю, чтобы еще разок взглянуть на «Глори оф де сиз», которая почему-то уже два дня стояла без парусов, покинутая командой и сторожами.

Возле рыбкоопы он придержал шаг, так как на доске объявлений заметил небольшой листок, на котором было что-то напечатано на машинке. Кешка подошел ближе и прочитал:

«Администрация киностудии доводит до сведения жителей поселка Каменоломня, что деревянный корпус шхуны, принимавшей участие в съемках, в ближайшее время будет поднят на берег и продан на дрова по доступной цене. Всех, кого интересуют подробности, просим обращаться к представителю студии (второй вагончик) с 15 до 19 часов».

Кешка долго стоял у фанерного щита, пытаясь до конца вникнуть в смысл объявления. Он не мог поверить собственным глазам. Он был потрясен. Как? Почему? Какие дрова? От волнения и расстройства буквы прыгали у него перед глазами, то рассыпаясь, то вновь выстраиваясь в длинные цепочки. Нужно было немедленно что-то предпринимать, кого-то убеждать, на кого-то жаловаться. Но кому и на кого?

Он, кажется, впервые растерялся, не зная, что делать дальше. Ведь парусник не птица, его не выпустишь из клетки. И вдруг Кешку осенило: а почему бы и нет? Ветер от берега. Перепилить цепь, и пусть себе ночью плывет в открытое море. Если он и потонет там во время шторма, так это по крайней мере будет конец, достойный настоящего корабля.

В кармане у него лежал складной нож с пилкой. Если работать упорно, то можно и ею перепилить цепь. Перепиливают же узники решетки своих темниц.

Кешка сбежал на берег, скинул с себя штаны и майку. Зажав в левой руке нож, он бросился в воду и поплыл к судну. Оно надвигалось на него медленно, вырастая из воды высокой глухой стеной потемневшего от времени борта.

Вблизи цепь оказалась настолько толстой, что Кешка испугался. Она уходила глубоко в воду, постепенно теряясь в придонном мраке. Прохладная вода не смогла отрезвить его голову, и он с жаром принялся за дело. Тоненькая пилка поскрипывала, ерзая по металлу и окрашивая мокрые пальцы красноватой ржавчиной.

Так прошло минут десять-пятнадцать, но на железном звене не появилось даже маленького надпила. У Кешки от усталости отяжелела рука, а он все продолжал упрямо скрипеть пилкой.

Неожиданно прямо над своей головой он услышал мужской голос:

— Ну чего чиркаешь, чего чиркаешь? Ты что, дур-

ной? Перочинным ножиком якорную цепь перепилить хочешь?

Кешка поднял глаза и увидел вверху свесившуюся кудлатую голову незнакомого человека.

— На кой тебе цепь? — не унимался тот. — Собаку сажать? Так в ней пудов знаешь сколько? О-го-го! Такая разве что на могилку годится. Вместо ог-рады.

Только тут Кешка понял всю бессмысленность своей затеи, и ему стало очень обидно. Он молча оттолкнулся от нагретого солнцем борта и поплыл к берегу, ощущая на губах солоноватый привкус. Ему не хотелось проявлять слабость, и он утешал себя тем, что это всего лишь обыкновенная морская вода.

А незнакомец стоял у самого борта, держа в руках бензопилу «Дружба», и кричал вдогонку:

— Ножовка не пойдет! Тут автоген нужен!

Но все-таки что же делать? Оставалась последняя надежда на Василь Сергеича, и Кешка бросился его разыскивать. Квартиранта он застал в комнате. Он укладывал вещи.

Путано и сбивчиво Кешка рассказал о том, что видел на доске объявлений и что намеревался предпринять. Его всего колотило.

— Успокойся, — сказал Василь Сергеич, присаживаясь на подоконник. — Стоит ли огорчаться по пустякам? Ты все-таки в чем-то не разобрался, дружок, чего-то не понял.

— Неправда, все я понял, во всем разобрался! Это они...

— Постой! Вся беда в том, что у тебя сместились понятия, — доверительно улыбнулся Василь Сергеич. — Прекрасной бригантины, которую ты вообразил, в природе не существует. То, что ты принимаешь за нее, всего лишь макет, решето, дырявая посуда, изъеденная ракушкой-древоточцем с таким хитрым названием — тореда-навалис. Не стоит жалеть. Эта бригантина никогда не была настоящей и плыть самостоятельно никуда не могла. Какой уж из нее выжиматель ветров, гончий пес океанов! Сожгут, и бог с ней. Зато настоящая «Глори оф де сиз» останется в фильме. Люди будут смотреть и верить. А если человек верит во что-то, значит, оно для него существует!..

Еще с ночи над горами то и дело вспыхивала молния и глухо грохотал гром, словно кто-то скатывал по лестнице пустую железную бочку. Но наступило утро, а ни одна капелька так и не упала на сухую выжженную землю. Неужели и на сей раз гроза прошла стороной?

После завтрака Кешка пошел провожать своего квартиранта. На площади у рыбкоопстояло штук пять здоровенных желтых автобусов. Кешка поспешил первым занять Василь Сергеичу удобное место возле окна и помог втащить вещи.

В соседний автобус прошла с чемоданом и сумкой юная героиня фильма. Но Кешкино сердце не дрогнуло, как это случалось прежде. На ней были все те же голубые джинсы и серый батник, сплошь исписанный газетными текстами и заголовками на иностранном языке. Казалось, девчонку только что пропустили через цилиндры печатной машины. От нее, должно быть, еще пахло типографской краской. Шла она смиренно, с видом провинившейся школьницы.

Нет, это была совсем не леди Эмма. А может быть, настоящая леди Эмма навсегда осталась в кино? Кто знает, кто знает...

Рядом с ними, на заднем сиденье, какая-то женщина, похожая на якутку, упорно пилила своего сына:

— Выбрось сейчас же этих дурацких бычков!

— Сказал, не брошу! Зря я их ловил, что ли? — упирался паренек с узенькими черными глазками, удивительно напоминающими две маленькие продолговатые рыбки.

— Брось эту дрянь!

— Приедем — я их жарить буду.

— К тому времени они провоняют весь автобус!

— Ничего, не провоняют, — успокаивал ее сын.

Василь Сергеич подмигнул Кешке:

— Битва титанов! Железные характеры!

Подошел герой Миша и долго тряс Кешке руку.

— Молодчина! — похвалил он. — Ты все-таки одолел Большого Генриха. Знаешь, что он сказал о тебе? Сказал, что все это время делал не то. Следующий раз он снимет фильм о пацане, который перочинным ножиком перепиливал якорную цепь...

Потом появились дон Хуан и дон Диего с громадными рюкзаками и олимпийскими сумками фирмы «Адидас». Следом, окончательно ссутулившись под тя-

жестью своего старенького чемодана, влез в автобус и Генрих Карлович — осветитель. Кешка начал прощаться с ними, но тут в воздухе сверкнуло, и темное небо над Каменоломней расколол страшный удар грома. Пронесся порыв холодного ветра, закручивая на ходу пыльные вихри, и по дороге заколошматили тяжелые крупные капли.

— Ну все, беги домой, а то промокнешь, — подталкивал Кешку к выходу Василь Сергеич.

— Жми, старик, — хлопнул его пониже спины герой Миша. — Как говорит несравненная Алевтина Никитична, сейчас будет ужасная катаклизма...

Кешка прыгнул с подножки, и в тот же миг с неба обрушился настоящий водопад. Он успел отбежать всего десятка два шагов, а автобусов как не бывало. Кешка мчался прямо по лужам, по руслам внезапно родившихся ручьев, и рубаха плотно облепляла его грудь и плечи. Ему было беспричинно весело, и он с удовольствием подставлял лицо упруго стегавшим струям...

Но гроза прекратилась так же внезапно, как и началась. Прыгая по острым камням, Кешка сбежал вниз на влажную хрустящую гальку и остановился. Дул свежий ветер. Сквозь разорванные тучи вырывались снопы солнечного света, так похожие на слепящие лучи мощных юпитеров Генриха Карловича. Кешкины волосы прилипли ко лбу, а мокрая рубаха холодила спину.

Он рассеянно огляделся. Вверху шумели старые сосны. Оттуда по скалистым кручам еще бежали с журчанием мутные глинистые потоки. На вздымающейся волне, прямо посреди бухты покачивалась на якоре обреченная «Глори оф де сиз». Мачты ее были уже срезаны, и от этого судно казалось обезглавленным.

Неподалеку из земли торчали сырые обгорелые сваи, еще хранившие запах пожарища, а море все выбрасывало и выбрасывало на берег отмытый от золы и пепла черный древесный уголь.

Но всего этого Кешка не замечал. Над его головой шумели листвою нездешние деревья, и в белой пене прибоя прыгали легкие длинные пироги островитян. Он видел смуглых людей с ожерельями из живых цве-

тов и раковин и отчетливо слышал гортанный голос вождя маленького оскорбленного племени, произносящего заповедные слова туземных мореходов...

Волны, пахнувшие устрицами и мидиями, подкатывались к самым Кешкиным ногам. Растревоженно кричали чайки, посвистывал ветер, а в ушах его все звучали не совсем понятные, но волнующие слова:

«Поверни пирогу на заходящее солнце. Пусть дует Марааму — ветер удачи. Пусть море будет зеленоватосиним, и пусть небо будет цвета моря. Пусть плывет в ночи твоя путеводная звезда Фетиа Хоэ...»

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Олег Смирнов. Герои, которым веришь</i>	3
ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ	5
ТРОЙНОЙ ЗАСЛОН	137
ПЯТЬ ТЫСЯЧ МИЛЬ ДО НАДЕЖДЫ	229
ВЕТЕР УДАЧИ	281

Абдашев Ю. Н.

А13 Ветер удачи: Повести/Предисл. О. П. Смирнова. — М.: Мол. гвардия, 1980. — 318 с.

1 р. 20 к. 75 000 экз.

В книге четыре повести. «Далеко от войны» — это своего рода литературная хроника из жизни курсантов пехотного училища периода Великой Отечественной войны. Она написана как бы в трех временных измерениях, с отступлениями в прошлое и взглядом в будущее, что дает возможность проследить фронтовые судьбы ее героев. «Тройной заслон» посвящен защитникам Кавказа, где горный перевал возведен в символ — водораздел добра и зла. В повестях «Пять тысяч миль до надежды» и «Ветер удачи» речь идет о верности юношеской мечте и неискушенном детском отношении к искусству и жизни.

А 70302—121—136—80. 4702010200
078(02)—80

**ББК 84Р7
Р2**

ИБ № 2134

Юрий Николаевич Абдашев
ВЕТЕР УДАЧИ

Редактор **И. Гнездилова**
Художник **Д. Шимилис**
Художественный редактор **Н. Печнинова**
Технический редактор **Е. Брауде**
Корректор **В. Авдеева**

Сдано в набор 03.12.79. Подписано в печать 25.04.80. А01206.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Гарнитура «Литературная». Условн. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л.
17,7. Тираж 75 000 экз. Цена 1 р. 20 к. Заказ 2029.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типогра-
фии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

1 р. 20 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ЮРИЙ • ВЕТЕР УДАЧИ • АБДАШЕВ